

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

**ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
&
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ**

Epistemology & Philosophy of Science

Т. XXXVIII • № 4

Ежеквартальный научно-теоретический журнал

МОСКВА

Альфа-М

2013

СОДЕРЖАНИЕ [CONTENTS]



Редакционная статья [Editorial]

- «Междисциплинарность» как тема философии науки
[“Interdisciplinarity” as an Issue of Philosophy of Science] 5
В.Н. Порус [Vladimir Porus]



Академия [Academy]

- Proper Beliefs and Quasi-Beliefs 14
Carlos J. Moya, Tobies Grimaltos

- Эклектика и синкретизм: к вопросу о системности философского знания
[Eclecticism and Syncretism: On the Problem of Systemacy
of Philosophical Knowledge] 27
Л.А. Микешина [Lyudmila Mikeshina]

- О связи смысла и понимания [On the Relation of Sense and Understanding] . . . 44
А.Л. Никифоров [Alexander Nikiforov]



Панельная дискуссия [Panel Discussion: The Science of Reforming and the Reform of the Russian Academy of Sciences]

- Наука реформирования и реформа РАН 55
М.В. Рац, С.И. Котельников

- Технология постепенных социальных преобразований
или социальной инженерии К. Поппера 62
В.А. Колпаков, В.Г. Федотова

- Изучать нельзя реформировать: где запятая? 72
И.Т. Касавин

- О соотношении традиций и инноваций: что лежит
в основе современной философии управления наукой 76
В.Г. Горохов

- Шаг вперед и два назад: о модернизации российской науки 80
Н.А. Касавина

- Высокоразвитая наука невозможна
без высокообразованного образования 85
В.А. Бажанов

- Ответ оппонентам 89
М.В. Рац, С.И. Котельников



Иной взгляд [Alternative Perspective]

- Социальная эпистемология, натуралистическая онтология и реализм
[Social Epistemology, Naturalistic Ontology and Realism] 90
И.Т. Касавин [Ilya Kasavin]



Панорама [Panorama]

- Сознание, организм и объективация личности
[Mind, Organism and an Objectification of Persons] 104
С.М. Левин [Sergey Levin]



Кафедра [Philosophy & Education]

- Аналитическая философия языка: к вопросу о построении лекционного курса [A Course in Analytic Philosophy of Language for a Russian Audience: Issues and Challenges]** 117
П.С. Куслюй [Petr Kusliy]



Case-studies – Science studies

- The Logic of Forbidden Colours** 136
Elena Dragalina-Chernaya
- По направлению к подлинности человеческого бытия (об экзистенциальной динамике в психологии) [Towards the Authenticity of Human Being (On the existential Dynamics in Psychology)]** 150
Н.А. Касавина [Nadezhda Kasavina]



Междисциплинарные исследования [Interdisciplinary Studies]

- Научная революция в медицине XVII в. [The Scientific Revolution in the XVIIth-century Medicine]** 163
А.М. Сточик, С.Н. Затравкин [Andrey Stochik, Sergey Zatravkin]



Контекст [Context]

- Взаимосвязь фундаментального знания и технологических проектов науки [Cooperation between the Fundamental Knowledge and Technological Projects of Science]** 177
И.В. Черникова [Irina Chernikova]



Историко-эпистемологические исследования [Investigations into the History of Epistemology]

- Методологические и философские проблемы психологии в системе взглядов Н.Г. Дебольского [Methodological and Philosophical Problems of Psychology in the System of Views of N.G. Debolsky]** 190
И.Г. Ребещенкова [Irina Rebeschenkova]



Архив [Archive]

- «Люди знания» Флориана Знанецкого и их практическая эффективность [People of Knowledge and Their Practical Effectiveness]** 205
Р.Э. Бараш [Raisa Barash]
- Социальная роль человека знания** 207
Флориан Знанецкий



Симпозиум [Symposium]

- XXIII Всемирный философский конгресс: впечатления и идеи [XXIII World Congress of Philosophy: Ideas and Impressions]** 232
П.А. Сафронов [Peter Safronov]



Новые книги [Reviews]

- Мысль об истории мысли: когнитивный портрет развития мировой археологии [The idea of the History of Thought: Cognitive Portrait of Development the World Archeology]** 235
И.В. Тункина, С.П. Щавелев [Irina Tunkina, Sergei Schavelev]

Этика и психология на пороге науки [Ethics and Psychology at the Threshold of Science]	241
<i>Л.С. Клейн [Leo Klein]</i>	
История и методология технических наук как раздел философии техники [History and Methodology of Technical Sciences as a Branch of Philosophy of Technology]	246
<i>В.В. Чешев [Vladislav Cheshev]</i>	
<i>Памятка для авторов</i>	252
<i>Подписка</i>	253

Публикуемые материалы прошли процедуру рецензирования и экспертного отбора

Журнал включен в новый перечень периодических изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ для публикации материалов кандидатских и докторских диссертационных исследований в области философии, социологии и культурологии (с 1 января 2007 г.)

All materials underwent the process of anonymous peer review and were approved for publication by the Editorial Board.

Editor:

Ilya Kasavin (Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (IPh RAS))

Editorial Assistants:

Irina Gerasimova (IPh RAS)

Petr Kusliy (IPh RAS)

Vitaliy Bolataev (NRU HSE)

Editorial Board:

Alexandre Antonovski (IPh RAS), Vladimir Arshinov (IPh RAS), Valentin Bazhanov (Ulyanovsk State U), Nadezhda Bryanik (Ural Federal U), Irina Chernikova (Tomsk State U), Vladimir Filatov (RSUH), Vitaly Gorokhov (IPh RAS), Vladimir Kolpakov (IPh RAS), Natalia Kuznetsova (RSUH), Jennifer Lackey (Northwestern U, USA), Joan Leach (U. of Queensland, Australia), Natalia Martishina (Siberian Transport U), Lyudmila Mikeshina (Moscow State Pedagogical U), Alexander Nikiforov (IPh RAS), Alexander Ogurtsov (IPh RAS), Vladimir Porus (NRU Higher School of Economics), Sergei Sekundant (Odessa State U, Ukraine), Sergei Schavelev (Kursk State Medical U), Yaroslav Shramko (Kryvyi Rih National U, Ukraine)

International Editorial Council:

Steve Fuller (U of Warwick, Great Britain), Piama Gaidenko (IPh RAS, Russia), Abdusalam Guseinov (IPh RAS, Russia), Rom Harre (London School of Economics, Great Britain), Jaakko Hintikka (Boston U, USA), Vladislav Lektorski (IPh RAS, Russia), Hans Lenk (U Karlsruhe, Germany), Vladimir Mironov (Moscow state U, Russia), Hans Poser (Technische U Berlin, Germany), Tom Rockmore (Duquesne U, USA), Vyacheslav Stepin (IPh RAS, Russia)

© Институт философии РАН. Все права защищены, 2013

© «Альфа-М», 2013

© Institute of Philosophy RAS. All rights reserved, 2013

© «Alfa-M», 2013



«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ» КАК ТЕМА ФИЛОСОФИИ НАУКИ

“INTERDISCIPLINARITY” AS AN ISSUE OF PHILOSOPHY OF SCIENCE



Владимир Натанович Порус – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой онтологии, логики и теории познания философского факультета НИУ ВШЭ. E-mail: vporus@rambler.ru

Vladimir Porus – doctor of philosophical sciences, professor, chair of department of ontology, logic and theory of knowledge of the philosophical faculty of National Research University – Higher School of Economics.

Тенденция к междисциплинарному исследованию сложных, системных и развивающихся во времени объектов возникла как обобщение современной практики мировой науки. Доказав свою эффективность, междисциплинарный подход стал мейнстримом. В документе, подготовленном Минобрнауки РФ в 2006 г., отмечается, что «междисциплинарные исследования переживают подъем с середины 1980-х гг. В США, странах ЕС, Японии, Канаде, а также в иных государствах открываются мультидисциплинарные институты и исследовательские центры, при университетах активно создаются различные подразделения – от научных коллективов до крупных научно-исследовательских структур, имеющих формализованный статус в системе университета»¹. Здесь же приводятся примеры нарастания этой тенденции. Так, в Колумбийском университете (США) менее чем за 10 лет (1996–2004) число различных подразделений (помимо факультетов), участвующих в междисциплинарных исследованиях, увеличилось со 105 до 277, неуклонно растет количество публикаций о таких исследованиях (по данным Thomson Reuters, из 170 000 статей, опубликованных с 2001 по 2008 г. в 60 междисциплинарных журналах, таких, как «Science», «Nature», «Proceedings of the National Academy of Sciences of the

¹ Концепция долгосрочного прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2025 г. Минобрнауки РФ. М., 2006. С. 127. – <http://old.mon.gov.ru/files/materials/5053/prog.ntr.pdf>.



USA», критериям междисциплинарности соответствует почти половина²). Естественно, междисциплинарные исследования развиваются быстрее и интенсивнее в рамках целевых исследовательских программ (финансируемых государством или крупными промышленными корпорациями); характерно также, что прикладные научные и технологические исследования в большей мере (по количественным показателям) тяготеют к междисциплинарности, чем фундаментальная наука³.

В цитируемом документе есть прогнозы относительно ближайших перспектив междисциплинарных исследований. Продолжится рост этой тенденции. Наибольшей интенсивности она достигнет в биомедицине, геноинженерии, в области нанотехнологий (нанозлектроника, биоинформатика), в энергетике. «Новые прорывы в сфере науки и технологий становятся невозможными без увеличения кооперации научных дисциплин... И это по большому счету делает рост значения, интенсивности и глубины взаимодействия и конвергенции между различными отраслями знания, дисциплинами и субдисциплинами безальтернативным»⁴.

Термин «междисциплинарность» (interdisciplinarity) обосновался в лексиконе науковедения, в особенности тех его разделов, где речь идет об организации постоянных связей и контактов между научными коллективами, институтами, сообществами, специализирующимися в различных сферах науки⁵. Однако философская рефлексия над этим явлением запаздывает. Рассуждения ограничиваются констатацией общеизвестного: взаимодействие различных наук уже не раз приводило и приведет в будущем к важным результатам, среди которых – возникновение новых научных дисциплин (физическая химия, астрофизика, космобиология, психолингвистика, социальная психология и т.п.). Или общими декларациями: междисциплинарность требует особых форм организации науки, методов планирования научных исследований, подходов к финансированию науки, она – признак синтеза научных знаний в наше время, путь к новой, более полной и цельной научной картине мира и в то же время – к науке «без барьеров», к науке XXI в.

² Thomson Reuters. Science Watch. – <http://archive.sciencewatch.com/about/met/classpapmulti-jour/>.

³ Концепция долгосрочного прогноза научно-технологического развития... С. 129.

⁴ Там же. С. 141.

⁵ См.: *Мирский Э.М.* Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки. М., 1980; *Klein J.T.* Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice. Detroit : Wayne State University Press, 1990; *Her: Crossing Boundaries: Knowledge, Disciplinarity, and Interdisciplinarity.* Virginia : University Press, 1996; *Weingart P., Stehr N.* (eds.). Practising Interdisciplinarity. Toronto : University of Toronto Press, 2000; *Facilitating Interdisciplinary Research.* Washington : The National Academies Press, 2005; *Ausburg T.* Becoming Interdisciplinary: An Introduction to Interdisciplinary Studies. 2nd ed. N. Y., Kendall : Hunt Publishing, 2006.



Все это очевидно. Но от философии науки следует ждать большего. Ее задача – понять, в чем состоят и как прокладываются новые направления методологического синтеза, как возникают новые объекты в междисциплинарном пространстве науки, как связывается онтология мультидисциплинарной науки с онтологиями отдельных дисциплин. Отсюда – новый подход к проблеме единства науки.

Разумеется, философия науки должна анализировать практически сложившиеся формы междисциплинарных исследований, внимательно относясь к науковедческим результатам. Как укладываются эти результаты на канву философской рефлексии? Что нового они прибавляют к пониманию ее целей? Какие задачи философского анализа позволяют решить? Ответы не очевидны. Сближение с науковедением иногда дает повод говорить о самой философии науки как междисциплинарном исследовании⁶. Это требует уточнений. Является ли философия науки не чем иным, как комплексом науковедческих исследований с включенными в него эпистемологическим и методологическим компонентами?

Если да, то не ясен собственно философский статус этого комплекса. Другими словами, есть сомнение в уместности самого термина «философия науки», указывающего на принадлежность к сонму *философских* дисциплин. Если же философия науки – одна из общего ряда дисциплин, участвующих в науковедческих исследованиях, то какова ее роль в этом ряду? Каков ее неповторимый и не переводимый на языки других дисциплин вклад? На этот счет есть разные мнения. Например, И.Т. Касавин видит задачу философии науки в том, что она «ставит философские проблемы перед участниками междисциплинарного дискурса, используя их собственные метафоры и аналогии. Из теоретического ядра междисциплинарного знания эпистемология трансформируется в форму методологической коммуникации: философ превращается из генератора идей в медиатора или модератора дискурса»⁷. Развивая эту мысль, В.Н. Сыров призывает философов науки «окончательно освободиться от остатков интеллектуального высокомерия, позиционировавшего философию как вершину знания и культуры, как носителя мифического целостного взгляда на мир, и понять, что восстановление кредита доверия к ней может быть связано только с интенцией на диалог со всеми остальными культурными формами. Представляется, что суть этого диалога должна быть чем-то сродни сократовской “майевтике”, подталкивающей остальных участников коммуникации к тому, чтобы обратиться к рефлексии над принципами своей деятельности, к расши-

⁶ См.: Касавин И.Т., Пружинин Б.И. Философия науки // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009.

⁷ Касавин И.Т. Философия познания и идея междисциплинарности // Эпистемология и философия науки. 2004. Т. II, № 2. С. 12.



рению собственного интеллектуального горизонта, к выслушиванию голосов других и толерантности к ним и т.д.»⁸.

Трудность, однако, в том, что роль модератора или «майевта» пока не слишком удастся философам, которые редко обладают достаточной компетентностью в проблемах специальных наук, чтобы их призывы к расширению интеллектуальных горизонтов последних воспринимались как нечто важное, а не как тривиальности. Участники диалога культурных форм должны быть равноправны, интересны друг другу. Если же философ заведомо обеспокоен тем, чтобы вернуть себе кредит ранее утраченного доверия, то это плохая мотивация. Она, например, может подтолкнуть его к оппортунистической тактике «поддакивания» или компиляции идей науковедов, что не только не укрепит доверие к философии науки, но даже поставит под вопрос целесообразность ее участия в диалоге. Иначе сказать, диалог безусловно необходим, но философия науки должна выступить в нем не обозревателем мнений специалистов или непрошеным посредником между ними, а источником ценных эвристических импульсов. Но это возможно лишь в том случае, если она будет прежде всего *философией* с собственным пониманием своего предмета и функций. Что до «интеллектуального высокомерия», то избавляться от него нужно всем участникам культурных (в том числе и научных) коммуникаций, а не только философам, которым сегодня скорее свойствен «комплекс неполноценности», часто проявляющийся, как известно, в немотивированных невротических вспышках.

Некоторые характеристики междисциплинарных исследований обладают философской значимостью, выявление которой важно не только для философов. Такой характеристикой является, например, *принципиальная открытость*. Если вначале круг участников исследования, как правило, ограничен, то в дальнейшем он может расширяться (иногда непредсказуемым образом). В знаменитом романе С. Лема группа ученых-космонавтов оказывается в тупиковой ситуации: пытаясь известными им (физическими, химическими, физиологическими и др.) методами раскрыть тайну планеты Солярис, они обнаруживают, что сами являются объектами исследования, которое осуществляет «Океан» – чуждый им космический интеллект, обладающий огромными, превосходящими человеческое воображение возможностями. В невольном союзе несоизмеримых разумов земляне, казалось бы, не имеют шансов, пока в дело не вмешивается психолог. Ему удастся невоз-

⁸ Сыров В.Н. Философия и перспективы междисциплинарных исследований в отечественной науке // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 7. Философия. 2011. № 3 (15). С. 13.



можное – нащупать точки соприкосновения космических «сознаний», из которых, быть может, появятся ростки взаимопроникновения и понимания. И эти точки находятся вне сферы стандартно-рациональных расчетов и применения известных методов – они относятся к области, которую маркируют словами «совесть», «душа», «любовь». Роман великого писателя-фантаста – не рассуждение о «междисциплинарности» исследований космических контактов. Но мысль об их «открытости» получила в нем классическую художественную форму. Каково ее философское содержание?

Помимо прочего, оно в том, что «междисциплинарность» науки – это не только практика «наведения мостов» между различными ее частями и подразделениями, но и стратегия внутреннего единства культуры. Например, мосты между наукой и философией существуют сегодня, существовали и в прошлом, хотя движение по ним часто выглядит туристической прогулкой. Но именно «междисциплинарность» возвращает этим мостам их стратегический смысл – соединяет творческие импульсы и направляет их к единой познавательной цели⁹.

Можно сказать, что это тренд, направленный против «кризиса» в науке и культуре, о котором с тревогой писал еще в начале 1930-х гг. Э. Гуссерль. С тех пор кризис вышел из кавычек, стал реальностью, в которой нужно жить и что-то делать, чтобы она изменилась к лучшему. В этом смысле широко трактуемая «междисциплинарность» – это особая свойственная науке форма объединения культуросозидательных сил, необходимого, чтобы расколы и трещины культуры не углублялись, а заделывались, а еще лучше – вообще исчезали. Насколько такая трактовка может быть широкой – это вопрос и для философии науки, и для философии культуры.

Другой философский аспект – междисциплинарность – требует адаптации языка науки к поиску транскрипций, метафор, помогающих взаимному пониманию ученых различных специальностей и профилей, повышающих эвристичность их поисков. По сути это поиск «гибкой научной рациональности», или способности науки трансформировать систему критериев, определяющих границы научности. Его философское значение трудно переоценить.

Междисциплинарность – это вызов науке, на который ей следует ответить изменением привычных основ образования и воспроизводства научных кадров. Чтобы это закрепилось в практике науки, нужно менять структуру и программы университетов и академий, всерьез признавая необходимость стратегии «междисциплинарного образо-

⁹ См.: Порус В.Н. Выбор интерпретаций как проблема социальной эпистемологии // Эпистемология и философия науки. 2012. Т. XXXI, № 1. С. 18–35.



вания»¹⁰, но вместе с тем считаясь с опасностями (дилетантизм, псевдонаучность), неизбежными при ее вульгарном понимании¹¹. Для социальной эпистемологии – это одна из важнейших тем.

Иногда приходится слышать, что обсуждение темы междисциплинарности философами есть дань, приносимая ими нынешней интеллектуальной моде. Между прочим, феномен моды в интеллектуальных сферах философски интересен и сам по себе. Но философам все-таки важнее осознать междисциплинарность как насущную необходимость науки. Науковедение уже сделало свой вклад в это осознание¹². Философия науки – это надо признать – пока еще на подступах к нему¹³.

Тема междисциплинарности раскрывается в философии науки по-разному. Неклассическая философия науки (часто этот термин относят к философскому анализу «науки-в-становлении, science in flux», что предполагает отход от классического представления о науке как системе знаний и методов их получения, отвечающих критериям, позволяющим провести неизменную границу между наукой и «ненаукой») тяготеет к анализу междисциплинарности как того общего, что есть у разных форм коммуникации ученых. И.Т. Касавин различает три типа таких коммуникаций: критику, заимствование и синтез (типология устанавливается методом «семейных сходств» Л. Витгенштейна), выясняя эпистемическую специфику каждого из них¹⁴.

¹⁰ «Помимо подготовки специалистов, способных оперировать методами и инструментарием различных дисциплин – основы для самой возможности мульти- и междисциплинарных работ, – роль образовательной политики заключается в создании новой научной культуры, ломке устаревших стереотипов и т.д. ... Именно вопросы образования должны стать едва ли не основным объектом внимания и для государства, и для самих университетов и исследовательских центров» (Концепция долгосрочного прогноза научно-технологического развития... С. 137).

¹¹ Как отмечает Б. Чендов, под словом «междисциплинарность» иногда может скрываться смешение разных типов проблем, вызываемое неразвитостью областей науки, к которым эти проблемы относятся; выход за границы науки навстречу мистике, религии, политике; в простейших случаях – это маска для дилетантизма (См.: *Чендов Б.* Междисциплинарный подход и проблема исследования сложных самоорганизующихся систем. Сущность и формы междисциплинарного подхода в современной науке. – <http://iph.ras.ru/~mifs/philosophy/articles/chendov1r.htm>).

¹² *Clark B.* Sustaining Change in Universities: Continuities in Case Studies and Concepts. N.Y. : Open University Press, 2004; *Langfeldt L.* The Policy Challenges of Peer Review: Managing Bias, Conflicts of Interest and Interdisciplinary Assessments // *Research Evaluation*, 2006. Vol. 15. P. 31–41; *Sa' C.* «Interdisciplinary strategies» in U.S. research universities // *High Education*, 2008, Vol. 55. P. 537–552. Объемная библиография: *Chettiparamb A.* Interdisciplinarity: A Literature Review. Interdisciplinary Teaching and Learning Group. Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies. School of Humanities; University of Southampton, 2007.

¹³ См.: *Огурцов А.П.* Дисциплинарная природа науки. М., 1985; Наука и культура (материалы «круглого стола») // *Вопросы философии*. 1998. № 10. С. 3–38; *Стенин В.С.* Теоретическое знание. М., 1999; *Позднеева С.П.* Междисциплинарность как тотальный феномен познания XXI века: становление междисциплинарного словаря науки // *Известия Саратовского университета*. 2009. Т. 9. Сер. Философия. Психология. Педагогика. Вып. 2. С. 114–123; *Касавин И.Т.* Междисциплинарность в эпистемологии // *Энциклопедия эпистемологии и философии науки*. М., 2009; *Он же.* Междисциплинарное исследование: к понятию и типологии // *Вопросы философии*. 2010. № 4. С. 61–73.

¹⁴ См.: *Касавин И.Т.* Междисциплинарное исследование... С. 65.



Междисциплинарное взаимодействие как *критика* осуществляется в ситуациях, в которых сторонники одной дисциплины выступают против габитуса (привычных, ставших традиционными, образцов исследования, систем понятий и методов) другой, противопоставляя ему собственный габитус, обладающий, по их мнению, преимуществами как когнитивно-методологического, так и морального или мировоззренческого плана. Таково, например, отношение позднесредневековой науки к догматической теологии, химии к алхимии, гелиоцентрической астрономии к геоцентрической, физики, стоявшей на сваях догматического эмпиризма, к атомной физике и т.п. Особую остроту такая коммуникация получает в ситуациях, когда одна из взаимодействующих дисциплин поддерживается определенными культурными и социальными условиями (например, птолемеевская космология в условиях церковного диктата в европейской культуре позднего Средневековья), а другая ограничена теми же условиями, но используется как ресурс для удовлетворения нужд преобладающей в данной культуре дисциплины (обращение теологии к научному опыту, математике и логике как средствам раскрытия замысла Творения).

Займствование – обмен элементами габитуса по мере надобности, причем сами эти элементы, будучи ассимилированы иной дисциплиной, могут менять свои смыслы и роли. Это путь роста через «взаимовыручку», но и он требует решимости от участников коммуникаций на интеллектуальный «консенсус», готовности пересматривать догмы и переступать через табу (о наличии таковых и их роли в формировании «стиля мышления» в науке в свое время указал Л. Флек в работах, сыгравших важную роль в становлении социальной эпистемологии). И критика, и займствование – ступени к *синтезу*, результатами которого становятся новые дисциплины, сформированные на стыке существовавших ранее, новые научные картины мира.

Известны и другие типологии, чаще предлагаемые социологами науки (Р. Кёниг, Р. Акоф, Г. Бергер, Л. Апостель и др.¹⁵), особенность которых состоит в том, что в них взаимодействие дисциплин описывается одновременно в двух планах: методологическом и социологическом¹⁶. Это наиболее заметный тренд в современной философии и социологии науки – пересечение методов, понятий, взаимная интерпретация результатов. По сути это единая сфера исследований, а ее

¹⁵ См.: Koenig R. Interdisziplinäre Forschung // Wörterbuch der Soziologie. 2. Aufl. Stuttgart, 1968. S. 487–489; Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research in Universities. P. : Organization for Economic Cooperation and Development, 1972.

¹⁶ См.: Бушковская А.Е. Феномен междисциплинарности в зарубежных исследованиях // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 330 (январь). С. 152–155.



все еще специализированные участки не отделены друг от друга жесткими границами.

От типологии – путь к «топологии» междисциплинарного пространства. От простых (например, иерархически упорядоченных или линейно организованных) моделей взаимодействия научных дисциплин нужно, если того требует суть дела, переходить к более сложным, в которых реализуется так называемый ризомный принцип (взаимодействие обладает спонтанностью, его направленность, цели и смыслы могут меняться «по ходу дела», связи между его участниками возникают и исчезают на конкурентной основе), связывающий философию науки с идеями постструктурализма и постмодернизма. Философская задача здесь в том, чтобы найти баланс между относительной стабильностью простых моделей и избыточной динамичностью сложных. В этом моменте философия науки активно вбирает в себя идеи синергетики, придавая им новый смысл и устанавливая гибкие границы их применимости¹⁷.

Междисциплинарность придает науке особую чувствительность к изменениям образцов исследования, доказательства, обоснования, способности тех или иных научно-исследовательских программ (в смысле И. Лакатоса) наращивать круг объясняемых эмпирических фактов. Происходящие в какой-то одной дисциплине, такие изменения быстро сказываются на состоянии других дисциплин, ускоряя их методологический рост, выявляя новые возможности теоретического развития. Это особенно характерно для наук, в которых нет единой «парадигмы» (в смысле Т. Куна) и постоянно конкурируют идейные и методологические направления (как, например, в современной психологии).

Упомянем еще об одной интерпретации междисциплинарности, которую можно назвать многомерным исследовательским подходом к сложным системным, исторически-изменчивым объектам. При таком подходе монодисциплинарное знание об объекте можно представить как «плоскостную» проекцию этого объекта; в мультидисциплинарном исследовательском пространстве всякая такая проекция связана с другими, а сам объект «восстанавливается» в своем «объемном», или «многомерном», изображении при помощи определенных методологических процедур (взаимный «перевод» понятий, методологический синтез, устранение «несоизмеримости» значений и т.п.).

¹⁷ См.: *Киященко Л.П.* Синергетическая парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии научного познания. М., 2004; *Порус В.Н.* Философия науки и ее синергетическая интерпретация // Грани познания. Философия, наука, культура в XXI веке. Книга 2. М., 2007. С. 248–274.



Тема междисциплинарности – отличный полигон для испытаний возможностей философии науки, ее исследовательского потенциала. Где еще столь же очевидны и вместе с тем проблематичны связи между структурами научных теорий и научными институтами, традициями и революциями, психологией и логикой научных открытий, контекстами оправдания и обоснования, прагматикой и ценностями, универсально значимым и конкретно-конкретным в научно-познавательной деятельности? Какая другая тема так тесно связана с противоречивым единством интеграции и дифференциации в науке?

Названные аспекты раскрытия темы междисциплинарности в философии науки – абрис, подлежащий расширению, уточнению, дополнительным интерпретациям. Это живая тема, ее развитие должно привлечь философов и ученых, размышляющих о том, как будущее науки вырастает из ее настоящего.



PROPER BELIEFS AND QUASI-BELIEFS

Carlos J. Moya
(University of Valencia,
Spain). E-mail:
Carlos.moya@uv.es

Tobies Grimaltos
(University of Valencia,
Spain). E-mail:
Tobies.grimaltos@uv.es

In this paper, we distinguish two ways in which someone can be said to believe a proposition. In the light of this distinction, we question the widely held equivalence between considering a proposition true and believing that proposition. In some cases, someone can consider a proposition true and not properly believe it. This leads to a distinction between the conventional meaning of the sentence by which a subject expresses a belief and the content of this belief. We also question some principles of belief ascription, suggest a solution to a famous puzzle about belief and defend the unity of the semantic and causal aspects of beliefs.

Key words: Belief content, Truth conditions, Belief ascription, Definite descriptions, Kripke's puzzle.



Our everyday (or folk-) psychological language contains a wide array of cognitive terms and expressions. To name just a few: belief, conviction, certainty, doubt, knowledge, suspicion, deduction, justification, probability, possibility, evidence, reason, inference, explanation, experience, etc. In addition to shedding light on the concepts expressed by these terms, in the hope of understanding the nature of belief, knowledge, certainty, etc., philosophers have been led, in order to make sense of our cognitive activity and the judgments we make in developing it, to drawing several distinctions within some of those concepts. Examples of the latter are the distinction between knowledge by acquaintance and knowledge by

description (Russell), knowing that and knowing how (Ryle), normative and motivational reasons, objective and subjective probability, epistemic and objective possibilities, induction and abduction, and so on. Our purpose in this paper is to draw an additional distinction within the broad concept of belief and to pursue the consequences of this distinction for some issues in epistemology, the philosophy of language and the philosophy of action.

|

Before coming to the distinction, we shall start by specifying our conception of the content of a belief (what is believed) and of belief itself. Concerning the former, it is plain (barring radical forms of holism about



content) that native speakers of different natural languages can share beliefs, in the sense of believing the same thing. English speakers can believe that it is raining, but so can native speakers of French, German, Spanish, Chinese, Russian, etc. Since the sentences by which they report what they believe are different (“it’s raining”, “il pleut”, “es regnet”, “llueve”, etc.) and nonetheless they believe the same thing, what they believe is not a sentence, but, say, what those different sentences express. Let us call this a proposition (Frege would call it a “thought”).

In our view, then, the content of a belief is a proposition. A proposition is individuated by its truth conditions. We shall conceive of truth conditions as structured entities, as events or states of affairs which may include (concepts of) individuals, properties and relations between them. A proposition is true just in case at least one sufficient condition for its truth is satisfied.

What about belief itself? *Believing* that P (a proposition) is not merely entertaining the thought that P (thinking of P’s truth conditions); as a first approach, it is to assume that at least one sufficient condition for P’s truth is (probably) actual. Now, this implies being disposed to take, in the relevant circumstances, the relevant conditions as a guide for action, given one’s aims or purposes. The converse, however, does not hold: being disposed to take the relevant conditions as a guide for action does not imply believing that P (for example, one may just accept those conditions as a hypothesis, assuming them, say, for the sake of the argument)¹. But (barring special pathologies, such as states of extreme apathy) not being disposed to take those truth conditions as guides for action in the relevant circumstances, given one’s aims or purposes, does imply that one does not believe the corresponding proposition. There is, then, a close connection between belief and (dispositions to) action, but the relation is not one of equivalence. Logical behaviorism is not right.

II

On the basis of the preceding remarks, let us draw the announced distinction. We shall motivate it by means of an example.

Suppose that Henry Letter, a librarian at Town University, has seen Peter Burglar coming out of the university library carrying two books with the official library stamps on them. Peter has a bad reputation and Henry knows this. Moreover, in noticing that Henry is looking at him, Peter quickly

¹ That is, one can accept a proposition, in Stalnaker’s sense, without believing it: “Acceptance, as I shall use this term ... is a generic propositional attitude concept with such notions as presupposing, presuming, postulating, positing, assuming and supposing falling under it ... To accept a proposition is to act, in certain respects, as if one believed it” (Stalnaker 1984, pp. 79–80).



conceals the books under his coat. Hence, Henry comes to believe, on the basis of this evidence, that

A. Peter Burglar has stolen two books from the library.

And, on the basis of this proposition, he deduces that

B. Someone has stolen two books from the library.

B follows logically from A, and Henry knows it does. In fact, in order not to mention the thief's name, he tells Sally, a colleague of his: "Someone has stolen two books from the library". In being told this, Sally comes to believe that B, i.e., that someone has stolen two books from the library. Henry is convinced that what he has told Sally is true. In fact, Henry has not been insincere to Sally; he has told her something that he considers true. And in *some* sense he also believes that B. But this sense is different from the sense in which he believes that A (and from the sense in which Sally believes that B). Let us try to distinguish these two senses.

We may call an "essential reason" for believing a proposition a reason such that, if one ceased to have it, one would immediately abandon one's belief in that proposition. An essential reason for believing a proposition is, then, a reason that is necessary for having that belief. Henry's belief that A is for him an essential reason for his belief that B. In effect, suppose that, after forming his belief that A, Henry revises, just in case, the loan cards and, to his surprise, he finds that two of them correspond to Peter Burglar. Hence, not without feeling a bit ashamed, he ceases to believe that A, i.e., that Peter has stolen the books. And, given that A was for him an essential reason for believing that B, he automatically ceases to believe that B as well.

Did Henry believe that B in the same sense in which he believed that A? Our response is negative. Let us explain. We have said that believing a proposition P is to assume that at least one sufficient condition for P's truth is (probably) actual. Clearly, the truth conditions of A do not coincide with those of B. A is a singular proposition, which is true if, and only if, a particular person, namely Peter Burglar, has stolen two books from the library of Town University. Its logical form is Fa . Instead, B is a general proposition, which is true if, and only if, anyone (from a certain domain of individuals, presumably the set of library users) has stolen two books from that library. Its logical form is $\forall xFx$. Now, if Henry had 'really' believed that B, he would not have abandoned this belief after coming to know that Peter had not stolen the books. Instead, he would have gone on to believe that *some other library user* had stolen them.

In order to mark the difference, let us call Henry's cognitive attitude towards A "proper belief" (or "p-belief", for short) and his cognitive attitude towards B "quasi-belief" (or "q-belief", for short). We shall say that someone p-believes that P if, and only if, s/he assumes that any of the sufficient conditions for P's truth may be actual and that at least one is so.



And we shall say that someone q-believes that P if, and only if, s/he considers P true only because s/he assumes that only one (or some) *determinate* sufficient condition(s) for P's truth is (are) actual, and this assumption is his or her only essential reason for considering P true. Hence, in our example, Henry p-believed that A, but only q-believed that B. He considered B true only because he believed that Peter, and nobody else, had stolen the books. If he had p-believed that B, so assuming that any of B's sufficient truth conditions might be actual, then, after ceasing to believe that Peter had stolen the books, he would have come to believe that someone else had done so.

Instead, and unlike Henry, Sally p-believes that B. Her essential reason for believing that B was Henry's testimony that someone had stolen two books from the library. In checking the loan cards and finding Peter's among others, she would still believe that two cards were missing and that someone else had stolen the corresponding books.

III

The difference between p-beliefs and q-beliefs can also be seen from the perspective of their respective relation to behavioral dispositions, given certain purposes. Suppose that two books have actually been stolen and that both Henry and Sally want to retrieve them to the library. Whereas Sally will start from scratch, opening the scope of her search to any recent library users, Henry will directly investigate Peter.

Someone might object that, in order to explain the difference in behavior, there is no need of a distinction between p- and q-beliefs. We could explain that difference by the fact that Henry believes both A and B, whereas Sally believes only B. He does not engage in typical behavior associated with B, not because he does not (properly) believe that B, but because he *also* believes that A, and this belief grounds his belief that B. Our response is that, for this to be the case, the circumstances would have to be different. Imagine, for example, that Henry starts believing that two books have been stolen from the library because he has checked and discovered the absence of the books. Suppose also that, as he knows Peter's reputation, Henry strongly suspects him. In these circumstances, Henry can be said to properly believe both A and B, so that, if he abandoned his belief that A, he would continue to believe that B. But this was not the case in our original example. In it, Henry believes that B is true only because (and as far as) he believes that A.

It is possible that q-beliefs turn into p-beliefs. Suppose again that two books are actually missing from the library's shelves and that Henry's p-belief about Peter proves wrong. Henry will then widen the field of



possible culprits: his initial q-belief that B will turn into a p-belief. Another way in which this sort of change can happen is by forgetting about the initial p-belief from which the q-belief derived. Suppose that, after a couple of months, Henry does not remember who exactly was the one of whom he believed to have stolen the books; he may then go on to p-believe that someone stole books from the library, something which he initially only q-believed.

If, as happens in Henry's example, one arrives to a q-belief by deducing its content from the content of a p-belief, the p-belief contains more information, in the sense of excluding more possibilities, than the q-belief. Henry's p-belief that Peter stole the books excludes all possible thieves but one, whereas his q-belief that someone stole the books does not exclude any possible culprit from the relevant universe (the library users). This difference in the amount of information is the reason why, in most circumstances and for most purposes, we take p-beliefs, rather than q-beliefs, as our guides for action. If Henry wants to catch the thief and to have the books back to the library, the right thing for him to do is start his search with Peter, so guiding his behavior by his p-belief that A.

However, in particular circumstances, and for particular purposes, a q-belief, arrived at by deduction, can also become a guide for action, either by itself or by giving rise to another belief. Suppose that what interests Henry about Peter's theft, in which he believes, is the theft itself, rather than the particular person who committed it. Since Peter, a library user, has stolen the books, Henry deduces, rightly, that a library user has stolen them, which is roughly equivalent to B. This latter proposition is general. And from it Henry deduces, rightly again, that

C. It is possible for library users to steal books from the library.

Given his interest in keeping the library's book collection safe, Henry decides to design and implement a program intended to increase the library security. Henry's purpose is to avoid further thefts, rather than retrieving the two books stolen by Peter. And given this purpose, the relevant guide for him is C, which he has deduced from B, rather than A. The q-belief that a library user has stolen books has become relevant as an action guide for Henry, even if it contains less information than his belief that A.

IV

Let us reflect on some consequences of the preceding considerations.

The following seems to be a plausible principle of belief ascription, which, in closely related forms, has been explicitly endorsed by different



authors, including Kripke. Following common usage, let us call it “Weak Disquotation” (WD). Here is a version:

(WD) Weak Disquotation: “If an agent *A* sincerely, reflectively, and competently accepts a sentence *s* (under circumstances properly related to a context *c*), then *A* believes, at the time of *c*, what *s* expresses in *c*” (McKay and Nelson 2010, sect. 1).²

We might generalize this principle as follows (leaving the parenthetical proviso implicit):

(GWD) If a competent language speaker knowingly, reflectively and sincerely assents to ‘*P*’, where ‘*P*’ is a declarative sentence of his or her language, then s/he believes that *P*.

Here is a related principle that connects assertion (rather than assent) to belief:

(AB) If a competent language speaker knowingly, reflectively and sincerely asserts that *P*, where ‘*P*’ is a declarative sentence of his or her language, then s/he believes, at the time of the assertion, that *P*.

Finally, here is another plausible principle of belief ascription, which connects deduction and belief:

(DB) If one believes that *P*, and consciously deduces *Q* from *P*, then one believes that *Q* as well.

That is, one believes what one consciously takes to be logical consequences of what one believes.

Plausible as they may seem, the preceding principles cannot be confidently used, as they stand, in belief ascription, for they are threatened by ambiguity, owing to lack of the distinction between proper believing and quasi-believing.

Starting with (DB), we have seen that, in our example of the library, Henry deduces the proposition that someone has stolen books (*B*) from the proposition that Peter Burglar has (*A*); however, his cognitive attitude towards *A* is different from that which he adopts towards *B*. He properly believes that *A*, but only quasi-believes that *B*. So, (DB) cannot be accepted as it stands as a criterion for belief ascription.

As for (WD), (GWD) and (AB), they are also affected by lack of the distinction we have drawn. As for (AB), Henry has knowingly, reflectively and sincerely asserted that someone has stolen books from the library; he has made this assertion to Sally. Nonetheless, for the reasons given above, we cannot ascribe him, without ambiguity, the belief that someone has

² Also Salmon: “If a normal English speaker, on reflection and under normal circumstances, sincerely assents to ‘*p*’ then he/she believes that *p*” (cf. Lieberman p. 613).



stolen two books, since he only quasi-believes this, and only fully and properly believes that Peter is the thief. It is easy to see how similar objections can be raised against (WD) and (GWD). Suppose that a third library officer hears Henry make the indicated assertion to Sally. He can then tell Henry: “So, you think that someone has stolen books from the library”. Henry may knowingly, reflectively and sincerely answer, “Yes, I do”, so assenting to the proposition that someone has stolen books from the library (B). However, if we are right, he does not properly believe that proposition; he only quasi-believes it.

V

Our distinction points to a potential and important difference between the truth conditions of the proposition that a subject (p- or q-) believes and the truth conditions of (the proposition expressed by) the sentence by means s/he reports his or her belief. Their respective semantic properties may differ quite drastically. When Henry tells Sally, “Someone has stolen two books”, this sentence is true just in case there is some library user or other who has stolen two books; but the proposition he properly believes, which he expresses by that sentence, is true just in case Peter Burglar has stolen two books. The truth conditions of the proposition conventionally expressed by the sentence are general; those of the proposition p-believed are singular. So, very different (proper) beliefs may be reported by utterances of the same sentence.

Our distinction may help understand Donnellan’s distinction between referential and attributive uses of definite descriptions, as well as other semantic properties of definite descriptions and of sentences that contain them, by means of which people may express what they believe.

Imagine that Joseph Smith has been murdered and that two subjects, S1 and S2, express their beliefs about this murder by uttering (or assenting to) tokens of the sentence, “Smith’s murderer is insane”. Suppose that S1 utters these words only because he believes that Barry Hendon (whom he is acquainted with) has murdered Smith and that Barry Hendon is insane. The proposition that S1 p-believes and expresses with those words has singular truth conditions and has the logical form $Fa \ \& \ Ga$ (“Barry Hendon murdered Smith and Barry Hendon is insane”). In this case, S1’s utterance of the definite description “Smith’s murderer” would correspond to what Donnellan called the “referential use” of definite descriptions.

Suppose instead that S2 utters these words because he has seen Smith’s body horribly mutilated, with no idea about who the murderer is. The proposition that S2 p-believes has instead general truth conditions.



He believes that Smith's murderer, whoever he is, is insane. Its logical form would be close to Russell's analysis of sentences of the form "the such-and-such is so-and-so": $\forall x [(Fx \ \& \ Gx) \ \& \ (y) (Fx \ \> \ y = x)]$ ("there is someone, and only one, who murdered Smith and is insane"). In this case, S2's utterance of the definite description "Smith's murderer" would correspond to what Donnellan called the "attributive use" of definite descriptions.

However, we take Donnellan's distinction to be pragmatic, not semantic.³ It does not affect the meaning of the sentences uttered, though it may affect what they communicate, owing to contextual clues that allow an agent to get the implicated content. What both S1 and S2 have *said* ("Smith's murderer is insane") has general truth conditions: it is true just in case Smith's murderer, whoever the one to whom this description truly applies may be, is insane. However, the truth conditions of what S1 and S2 properly believe (the proposition they believe) are different. What S2's properly believes has the same (general) truth conditions as the proposition conventionally expressed by the sentence he utters. These conditions are different in the case of S1.

VI

Similar considerations could also be applied to utterances containing proper names and to beliefs expressed by those utterances. In analogy with Donnellan's distinction between referential and attributive uses of definite descriptions, we may also distinguish between referential and attributive uses of proper names, and take it to be a pragmatic phenomenon. We don't intend to adjudicate between Millian or Kripkean views of proper names' semantics, according to which proper names are a sort of tags which refer directly to the particular entities they name, and Fregean views, according to which proper names refer to their bearers indirectly, through descriptions or modes of presentation of the object. Whatever account is correct, we can still distinguish, as in the case of definite descriptions, between the conventional truth conditions of the proposition expressed by the uttered sentence and those of the proposition believed by the agent who utters that sentence.

It could be shown that distinct assertive utterances of, or assents to, the same sentence, where this sentence contains a proper name, may express proper beliefs with different truth conditions, even if the person denoted by the name is in fact the same. Some of these truth conditions may be general, in the case of attributive uses of the respective proper

³ As, after all, Donnellan (1966) himself acknowledges.



name. Suppose, for example, that, at the University, I happen to hear a prestigious professor telling another person: “Molly Malone is extremely brilliant”. I have not the slightest idea of who Molly Malone is, but I trust the speaker and form a belief that I then express by asserting, “Molly Malone is extremely brilliant”. Or I sincerely and reflectively assent to this sentence, when uttered by another person. The proposition I properly believe has general truth conditions; what I believe is that there is exactly one woman called “Molly Malone” who is extremely brilliant; in formal terms: $\forall x [(Fx \& Gx) \& (y) (Fx \supset y = x)]$. Suppose now that someone who actually knows Molly Malone and thinks she is very brilliant hears me utter that sentence and assents to it. He has a proper belief with singular truth conditions; he believes that a particular person, namely Molly Malone, is extremely brilliant (Ga , presumably, in formal terms). He will probably ascribe me, on this basis, a belief of the same kind as his, but he will be wrong. His belief, but not mine, is singular. However, he may quasi-believe, on the basis of his proper singular belief, the content of my proper general belief.

VII

Armed with our criticism of (WD) (Weak Disquotation) and with the distinction between referential and attributive uses of proper names, we can now try to provide a response to a famous puzzle about belief, which Kripke presented using the story of Pierre.⁴ Here is a summary. Pierre is a native French speaker who is brought up in France, where he learns about a city with the name “Londres” and, on the basis of what he hears of it (in French), comes to assent to the sentence “Londres est jolie”. Now, applying (WD), and given that the sentence “London is pretty” correctly translates the indicated French sentence, we can ascribe Pierre the belief that London is pretty. Later on, Pierre moves to a rather ugly part of London and learns English by immersion, without translating from his native French. He comes to assent to many English sentences, including “London is not pretty”. Using (WD) again, we can ascribe him the belief that London is not pretty. As we see, Pierre did not behave irrationally in forming his belief that London is pretty, which he still retains when he lives in London; and he is not irrational in forming there his belief that London is not pretty. In general terms, Pierre is a reflective and rational person, who would not believe contradictions. Nevertheless he seems to believe both a proposition and its negation, which is to believe a contradiction. It seems that something must go. Either we reject 1) that Pierre believes that London is pretty, or 2) that he

⁴ We follow David Liebesman’s presentation of the puzzle in his 2012, p. 613. For a recent attempt to address the puzzle cf. Powell 2012.



believes that London is not pretty, or 3) that he does not believe contradictions. Alternatively, one might try to show that, appearances to the contrary notwithstanding, the claims do not actually form an inconsistent triad.

The alternative we prefer, on the basis of our arguments so far, is to reject 1), which leads us to a qualified rejection of 3). Let us explain.

An essential element in the generation of Kripke's puzzle is the use of (WD). It is this principle that allows one to ascribe Pierre the relevant beliefs. But we have seen, by means of our example of Henry the librarian, that (WD) does not always yields the right results for what concerns belief ascription. In particular, it does not reliably discriminate between p- and q-beliefs. It may, e.g., lead to ascribing someone a p-belief in a proposition with general truth conditions, when the subject only q-believes that proposition and p-believes a different proposition, with singular truth conditions.

So, leaving aside problems about translation, the fact that Pierre assents to "Londres est jolie", a sentence which normally expresses a proposition with singular truth conditions, does not show that Pierre properly believes that proposition, namely that London is pretty. Remember our remark that proper names can have attributive uses, as happens in my asserting, "Molly Malone is extremely brilliant"; the proposition I actually believe in asserting this has general truth conditions. I believe that there is a woman who is called "Molly Malone" and is extremely brilliant. Our suggestion is that something similar happens with Pierre's assenting to (or asserting) "Londres est jolie". After all, before moving to London, he has come to know about London by description. His use of "Londres" is attributive; by "Londres" he means "the (or a) city called 'Londres'". And the belief he expresses by asserting "Londres est jolie" is a p-belief in a general proposition, namely that there is a city that is called "Londres" and that this city is pretty. After moving to London, Pierre comes to know the city by acquaintance. Our view is that his assent to "London is not pretty" actually expresses his p-belief in a proposition with singular truth conditions, which is true just in case London, the particular city, is actually not pretty.

So, our view is that Pierre believes that the city called "Londres" is pretty and that London is not pretty. Since in the actual world the city called "Londres" and London are one and the same city, those two beliefs are not jointly true. However, if a contradiction is false in all possible worlds, Pierre is not guilty of believing a contradiction, for there are possible worlds where his two beliefs are true. The city called "Londres" might not have been London and, whereas the former city might be pretty, the latter might not.



VIII

Our line of argument so far gives us also useful tools for resisting what Akeel Bilgrami has aptly called “the bifurcation of content”, a widely spread tendency to split the content of beliefs into a semantic, truth conditional aspect and a causal or motivating aspect.⁵ According to this tendency, what moves us to act is not what we believe, individuated in terms of its truth conditions, but our way of believing it and the role this way plays in our psychological economy. Examples of this tendency to bifurcate the content are John Perry’s (1979) distinction between belief content and belief state, or William Lycan’s distinction between a semantic, truth conditional, and a computational or narrow individuation scheme for beliefs.

That truth conditions as such are not what lead agents to act can be seen, according to Lycan, by noticing that an agent can have two beliefs with exactly the same truth conditions but with strikingly different effects in behavior. Lycan attempts to show this by means of an example:

Suppose Smith believes that that man he is ostending is about to be pounced on by a crazed, homicidal puma, but unbeknownst to Smith the man he is ostending is ... himself reflected in a mirror. He will proceed on his way, unconcerned about his own safety, until he turns and sees the puma in the flesh and thereby suddenly acquires the belief that *he himself* is about to be pounced on, which change of belief will prompt an immediate and striking change in behavior (Lycan 1988, p. 85).

According to Lycan, the proposition Smith believes before seeing the puma in the flesh, say, that *that* man he points to is about to be pounced on, and the proposition he comes to believe after seeing the feline, say, that *he himself* is about to be pounced on, have exactly the same truth conditions and are true in the same possible worlds (cf. *ibid.*), since both are true just in case Smith, the very same individual, is about to be pounced on by a puma. Hence the change in behavior has to be explained in different terms, presumably by the different causal role that the representations “that man” and “I” play in Smith’s process of information processing.

We do not think that Lycan’s contention is correct. To argue for this, we shall first assume, as seems plausible, that Smith is not aware that he is looking at a mirror when he believes that *that* man is about to be pounced on. Clearly, Smith is not at the place where he is pointing to; hence “that man” fails to refer. We may state the truth conditions of Smith’s initial belief

⁵ A fuller treatment of this question can be found in our 1997.



as follows: that belief is true just in case there is a man, different from Smith himself, at the place he points to, who is going to be pounced on. The truth conditions of Smith's second belief, after turning and seeing the puma in flesh, are very different: this second belief is true just in case Smith himself is going to be pounced on. Hence, *pace* Lycan, Smith's change in behavior is explained by a change in what he believes, individuated in terms of truth conditions.

Suppose, instead, implausible as this may sound, that Smith is aware that he is looking at a mirror. In this case, Smith is using the demonstrative expression "that man" as a definite description with an attributive use, roughly "the man reflected in that mirror". The proposition he properly believes has general truth conditions, namely that there is a man who is reflected in the mirror, who is not himself, and who is going to be pounced on. It is clear that Smith does not include himself in the range of the corresponding variable, given his lack of any pertinent behavioral disposition. After turning and seeing the puma, Smith comes to properly believe a proposition with very different, singular truth conditions, which excludes all the possibilities included by the initial belief and includes the one that was excluded by it: that he himself is going to be pounced on. Against Lycan's contention, the striking change in Smith's behavior is explained by a striking change in the semantic, truth conditional content of his beliefs.

IX

In this paper, we have called attention to two very different ways in which one can be said to believe something; we have labeled these two ways "proper belief" and "quasi-belief". We quasi-believe a proposition as long as we consider the proposition true only because we assume that only one (or some) determinate sufficient condition(s) for its truth is (are) actual, where this assumption is our only essential reason for considering the proposition true. We properly believe a proposition when we have implicitly assumed that any of its sufficient truth conditions can be satisfied and that at least one has been so. In connection with this distinction, we have insisted on the distinction between the truth conditions of the proposition conventionally expressed by a sentence through which an agent expresses his or her belief, and the truth conditions of the proposition she properly believes. And we have pursued some consequences of these distinctions and reflections for several philosophical issues, such as principles of belief ascription, the relationship of an agent's beliefs to his or her behavior, a famous puzzle connected to belief and the relation between the semantic and the causal/motivational properties of our beliefs.



REFERENCES

- Bilgrami, A. (1992), *Belief and Meaning*, Oxford, Blackwell.
- Donnellan, K. (1966), "Reference and definite descriptions", *Philosophical Review* 75. Reprinted in A. P. Martinich (ed.), *The Philosophy of Language*, New York, Oxford University Press.
- Grimaltos, T. and Moya, C. J. (1997), "Belief, content, and cause", *European Review of Philosophy* 2, pp. 159–171.
- Kripke, S. (1977), "Speaker's reference and semantic reference", in P. French, T. Uehling and H. Wettstein (eds.), *Contemporary Perspectives in the Philosophy of Language*, Minneapolis, University of Minnesota Press, pp. 6–27.
- Kripke, S. (1979), "A puzzle about belief", in A. Margalit (ed.), *Meaning and Use*, Dordrecht, Reidel, pp. 239–283.
- Liebesman, D. (2012), "Some puzzles about some puzzles about belief", *Analysis* 72, pp. 608–618.
- Lycan, W. (1988), *Judgment and Justification*, Cambridge, Cambridge University Press.
- McKay, T. and Nelson, M., "Propositional attitude reports", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2010 edition), Edward N. Zalta (ed.), URL=<<http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/prop-attitude-reports/>>.
- Perry, J. (1979), "The problem of the essential indexical", *Noûs* 13, pp. 3–21.
- Powell, L. (2012), "How to refrain from answering Kripke's puzzle", *Philosophical Studies* 161, pp. 287–308.
- Stalnaker, R. (1984), *Inquiry*, Cambridge MA, MIT Press, pp. 79–80.



ЭКЛЕКТИКА И СИНКРЕТИЗМ: К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОСТИ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ¹

Людмила Александровна Микешина – доктор философских наук, профессор кафедры философии Московского педагогического государственного университета.
E-mail: lamikeshina@yandex.ru



Статья посвящена эклектике и синкретизму, их реальным смыслам и функциям в истории философского знания: от понимания философского знания как «естественного» эклектического сочетания элементов разных учений (Александрия, I–III вв.) до становления целостных систем немецких мыслителей (XVIII–XIX вв.), последующего преодоления «системности» и, наконец, возникновения «нового» эклектизма в постмодернистской философии. Необходимость неоднозначного понимания и современное переосмысление истории и природы синкретизма и эклектизма в философии подтверждается современным толкованием «классических эклектиков» Цицерона (Рим, I в. до н.э.) и Диогена Лаэртского в книге «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». Принимаются взвешенные позиции А.Ф. Лосева и Г.Г. Майорова, показавших, что оценки этих мыслителей идут по традиционным критериям прошлых веков – создал или не создал философ свою систему; последнее было признаком эклектизма. Дальнейшее рассмотрение строится на оценках Дидро из «Энциклопедии», где эклектик понимается как философ, отрицающий традицию, общепризнанность, авторитет, – все, что «порабощает умы», принимающий только то, что подтверждается его опытом и разумом. Отмечается преодоление системосозидания (XIX в.), в частности, младогегельянцами, К. Марксом, М. Штирнером, Л. Фейербахом и др., кто соединяет критику немецкой философии с антропологизмом и французскими идеями социалистической ориентации. Их философские построения в полной мере являются синкритическими и эклектическими в позитивном содержании этого понятия, учитывающего все значение диалога разных идей, подходов и концепций. Представлено рассуждение Г.Г. Шпета о критическом и позитивном отношении к эклектизму в русской философии (А.И. Герцен, П.Л. Лавров). Статья завершается рассмотрением синкретизма и эклектизма как базовых приемов в современной постмодернистской философии с опорой на статьи Ж.Ф. Лиотара и В. Вельша, на примере работ Ж. Батая, Ж. Бодрийара.

Ключевые слова: синкретизм, эклектика, естественные науки, И. Ньютон, гуманитарные науки, А. Койре, В. Дильтей, модерн, постмодерн.

ECLECTICISM AND SYNCRETISM: ON THE PROBLEM OF SYSTEMACY OF PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE

Lyudmila Mikeshina – doctor of philosophical sciences, professor of the department of philosophy of the Moscow Pedagogical State University.

The article is devoted to eclecticism and syncretism, to their meaning and functions in the history of philosophical knowledge: from an interpretation of philosophical knowledge in terms of “natural” eclectic combination of elements from different teachings (Alexandria, I–III centuries) to the reconstruction of the systems of German thinkers (XVIII–XIX centuries) and the overcoming of systematicity that followed, as well as, to the emergence of a new eclecticism in postmodernist philosophy. A need of an understanding from different perspectives and a contemporary reconsideration of the history and the nature of syncretism and eclecticism in philosophy is supported by the

¹ Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 13-03-00336.



modern interpretation of such "classical eclectics" as Cicero and Diogenes Laertius. The author considers the views of A.F. Losev and G.G. Majorov, who showed that evaluations of the two aforementioned thinkers follow the traditional criteria of the past centuries: whether such-and-such philosopher had or had not constructed a philosophical system of his own (the former being a sign of eclecticism). The author continues with a consideration of the evaluations given by Diderot in the Encyclopedia, in which an eclectic is viewed as a philosopher who rejects the tradition and authority. Also she discusses the views of such Hegelians as K. Marx, M. Stirner, L. Feuerbach who united the criticism of German philosophy with anthropology and some French socialist ideas. Their philosophical ideas are viewed as eclectic in the positive sense of the term which takes into account all the meanings in the dialogue of different ideas, approaches and conceptions.

The author also considers G.G. Shpet's discussion of a critical and positive views on eclecticism in the Russian philosophy (A.I. Herzen, P.L. Lavrov). The article ends with a consideration of syncretism and eclecticism as basic methods in postmodernist philosophy on the material of words of such thinkers as J.F. Liotard, and W. Welsch as well as G. Bataille and J. Baudrillard.

Key words: syncretism, eclecticism, natural sciences, I. Newton, the humanities, A. Koyré, W. Dilthey, U. Eco, the modern, the postmodern.

В эпоху развития новых форм коммуникативной рациональности возникает необходимость эпистемологического осмысления таких базовых и давно существующих ее текстовых и дискурсивных форм, как синкретизм и эклектика, близких по сути, но различающихся по способу сочетания и степени присутствия разнородных частей и компонентов². Синкретизм как рядоположенность целостных частей и даже учений в одном тексте, и эклектизм, соединяющий некоторое множество разнородных идей и положений, проходили и проходят разные стадии применения и оценки в качестве эпистемологических и методологических приемов. Последнее может быть обусловлено идеологическими требованиями или религиозными догмами.

Наиболее значимые проблемы – это формы и роль синкретизма и эклектизма в *истории философского знания*, в современной философии, в частности в контексте и языке постмодернизма, а также эпистемологические смыслы синкретизма и эклектизма в истории естествознания и гуманитарных наук. Обращение к этим проблемам предполагает необходимость более обстоятельного изучения природы собственно философского знания, что подтверждается введенным Т.И. Ойзерманом эпистемологически продуктивным понятием амбивалентности философии³.

Синкретизм и эклектизм в истории философского знания.

Эта тема обширна, существует в веках, неуклонно подвергается критике, но, часто отмечаемая как отрицательная форма философство-

² Исходно я опираюсь на наиболее нейтральное определение, относящееся к философии, в статье «Синкретизм» (См.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В 86 т. СПб., 1890–1907): «Синкретизм... – так называется сочетание различных философских начал в одну систему. Понятие С. близко подходит к эклектизму; различие между ними некоторые видят в том, что эклектизм старается путем критики выделить из различных систем состоятельные принципы и органически связать их в одно целое, а С. соединяет разнородные начала, не давая им истинного объединения. С. с особой яркостью проявился в александрийской философии...». Однако по мере рассмотрения проблемы это определение будет уточняться и наполняться новым содержанием.

³ См.: Ойзерман Т.И. Амбивалентность философии. М., 2011.



вания, не исследована в своей эпистемологической природе при построении философского знания. Существует мнение, например Д. Дидро, что эклектизм был присущ философии с первых веков ее существования, однако больше текстов написано об эклектизме александрийской культуры и особенно философии I в. до н.э. – III в. н.э. На формировании Александрийской школы сказался «естественный эклектизм» (В.Я. Саврей) философов и ученых многонациональной столицы, ее Мусеона и Библиотеки. Однако большинство исследователей этого феномена пишут прежде всего о его отрицательных смыслах и последствиях и только немногие понимают значение эклектизма этого периода в формировании новых школ и направлений европейской философии. От Диогена Лаэртского известно, что слово «эклектика» впервые употребил в качестве определения своей философской школы александриец Потамон, отобравший из всех прежних школ то, «что нравится, удобное», причем формирующееся понятие первоначально не имело того негативного смысла, который ему стали придавать позднее, в Средние века, особенно когда эклектика стала обозначать ересь, противостоящую соборным решениям христианской церкви, а также в Новое время, когда эклектизм сделался уничижительной характеристикой позднегреческой философии как выражение ее упадка и интеллектуального бессилия⁴.

Опыт александрийцев может быть понят и изучен с позиций не только истории философии, но и социальной философии и эпистемологии как уникальный пример особого типа коммуникации – культурной, языковой, философской, религиозной, породившей новые феномены и направления в этих областях зарождающегося тысячелетия Европы. Эклектизм и синкретизм бесконечного разнообразия идей были базовой формой этого процесса, часто принимались как необходимый естественный процесс. Чтобы подтвердить правомерность такого подхода, мышления философов разных стран, обращусь к одному из самых ярких случаев синкретизма и эклектизма в философии – книге Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», а также к вступительной статье А.Ф. Лосева.

Труд Диогена Лаэртского не может рассматриваться как систематическое изложение истории греческой философии, все в нем «чрезвычайно спутанно, без последовательной хронологии», наполнено самым разнообразным описанием античной жизни, ярких личностей, поэзии, эпох культуры и т.д. и в целом не соответствует стилю античного философского мышления. По Лосеву, Диоген не дилетант и невежда, но «вольный и беззаботный грек», не скованный никакими системами, методами, нормами и правилами, что и позволяет ему достичь

⁴ Поршнев В.П. Эклектизм как мировоззрение интеллектуальной элиты птолемеевской Александрии // Вестник СПб государственного университета культуры и искусства. 2011. № 1. С. 104.



яркого результата, оставившего книгу в веках, хотя она и в высшей степени эклектична. Разумеется, исследователю книги необходимо критическое осмысление всего, что происходит на этих «веселых просторах античной историографии», как и делают специалисты и сам Лосев, проходя по всем разделам и книгам трактата Диогена Лаэртского.

Мне представляется значимым и важным взвешенное, не высокомерное отношение Лосева к предельно эклектическому, «хаотическому нагромождению» трактата. При всем научно-критическом анализе он отмечает ряд моментов, важных для чтения текстов таких исторических источников, как трактат. «Хаотическое нагромождение является таковым только с точки зрения чисто логического анализа содержания трактата. На самом же деле за сумбурной логикой кроется подлинное восприятие античной жизни... писателем уже III в. В эту эпоху развала античного мира особое значение имели анекдот, парадокс, выдумка... беспринципность, даже, может быть, некоторого рода импрессионизм...»⁵ Лосев понимает необязательность строгой логики при изложении, не требует четкого определения автором своего мировоззрения и видит в этом особенности «тогдашней греческой литературы», «забывшей идеалы строгости и гармонии». Таким образом, эклектизм находит свое понимание и пояснение у Лосева, который из самого текста трактата знает, что Диоген указал на Потамона Александрийского, который «прибавил еще одну, эклектическую, отобрав из всех школ то, что ему хотелось»⁶.

Вместе с тем Лосев показал, что в трактате, правда, в единственном случае, присутствует рассмотрение системы Платона совсем не хаотичное, а последовательное и обстоятельное, со всеми необходимыми для философа характеристиками – вполне современный «систематический очерк» и «обзор терминологии Платона с подробным указанием семантики каждого термина». По всему трактату постоянно присутствуют ссылки на источники, авторитетные мнения и факты. В конечном счете он является «ученым произведением». «Научная значимость Диогена вполне несомненна, но ее надо уметь понимать в совокупности всей мало-критической и часто чересчур беззаботной его методологии»⁷.

Следует отметить также общую оценку, данную Лосевым античной эклектике, о которой, возражая известному немецкому историку философии Э. Целлеру, «следует говорить более как об исторически плодотворной тенденции, нежели как о сложившемся самостоятельном направлении греко-римской философии. В особенности это относится к так называемому эклектизму 1–2 вв., определенно бази-

⁵ Лосев А. Ф. Диоген Лаэртский и его метод // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. С. 32.

⁶ Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 69.

⁷ Там же. С. 59.



рующемся на платонизме и приводящему к возникновению в 3 в. неоплатонизма, положившего конец эклектизму... Таким образом, античный эклектизм вовсе не эклектичен в том смысле, как это часто говорят о несистематически мыслящих философах Нового времени»⁸. Эта позиция А.Ф. Лосева – критическая, но понимающая и уважающая философов прошлого – представляется весьма значимой и продуктивной при анализе конкретных случаев эклектики в истории развития философского знания.

Необходимость неоднозначного понимания истории и природы синкретизма и эклектизма в философии подтверждается историей трактовки и современным толкованием еще одного «классического эклектика», «типичного представителя эклектицизма в Риме» еще до расцвета александрийской философии (I в. до н.э.), как пишут о Марке Туллии Цицероне в хрестоматиях и традиционных энциклопедиях. Здесь же можно встретить такое странное мнение, что «Цицерон не дал новых идей миру... Его собственный внутренний мир небогат, ибо в нем много других голосов»⁹. Оценки идут по традиционным критериям прошлых веков – создал или не создал свою философскую систему – это еще один признак, как считалось, для выявления эклектизма. Очевидно, что если с современных позиций исследовать труды Цицерона, увидев в них на первом месте гораздо более глубокое гуманистическое содержание, то можно по-другому оценить не только его правовые, этические и философские идеи, но снять с него обвинения в эклектизме, переосмыслив также как функциональную роль этого понятия, так и его место в философских и в целом в гуманитарных областях познания. Именно это осуществил Ф.Ф. Зелинский – выдающийся ученый, филолог-классик, для которого тема жизни и творчества великого римского политика, оратора и философа Цицерона, крупнейшего гуманитарного мыслителя европейской культуры, была одной из ключевых¹⁰. Ученый видел в нем «проводника» античной гуманности как практической этики и высоко ценил его разносторонность и скромность мыслителя, не ставившего на передний план свои заслуги, но стремившегося передать учения других, в первую очередь древнегреческих философов и ученых, что имело фундаментальное значение для культуры нового тысячелетия. Очевидно, что Зелинский, глубоко знавший труды и заслуги Цицерона, гуманиста и гуманитария, видевший их глазами серьезного исследователя,

⁸ Лосев А.Ф. Эклектизм // Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970. С. 542–543; См.: Целлер Э. Очерки истории греческой философии. М., 2009.

⁹ Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1. СПб., 1994. С. 207.

¹⁰ Белкин М.В. Тема Цицерона в творчестве Ф.Ф. Зелинского. – <http://centant.spbu.ru/centrum/publik/kafsborg/mnemon/2002/belkin2.htm>. Ф.Ф. Зелинский (1859–1944) эмигрировал в 1920 г., и его труды оказались под запретом либо издавались за рубежом.



не мог допустить обвинения в вульгарном эклектизме, которым пестрят тексты о Цицероне в поверхностных работах и дежурных словарно-энциклопедических статьях уже не одно столетие.

В наше время именно такую работу по переоценке заслуг и текстов Цицерона осуществил Г.Г. Майоров во вступительной статье к философским трактатам древнего мыслителя (1985), где он, показывая преемственность, цитирует работу Зелинского «Цицерон в ходе веков» (1908, нем.). Отмечена новая тенденция во второй половине XX в., в частности в работах немецких исследователей Г. Ханта и В. Зюсса о сочинениях Цицерона, в которых подчеркиваются его «оригинальность» и «значение в формировании европейского гуманизма». Справедливо переоценивается и так называемый «эклектизм» Цицерона прежде всего потому, что переосмысливается само понятие эклектика, его роль и содержание. Майоров поддерживает эту позицию, также отмечая, что традиционное, расхожее значение термина «эклектизм» как «некритическое и беспринципное соединение в одном учении разнородных идей, заимствованных из случайных источников»¹¹, не применимо к римскому мыслителю. Теперь в его так называемом эклектизме видят совсем другие цели и задачи: создать новую римскую философию, универсальную и партикулярную одновременно, т.е. соответствующую и универсалистскому духу мировой римской державы, и индивидуальным духовным потребностям каждого ее гражданина. В конечном счете она должна была стать в положительном смысле эклектической или синкретической, объединяющей все, что было создано подвластными Риму народами. «С этой точки зрения, эклектизм Цицерона – не досужее дилетантство, а сознательно поставленная и эффективно разрешенная задача громадной важности»¹².

Еще несколько важных особенностей эклектизма/синкретизма Цицерона отмечены Майоровым и значимы для понимания самого этого феномена. Так, он напоминает, что именно в связи с такой особенностью Цицерона И. Кант рассуждал о его «истинной популярности», которая требует, в частности, «практического знания мира и людей», «нисхождение до степени понимания публики». Другая особенность – независимость Цицерона от источников: он, в частности в «Тускуланских беседах», писал о том, что не будет сковывать себя уставами какой-либо секты, как это обычно делается в философии, а будет искать свой убедительный ответ на каждый вопрос. Очевидно, что он не подчинялся требованиям какой-либо «системы» и не стремился к ее созданию. Майоров приходит к выводу, что Цицерон «в основном и в главном – философ-просветитель», принимавший ту же

¹¹ Майоров Г.Г. Цицерон как философ // Цицерон. Философские трактаты. М., 1985. С. 9.

¹² Там же.



систему ценностей, что позже Вольтер, Гольбах, Дидро и другие просветители XVIII в. «Ей свойствен своеобразный универсализм и “эkleктизм” – свободное заимствование из всех источников всего того, что служит общечеловеческим идеалам»¹³.

Итак, речь идет о позитивном понимании синкретизма и эклектизма в том случае, когда объединяются разнородные, но ценные и значимые идеи народов и культур прошлого, что и понимали просветители. Д. Дидро – известнейший среди просветителей, поэтому неудивительна его точка зрения на эклектизм, изложенная в отдельной статье знаменитой «Энциклопедии» и ставшая широко известной. Он занимает позитивную позицию, следуя исходному смыслу понятия эклектики как «выбираю сам, что мне нравится», где роль субъекта, а не сообщества, системы, школы, мировоззрения оказывается определяющей. «Эклектик – философ, отрицающий предубеждения, традицию, древность, общепризнанность, авторитет, – одним словом, все, поработавшее умы; он дерзает мыслить по-своему, восходит к общим, наиболее ясным началам, исследует, обсуждает их и не принимает ничего, что не подтверждается его опытом и разумом... Эклектик меньше стремится к роли учителя человечества, чем к положению его ученика; ...познать истину, а не учить ей других. Это отнюдь не человек насаждающий или сеющий, это человек собирающий и просеивающий»¹⁴. По существу он продолжает традицию знаменитого философа и теолога Средневековья Петра Рамэ (Petrus Ramus), оставившего высказывание о том, что «академики – это эклектики, которые отличаются от других философов как свободные люди отличаются от рабов, как мудрый отличается от безрассудного и устойчивый от упрямого»¹⁵.

Еще одна важная мысль Дидро, встречающаяся и у других философов, значимая и сегодня, – это рассмотрение эклектизма как свойства всего философского знания. Он поддерживает первоначальное значение эклектизма, который «не являлся новой философией... эклектики среди философов оказались, подобно владыкам на земле, единственными оставшимися в природном состоянии, при котором все принадлежало всем»¹⁶. Так, Пифагор использовал теологов Египта, философов Греции; Платон – знание, собранное Сократом, Гераклитом и Анаксагором; Зенон – пифагоризм, платонизм, кинизм и др. Цель – «расспросить разные народы, собрать отдельные истины, рассеянные по поверхности земли, и вернуться на Родину обога-

¹³ Майоров Г.Г. Указ. соч. С. 18.

¹⁴ Богуславский В.М. Философия в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. М., 1994. С. 618.

¹⁵ Sellberg E. Petrus Ramus // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. – <<http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/ramus/>>

¹⁶ Богуславский В.М. Указ. соч. С. 619.



ценными мудростью всех наций»¹⁷. Так, «существовали пирроники, скептики, киники, стоики, платоники, эпикурейцы, и это ни к чему плохому не приводило». Дидро излагает «метод эклектика»: эклектик не собирает истин, случайно ему попавшихся, не оставляет их изолированными, не упорствует в их согласовании в определенном плане. Как только принимается какое-то начало, то предложение либо явно связывается с ним, либо вовсе не связывается, либо противостоит ему. Только в первом случае он считает данное предложение истинным и все остальные соотносит с ним, принимая или отбрасывая. «Таков метод эклектика. Таким образом ему удастся *создать фундаментальное целое, являющееся результатом его собственной работы над большим объемом собранных им частей, принадлежащих другим* (курсив мой. – Л.М.)»¹⁸. Дидро выразил, таким образом, позитивное содержание и значение метода эклектики, его роли и присутствия в философских текстах, добавив: «Из этого явствует, что Декарт был среди своих современников великим эклектиком». Отмечается особая роль самого мыслителя-исследователя, его личности в работе над собранным материалом, что в дальнейшем отойдет на второй план, так как на первое место выйдет роль системы, доктрины, учения, принципам которых необходимо следовать, чтобы не оказаться «эклектиком».

Разрушение и своего рода «вырождение» как самого эклектизма, так и понимания его сути произошло, по Дидро, «когда христианская религия начала все философские школы пугать скоростью своего распространения и возмущать их своею беспрецедентною нетерпимостью... возвела в основной принцип положение, согласно которому... ее мораль объявлялась единственной истинной моралью, а ее Бог – единственным истинным богом! Возмущение жрецов, народа и философов было бы всеобщим, если б не небольшое число людей хладнокровных, какие всегда... создают себе все примиряющую систему и льстят себя надеждой, что эта система понравится многим людям. Таковым приблизительно было возникновение эклектизма»¹⁹.

Статья Дидро из «Энциклопедии» содержит в себе все требования, идеалы и условия не только человека эпохи Просвещения, из нее необходимо исходить, как справедливо полагает М.И. Микешин, следуя идеям Дидро, если мы хотим осмыслить главное в этом периоде европейской философии. «Лучшего из просвещенных называют философом. Философ – это честный человек, который всегда действует в согласии с разумом и соединяет в себе дух размышления и точность с высокой моралью и стремлением жить в обществе... Лучший

¹⁷ Божулавский В.М. Указ. соч.

¹⁸ Там же. С. 620.

¹⁹ Там же.



из философов зовется эклектиком. Эклектик отрицает все, что поработает умы. Он дерзает думать по-своему, восходя к самым общим и ясным принципам, обсуждает их и не принимает на веру ничего, что не было бы доказано его опытом и разумом»²⁰. Таким образом, понимание эклектизма в эпоху Просвещения еще сохраняет первоначальные позитивные смыслы – «выбирать лучшее и то, что мне нравится», и это связано с высокой оценкой и доверием самому человеку, философу в частности. Однако с «вырождением» идеалов Просвещения именно доверие к разуму и позиции личности все больше утрачивалось, соответственно и смыслы эклектизма, как и синкретизма, вырождаясь, становились вульгарно-упрощенными и отрицательными, тем более потому, что входили в противоречие с неукоснительным требованием руководствоваться религиозными и философскими догмами и всеобщими логическими нормами построения философской системы.

Обращение лишь к некоторым, хотя и значимым эпизодам в истории философского знания показывает, что эклектизм имеет исторические предпосылки своего возникновения и существования, он не всегда оценивался только отрицательно, но возник прежде всего с необходимостью признания личной свободы философа в понимании и трактовке философских проблем и стремлением обращаться к значимым идеям не одной «единственно правильной», но разных школ, учений и систем.

Проблемы синкретизма и эклектики всегда были и будут внутри философии, и об этом, по-видимому, можно написать некий труд, сравнимый по объему с известной работой социолога философии Р. Коллинза. Однако при кратком рассмотрении проблемы можно указать лишь на некоторые периоды в истории синкретизма и эклектизма в философском знании, когда размышление о них имеет особое значение, в частности, на период 1740–1840-х гг. в Германии, в Европе в целом. Это время косвенного обоснования отрицательной оценки синкретизма и эклектизма, нашедшего принципиальную поддержку в трудах Х. Вольфа и его учеников, внедрявших в философское мышление ясные и строгие правила логического следования и доказательного мышления, его систематической упорядоченности, при котором не оставалось места осуждаемому, логически неприемлемому эклектизму. Это период господства классической системосозидающей философии И. Канта, И.Г. Фихте, Ф.В. Шеллинга, Г.В.Ф. Гегеля, когда истинной философией считалось только создание мыслителем собственной *системы*, строящей философию как строгую и систематическую науку или следующей ей. Создание системы стало

²⁰ Микешин М.И. «Божественный» разум Просвещения // Философский век. Альманах. Вып. 24. История философии как философия. Ч. 1. СПб., 2003. С. 149.



высшей ценностью, отсутствие стремления к ней у данного философа становилось признаком синкретизма его мышления, эклектизм признавался абсолютно отрицательным, презираемым явлением, ни о каких его позитивных смыслах не могло быть и речи.

Однако к концу указанного столетия ситуация существенно меняется: как известно, гегелевская система перестает быть господствующей и подвергается пересмотру и критике. В первую очередь преодолевается системосозидание и вводится новое понимание роли философии в обществе, чему придавалось особое значение, в частности, младогегельянцами. Среди них были К. Маркс, М. Штирнер, Л. Фейербах и другие, которые «в той или иной степени принимали мысль о соединении немецкой философской критики с французскими идеями социалистически-коммунистической ориентации...»²¹ И уже этот факт показывает, что они действительно не были эпигонами, но их философские построения в полной мере являются синкретическими в позитивном смысле этого понятия и показывают, как многого можно достичь при таком способе мышления и исследования, если он осуществляется глубоким мыслителем, формирующим свою теорию, понимающим все значение диалога разных идей, подходов и концепций. Наиболее исторически и теоретически значимый результат этого – философия и социальная теория Маркса, которая считается вылитой «из одного куска стали», но при этом имеет «три источника и три составные части» – немецкую идеалистическую философию, английскую буржуазную политэкономю и французский утопический социализм, т.е. вполне синкретична²². Очевидно, что классики марксизма при построении учения в полной мере используют наряду с логическим и историческим обоснованием своих идей приемы синкретизма как соединения различных учений своих предшественников.

В этом контексте лучше всего о Марксе написал Б. Рассел в «Истории западной философии»: «Его трудно классифицировать. В одном аспекте он является... выходцем из философских радикалов, продолжая их рационализм и неприятие романтиков. В другом аспекте он может рассматриваться как философ, который возродил материализм, дав ему новую интерпретацию и по-новому увязав его с человеческой историей. В еще одном аспекте он является последним из великих системосозидателей, наследником Гегеля, верив-

²¹ История философии: Запад – Россия – Восток (книга вторая: Философия XV–XIX вв.); под ред. Н.В. Мотрошиловой. М., 1996. С. 475.

²² В.И. Ленин в «Философских тетрадах» упоминает эклектику 7 раз для отрицательной оценки взглядов философов и широко использует в политических статьях. Конструктивных аспектов эклектицизма он не видит, его резко отрицательное, идеологическое отношение существенно повлияло, по-видимому, на однозначное отношение к эклектике в советской философии, гуманитарном и социально-политическом знании.



шим, как и тот, в рациональную формулу, подводящую итог эволюции человечества. Упор на любом из этих аспектов в ущерб другим даст ложную и искаженную точку зрения на его философию»²³. «Философия истории Маркса есть смесь гегельянства и английских экономических концепций», но в отличие от Гегеля не дух, а материя является движущей силой, при этом он «радикально изменил» смысл материализма. В конечном счете «гегельянские обрамления... для пользы дела можно отбросить», тем более что «все элементы философии Маркса, которые он заимствовал у Гегеля, ненаучны в том смысле, что нет причин полагать их истинными»²⁴. Разумеется, суждения Рассела при всем уважении к нему спорны, но признание синкретизма и элементов эклектизма в марксистском учении у него несомненно присутствует, как и твердое убеждение в силе ума, знаний и творческой самостоятельности самого Маркса.

Эта проблема получает совсем иную и, на мой взгляд, не бесспорную интерпретацию в книге американского философа Т. Рокмора «Маркс после марксизма. Философия Карла Маркса» (2002). Автор, отделив Маркса от марксизма, сохраняет целостность его философии «как гегельянца, а не пост- или антигегельянца... как последнего из великих немецких идеалистов, находящегося не вне, а внутри великой традиции немецкого идеализма»²⁵. Таким образом, Маркс представлен как последователь Гегеля, стремящийся создать свою целостную систему внутри гегельянства, тогда как все противоречия и «слабости», в том числе, как я полагаю, и эклектизм, отданы автором марксизму. По-видимому, «разведение» Маркса и марксизма имеет право быть, однако понимание Маркса как «чистого гегельянца», безусловно, вызывает возражения.

В русской философии XIX в. отчасти в связи с гегельянством и непосредственно после гегелевской философии также возникали и обсуждались проблемы эклектизма. Остановлюсь на двух мыслителях – А.И. Герцене и П.Л. Лаврове, опираясь на исследование их идей и формирование философии Г.Г. Шпетом уже в начале XX в., поводом чему служили дни памяти этих философов в 1920 г. Исследуя становление и развитие философии Герцена, Шпет отмечает влияние на него В. Кузена, который упоминается многими именно как эклектик на фоне создателей философских систем Шеллинга, Гегеля и других. Шпет отмечает, что влияние Кузена, которое испытал Герцен, «не могло быть долговременным». Оно видно в одной из его ранних статей, по-видимому, как «подготовительная ступень», но уже в 1840-е гг.

²³ Рассел Б. История западной философии. Т. 2. Новосибирск, 1994. С. 265.

²⁴ Там же. С. 270, 271.

²⁵ Рокмор Т. Маркс после марксизма. Философия Карла Маркса. М., 2011. С. 15. См. возражения редактора В.А. Лекторского по ряду положений автора в Комментариях.



он критически относится к эклектизму Кузена, в котором «мало философии» как науки. Это поддерживает и Шпет, так как «еще менее мог эклектизм Кузена надолго удержать того, кто жил потребностью превратить отвлеченную мысль в практическую действительность. На минуту можно было увлечься обманчивой широтою формулы эклектизма: *tout accepter et rien exclure*, и однажды можно было ее воспроизвести, но свободному разуму тотчас должны открыться и ее идейная пустота и ее практическое неприличие»²⁶. Тем не менее Шпет остается справедливым к Кузену, отмечая его заслугу как профессора, который «усердно популяризировал немецкий идеализм... подготавливал к настоящей философии. В развитии Герцена он сыграл такую роль во всяком случае. Он помог ему в его позднейшем усвоении Гегеля. В особенности защита им прав *умозрения* помогла Герцену овладеть теоретической проблемой познания как проблемой отношения мышления и бытия»²⁷. Шпет обсуждает также проблему эклектики в развитии философии Лаврова, последователя Герцена, становление которого как философа происходило в ходе критического анализа «гегелизма», позитивизма, материализма, изучения проблемы антропологизма и личности, природы научного знания и социальных проблем в особенности.

В советское время Лавров воспринимался скорее как политический деятель, нежели философ. В вводной статье к изданию двухтомника его работ (1965) главным принимается то, что «Лавров не создал последовательной концепции, его философия отличалась эклектизмом, на что в свое время обратили внимание Чернышевский, а впоследствии Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин. За субъективизм и эклектизм в философии Лаврова критиковали Антонович, Писарев и другие революционные демократы. Даже в лучших своих произведениях, таких, как «Исторические письма», Лавров не создал законченной теории исторического процесса, хотя и стремился к разрешению наболевших социальных вопросов»²⁸. Эта оценка принадлежит советским историкам философии, которые руководствовались прежде всего мнением классиков, ленинским идеологизированным пониманием эклектизма и не принимали во внимание ни возражений самого Лаврова, ни мнения «врага народа» Шпета, работы которого скорее всего им не были известны.

²⁶ Шпет Г.Г. Философское мировоззрение Герцена // Г.Г. Шпет. Очерки развития русской философии. II. Материалы ; реконструкция Т.Г. Щедриной. М., 2009. С. 208. В. Кузен – французский профессор, переводчик и издатель Платона, П. Абеляра и других философов, понимавший философию как историю философии, задача которой заключается лишь в критическом отборе истин из прежних философских систем. *Tout accepter et rien exclure* – все принять и ничего не исключать.

²⁷ Там же. С. 21.

²⁸ Книжник-Ветров И.С., Ожухов А.Ф. Вступительная статья // П.Л. Лавров. Философия и социология : избр. пр. В 2 т. Т. I. М., 1965. С. 20.



Было известно, что Н.Г. Чернышевский в «Антропологическом принципе в философии» критически рассматривал работу Лаврова «Очерки вопросов практической философии», считая, что она «должна быть положительно признана хорошею», однако в ней «встречаются мысли, которые едва ли совместны между собою», и это «придает, если мы не ошибаемся, системе г. Лаврова характер эклектизма». Вместе с тем его собственные «понятия о тех же предметах... в сущности сходны с образом мыслей г. Лаврова; разница будет почти только в изложении и в приемах постановки вопроса»²⁹.

Мнение самого Лаврова изложено в его ответе Н.Н. Страхову на рецензию по поводу одной из своих статей. «Рецензент говорит, что я эклектик. Обыкновенно эклектизмом называют учение, соединяющее механически результаты различных школ, не сплавляя их в одно стройное целое. Конечно, со стороны себя судить трудно. Если бы я убедился, что только эклектически я могу мыслить о философских вопросах, то отказался бы навсегда от этого рода трудов; но я полагаю, что еще опрометчиво судить по отрывочным трудам, насколько мысль автора цельно охватила различные предметы своего исследования. Итак, ответ на это – в будущем»³⁰. Ему не удалось опубликовать целостную работу по антропологизму, но он смог изложить в статьях основные идеи о месте и роли целостной личности в познании и философии.

Наиболее глубокие и взвешенные оценки философии Лаврова несомненно принадлежат Шпету, который отмечал, что для Лаврова «только весь человек, в целостности явлений его жизни – истинный предмет философии»³¹. Шпет подчеркивает эту мысль Лаврова, но, вписывая его идеи в историю философии, не перестает критически осмысливать его антропологические идеи и высказывания, в целом отводя обвинения Лаврова в эклектизме. Для истории русских философов, которые, во многом самодостаточные, тем не менее постоянно изучали труды европейских философов, что происходит и сегодня, вопрос о возможности эклектизма всегда стоит на повестке дня, поэтому столь важно понять его природу, реальные эпистемологические функции, их изменение, уточнить оценки и место в развитии системной и несистемной философии.

Синкретизм и эклектизм постмодернистской философии.

Принципиально новая ситуация в понимании природы, места и значения синкретизма и эклектизма сложилась в европейской философии в период становления и развития постмодерна. Эта тема в той

²⁹ Чернышевский Н.Г. Избранные философские сочинения. Т. III. М., 1951. С. 167, 168.

³⁰ Лавров П.Л. Указ. соч. С. 497.

³¹ Шпет Г.Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии // Г.Г. Шпет. Очерки развития русской философии. С. 483. См. также: Микешина Л.А. П.Л. Лавров: философия познания // Эпистемология и философия науки. М., 2012. Т. XXXIII, № 3.



или иной мере присутствует во всех текстах постмодернистской философии. Прежде всего хотелось бы уточнить, из какого понимания постмодерна и постмодернизма я исхожу в данном случае. Во второй половине прошлого века основные определения этих понятий были даны, как известно, в работах Ж.Ф. Лиотара, Ю. Хабермаса, Р. Рорти, а также обобщены в известной статье немецкого исследователя В. Вельша и статьях других авторов.

Базовая статья Лиотара (1979) в значительной степени исследует знание в контексте нарратива, теории языковых игр и проблемы легитимации. Все эти аспекты постмодернизма в той или иной степени имеют отношение к современным проблемам диверсивности, гетерогенности и эклектизма в знании вообще, философском в частности. Лиотар в целом исходит из того, что «настоящее знание – это всегда не прямое знание, сформированное из относительных высказываний и инкорпорированное в метарассказ субъекта, который обеспечивает его легитимность»³². И здесь уже присутствует идея включенности, радикального плюрализма и разнообразия компонентов в «теле» субъективного знания. При этом «знание находит свою обоснованность не в себе самом, не в субъекте, который развивается через актуализацию своих возможностей познания, а в практическом субъекте, каковым является человечество»³³. Лиотар напоминает, что в эпоху постмодерна широко применяется не только коммуникативный диалог, но и *brain storming*, чтобы увеличить результативность, которая повышается при групповой работе, когда не придается значения конкретному авторству или эклектические приемы не имеют значения для получения истинного результата. Придание особой ценности работе в группе говорит о преобладании традиционных критериев результативности знания, поскольку в отношении того, о чем можно сказать «истинно» или «справедливо», количество участников ничего не значит, оно может играть какую-то роль, если справедливость и истинность осмысливаются в терминах успеха отдельного субъекта. При этом «правило консенсуса между отправителем и получателем ценностного высказывания об истине считается приемлемым, если оно вписывается в перспективу возможного единодушия рассудительных умов»³⁴, т.е. Лиотар допускает, как и К.О. Апель, существование «консенсусной истины». Но «истинность высказывания и компетенция высказывающего зависят... от одобрения коллектива равных по компетенции. Следовательно, нужно формировать равных при соответствующих условиях»³⁵. Вместе с тем для эпохи

³² Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998. С. 91.

³³ Там же. С. 92.

³⁴ Там же. С. 11.

³⁵ Там же. С. 66.



постмодерна, считает Лиотар, «консенсус стал устарелой ценностью, он подозрителен. Но справедливость к таковым не относится. Следовательно, нужно идти к идее и практике справедливости, которая не была бы привязана к консенсусу»³⁶. В той или иной степени эти особенности постмодерна, как мне представляется, являются благотворной средой для развития различных форм эклектизма.

Проблемы эклектики возникают во многих случаях формирования постмодернистских традиций в философском знании. Так, немецкий философ В. Вельш, размышляя о постмодерне, специально подчеркивает, что его главная особенность – радикальный плюрализм и даже интерференциальность, т.е. «чересполосица» языков, моделей, методов как с позитивной, так и с негативной окраской. При этом, размышляя, в частности, об архитектуре, а также о словах в тексте, он специально оговаривает, что «плюрализм легко совращает, подбивает на эклектику и вседозволенность... Однако подход постмодернизма по своей сути не равнозначен призыву к эклектическому цитированию... Только тогда выполняется постмодерный критерий многоязычия, в противном же случае мы получим неорганизованный хаос»³⁷. Представляется, что Вельш настаивает на том, что постмодернизм – это не только характеристика сферы искусства, культуры, философии, но и «структура действительности настоящего»; это стремление осмыслить ситуацию в обществе, «он не отворачивается от времени, он его исследует» и осознает «бесспорную ценность различных концепций и проектов. Видение постмодерна – *видение плюралистичное*»³⁸. Современные философы подчеркивают разрывы и дифференциации, поощрение многообразия проектов жизни, научных концепций и суть этого не в «выдаче лицензий на хаотизацию, а в предоставлении широкого выбора дифференций» и синкретизме. Так, специалисты в области компаративистики, исследуя современный философский процесс, пишут о постмодернизме, постмарксизме, постнеорационализме, диалоге философских культур, философской риторике, философии литературы, лингвофилософии и лингвоэстетике, синергетике, философской семантике, феминизме и гендерной философии, глобализме и других направлениях как основе современной и будущей философии. В текстах философов-постмодернистов представлены бесконечные примеры множественности и диверсивности, многообразия и конкуренции философских построений, сосуществование богатства гетероген-

³⁶ Лиотар Ж.Ф. Указ. соч. С. 179.

³⁷ Вельш В. «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия // Путь. Международный философский журнал. М., 1992. № 1. С. 121.

³⁸ Там же. С. 129.



ных элементов и различных вариантов синкретизма, эклектизма и плюрализма³⁹.

Наиболее яркий, но не единственный пример синкретизма, не системной – гетерогенной философии, которую трудно воспринимать в виде некоторой целостности из-за «необычных ракурсов», – это философия Ж. Батая, если смотреть на нее как на некоторый феномен, с метауровня. Притом что в середине века он был признан одним из определивших европейскую цивилизацию XX в., а М. Хайдеггер считал его «лучшей мыслящей головой Франции», «порой Батая обвиняют в неровности и эклектичности: высокая культура и эрудиция соседствуют в его статьях со сложными долгими периодами, допускающими различные толкования, и тогда сам автор вынужден возвращаться к вышесказанному. Рассуждения Батая не подчиняются законам логики и правилам классической риторики»⁴⁰. Все это в полной мере представлено в его книге «Литература и зло» (1957), где «нарушены границы», представлены «возможное и невозможное» в произведениях и трудах писателей, поэтов, литературоведов самых различных школ, направлений и времени.

В предисловии к книге Батай пишет, что эти исследования можно понимать как результат стремления «выделить смысл литературы». «Она является ярко выраженной формой Зла – Злом, обладающим... особой, высшей ценностью. Этот догмат предполагает не отсутствие морали, а наличие “сверхнравственности”... Литература не безобидна, и в конечном итоге она должна была признать себя виновной»⁴¹. Он отмечает, что в этой книге не хватает исследований о графе де Лотреамоне (1846–1870), в частности его «Стихотворений», где литература «выносит себе обвинительный приговор», что становится понятным в свете идей самого Батая. Отстаивая «доктрину полезности», Лотреамон писал, что «идея полезности и прогресса требует новых приоритетов в поэзии, в частности, «плагиат необходим. Его подразумевает прогресс... Суждения о поэзии имеют большую ценность, чем поэзия. Они суть философия поэзии... Поэзия не смогла обойтись без философии. Философия смогла обойтись без поэзии...»⁴² Таким образом, Батай, всегда имея оригинальную позицию, подчеркивал, что его поиск совпадает с идеями «Стихотворений», и соглашался, по-видимому, с фразой о связи плагиата и прогресса, что сегодня, в век Интернета, т.е. именно прогресса, получило неожиданное и своеобразное подтверждение.

³⁹ Это показано, например, в успешном исследовании Л.А. Марковой «Философия из хаоса. Ж. Делез и постмодернизм в философии, науке, религии» (М., 2004).

⁴⁰ Бунтман Н.В. Нарушение границ: возможное и невозможное // Ж. Батай. Литература и зло. М., 1994. С. 13.

⁴¹ Батай Ж. Литература и зло. М., 1994. С. 15–16.

⁴² Там же. С. 148. Комментарии Е.Г. Домогацкой, Н.В. Бунтмана.



Можно было бы продолжить и обосновать мысль о богатом разнообразии и творческом синкретизме и эклектизме, сближающих философов постмодерна с современным искусством, где эклектика узаконена, в частности в архитектуре, как специальный прием. Но в рамках статьи лишь напомним еще некоторые «приемы» и отношения к эклектизму, бесконечному разнообразию и плюрализму. Так, Ж. Бодрийяр, автор известного термина «симулякр», исследовавший существование фантазмов в обществе и культуре, известен также фундаментальной работой «Система вещей» (1991), где бесконечное разнообразие вещей – форм, типов, способов существования, вариативных функций и проч. – представлено в системе и через «способы, которыми быт воздействует на технику... На уровне технологии противоречия нет: здесь у вещей есть только их прямой смысл»⁴³. Перед нами интереснейший феномен: «система» создается без опоры на логицизм, т.е. без выявления логических оснований, принципов, элементов системы, и тем не менее возникает сложнейшая функциональная система во всей своей структурности и функциях в обществе.

Таким образом, проблема бесконечно многообразных постмодернистских философских построений порождает необходимость особого рода исследований современной, неклассической философии, где синкретизм и эклектизм выполняют особые эпистемологические функции. Вместе с тем для исследования их когнитивного статуса необходимо исследование синкретизма и эклектики в истории естествознания, социально-гуманитарных наук и коммуникативной рациональности.

⁴³ Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995. С. 9. Существуют также исследования этой проблемы Б. Латура, К. Кнорр-Цетины и др. с иных позиций, что послужило основанием «социологии вещей» – новой области знания, соотношения «социального» и «материального» в социологической теории.



О СВЯЗИ СМЫСЛА И ПОНИМАНИЯ¹

Александр Леонидович Никифоров – доктор философских наук, главный научный сотрудник сектора социальной эпистемологии Института философии РАН. E-mail: nikiforov-first@mail.ru

В статье предпринят анализ понятия «понимание» и его связи с понятием «значение». Понимание истолковывается как интерпретация, т.е. приписывание значений языковым выражениям. Показано, что ограничение значений предметным значением чрезмерно уменьшает сферу понимания языка. Обосновывается мысль о том, что понимание связано с усвоением смысла. Раскрывается сложная структура смысла языковых выражений, состоящая из элементов пяти различных уровней. Обоснован вывод о том, что полное взаимопонимание между людьми невозможно.

Ключевые слова: понимание, значение, семантика, герменевтика, языковой анализ.

ON THE RELATION OF SENSE AND UNDERSTANDING

Alexander Nikiforov – doctor of philosophy, leading researcher of the sector of social epistemology of the Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. E-mail: nikiforov-first@mail.ru

The article presents an attempt at analysis of the notion of understanding and its relation to the notion of meaning. Understanding is treated as interpretation, i.e. attribution of meanings to linguistic expressions. It is shown that restricting the notion of meaning to reference excessively narrows down the field of understanding a language. It is argued that understanding is intrinsically connected with grasping of sense. The author attempts to reveal the complex structure of the sense of linguistic expressions as consisting of five different levels. It is argued that full mutual understanding among people is impossible.

Key words: understanding, meaning, sense, semantics, hermeneutics, linguistic analysis.



Для того чтобы что-то сказать о связи значения с пониманием, нужно придать более или менее определенный смысл понятию понимания, которое до сих пор используется весьма расплывчато; затем следует хотя бы в общих чертах представить себе, как рассматривается значение языковых выражений в современной философии языка и логической семантике; лишь после этого можно будет что-то сказать о том, существует ли взаимосвязь между истолкованием значения языковых выражений и их пониманием.

Понимание как интерпретация

Анализом понятия понимания традиционно занималась герменевтика. Как известно, Ф. Шлейермахер считал, что понять исторический текст значит проникнуть в духовный мир творца этого текста и повторить его творческий акт. Для В. Дильтея понимание было специфическим методом об-

¹ Подготовлено при поддержке РФНФ, проект № 12-03-00588а.



щественных наук, методом психологической реконструкции духовного мира человека прошлого и переноса его в настоящее. Последователи Шлейермахера и Дильтея до сих пор склонны говорить о понимании как о «вчувствовании» в духовный мир другого человека, как об «эмпатическом со-переживании» его мыслей и чувств². Не останавливаясь на анализе истолкований подобного рода, отметим следующее. Все они и многие современные определения понятия понимания опираются на одну простую и привычную идею: *понять текст (языковое выражение) значит открыть (усвоить, постигнуть) его смысл.*

Дело представляется приблизительно следующим образом. Имеется некоторый текст. Автор вложил в него определенное содержание, т.е. свои мысли, образы, чувства. Текст несет в себе эти мысли и чувства. Понять текст значит открыть и усвоить его содержание, пережить то духовно-душевное состояние, которое переживал автор текста в момент его создания. Именно в этом смысле понятие понимания употребляется в обыденном языке, используется в герменевтике и философской литературе. Такое его истолкование можно назвать традиционным.

Нетрудно заметить, что в основе традиционного истолкования понимания лежит предположение о том, что один человек всегда способен выразить свои мысли и чувства в чем-то внешнем – в звуках или знаках, а другой человек всегда способен открыть вложенные в звуки переживания и сам пережить то, что переживал первый субъект. Но стоит только сформулировать это предположение в явном виде, сразу же становится ясно, что оно ошибочно, что это – иллюзия. И развеивают эту иллюзию люди, которые профессионально заняты тем, что пытаются выразить свои мысли и чувства в каком-то внешнем и общедоступном материале. Не свидетельствуют ли о трудностях такого выражения черновики писателей? По-видимому, наиболее остро их переживают поэты:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь:
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи –
Питайся ими – и молчи!

Ф.И. Тютчев.

Но и философы неоднократно обращали внимание на трудности выражения. «Язык переодевает мысли, – писал, например, Л.Витгенштейн. – И при том так, что по внешней форме этой одежды нельзя заключить о форме переодетой мысли, ибо внешняя форма одежды образуется совсем не для того, чтобы обнаруживать форму тела. Молчаливые соглашения для понимания

² О герменевтическом истолковании понятия понимания см.: *Гайденко П.П.* Философская герменевтика и ее проблематика // *Природа философского знания.* Ч.1. М., 1975; *Рузавин Г.И.* Герменевтика и проблемы интерпретации, понимания и объяснения // *Понимание и объяснение.* М., 1983.



разговорного языка чрезмерно усложнены»³. В лучшем случае человек лишь отчасти способен выразить в слове свои мысли и переживания.

Осознание этого помогает нам отделить человека от его творения. В процессе понимания отнюдь не происходит непосредственного соприкосновения двух душ. Внешняя форма выражения мыслей и чувств человека отрывается от своего создателя и начинает существовать самостоятельно, со всем тем – и только тем – что удалось вложить в нее в процессе творчества. Творец и сам может не знать, удалось ли ему и в какой степени реализовать свой замысел. И в процессе понимания мы имеем дело с языком, а не с душой человека, использующего язык.

Как же мы понимаем языковой текст? Сразу же бросается в глаза, что разные люди одно и то же понимают по-разному. Если взять, к примеру, художественное произведение, то едва ли найдутся хотя бы два человека, которые понимают его совершенно одинаково. Особенно ярко это проявляется в понимании драматургических произведений. В театре постоянно говорят о том или ином «прочтении» пьесы, о той или иной «интерпретации» роли актером и т.п., в сущности – о разных пониманиях текста пьесы. Вот, скажем, пьесы Шекспира – изучены до последней запятой, сотни постановок во всех странах мира, необозримое число литературоведческих работ. Казалось бы, за сотни лет должно было выработаться некое единое понимание. Но нет! В тбилисском театре им. Ш. Руставели актер Хорава делает из Отелло воина и философа, борца со злом. В его исполнении Отелло действительно не ревнив, как заметил Пушкин, а лишь доверчив. Поверив Яго, он судит и выносит приговор: лицемерие, ложь, предательство должны быть наказаны, поэтому Дездемона должна умереть. Отелло в такой интерпретации – жертва собственной чистоты и благородства.

Отелло Лоуренса Оливье в лондонском театре «Олд-Вик» – более простая и цельная натура. Любовь к Дездемоне в сущности исчерпывает всю его духовную жизнь, поэтому когда эта любовь оказывается подорванной, его дух помрачается и душа пропитывается ненавистью. У Оливье Отелло не столько доверчив, сколько именно ревнив. И ревность его становится злом, убивающим Дездемону. В такой интерпретации Отелло – сам носитель зла, он не только жертва Яго, но и палач Дездемоны. Вот два почти противоположных понимания одного образа, одного текста: Отелло – мужественный судья и борец со злом и Отелло – ослепший от ревности палач, носитель зла. Можно сказать даже больше: возможность по-разному понимать один текст, возможность наполнить старый текст, известные образы новым, более современным и актуальным содержанием – это основа театрального искусства. Если бы текст допускал только одно понимание, театр был бы не более чем ремеслом.

Итак, в процессе понимания мы интерпретируем текст, который пытаемся понять. В герменевтике под интерпретацией часто имеют в виду открытие и реконструкцию мыслей и чувств автора. Но существует и другое истолкование интерпретации. В логике интерпретацией называют приписывание значе-

³ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 4.002.



ния исходным символам формального исчисления, благодаря чему все выражения этого исчисления приобретают смысл и игра с символами превращается в язык, описывающий некоторую область объектов. Возьмем, например, выражение « $A \rightarrow B$ ». О чем оно говорит? До тех пор пока мы не дали интерпретацию, оно лишено содержательного смысла, это просто три символа, отличающиеся друг от друга графически и записанные слева направо. Интерпретируем наши символы: пусть A и B будут обозначать какие-то события, а « \rightarrow » – следование событий во времени. Тогда наше выражение станет предложением, которое можно оценивать как истинное или ложное: «Событие A произошло раньше, чем событие B ». Можно интерпретировать « \rightarrow » как отношение причинной связи. В такой интерпретации наше выражение будет означать: «Событие A причинно влечет событие B ».

Здесь важно следующее: если речь идет об интерпретации, то подразумевается, что мы имеем дело с неинтерпретированным, т.е. лишенным смысла материалом. Приняв, что понимание представляет собой интерпретацию, а интерпретация наделяет смыслом лишенный его материал, мы получим вывод о том, что *понимание есть придание, приписывание смысла тому, что мы пытаемся понять*.

В разговорном языке слово «понять» имеет два разных смысловых оттенка: «понять» иногда означает «усвоить смысл», «постигнуть содержание», но это слово употребляется еще и в значении «осмыслить», «истолковать», «интерпретировать», «придать смысл». Герменевтика, кажется, не различает этих оттенков и ориентируется в основном на первое употребление. Но с точки зрения логической семантики второе истолкование кажется предпочтительным.

Понимание как интерпретация, т.е. придание смысла понимаемому тексту, осуществляется, по-видимому, обычным гипотетико-дедуктивным способом. Материал, как правило, допускает множество интерпретаций, мы выбираем одну из них или изобретаем новую. Пытаясь, например, перевести фразу с иностранного языка на русский, мы начинаем с установления значений слов, из которых она состоит. В словаре обычно дается несколько значений. Если у нас нет никакого предварительного представления о смысле фразы, мы выбираем любое из них, а затем смотрим, как выбранное значение согласуется со значениями других слов – получается ли осмысленная фраза на русском языке? Опираясь на постепенно складывающийся смысл всей фразы, мы уточняем значения отдельных слов и благодаря этому уточняем смысл всей фразы. Это и есть известный «герменевтический круг»: чтобы понять целое, мы должны понять элементы, но понимание отдельных элементов определяется пониманием целого. То же самое можно описать иначе: мы выдвигаем гипотезу о том, какое значение следует приписать некоторому слову; затем проверяем эту гипотезу, рассматривая остальные слова, корректируем ее, если первоначально избранное значение не вполне согласуется со смыслом всей фразы, и останавливаемся, достигнув соответствия значений отдельных слов и фразы в целом. Точно так же действует и актер: он начинает с некоторой интерпретации образа, а затем проверяет, согласуется ли эта интерпретация со всем текстом пьесы и с интерпретациями других ее персонажей. В процессе



этих проверок он корректирует и уточняет свою первоначальную интерпретацию.

Здесь напрашивается вопрос: не можем ли мы ошибиться при выборе интерпретации? Можно ли вообще говорить о «правильной» или «неправильной» интерпретации? Допустим, у нас есть некоторый текст. Автор текста придал ему определенную интерпретацию. Не обязаны ли мы потребовать, чтобы интерпретация текста другими людьми совпадала с интерпретацией автора и только в этом случае говорить о «правильном» понимании? Небольшое размышление показывает, что такое требование неприемлемо. Единственное, чего мы можем требовать, – это чтобы наша интерпретация согласовалась со всеми данными, т.е. смысл, приписываемый нами отдельным словам, должен соответствовать содержанию текста в целом, а интерпретация текста находилась в согласии с другими текстами того же автора, с его биографическими данными, с событиями общественной и культурной жизни его эпохи. Интерпретация автора является одной из возможных, и если нам удалось дать интерпретацию, соответствующую всем имеющимся данным, то она ничуть не менее правомерна, чем авторская. На его возражения против нашей интерпретации мы можем ответить, что он сам как следует не понимает того, что написал. Кто сталкивался с критиками и редакторами, тот знает, что такое случается довольно часто.

Индивидуальная основа понимания

Смыслы, которые индивид приписывает языковым выражениям, он черпает из своего внутреннего мира – мира индивидуального сознания. Этот мир формируется в процессе чувственно-практического знакомства с окружающими предметами и явлениями, освоения языка, культуры и включает в себя чувственные и абстрактные образы, связи между ними, знания, верования индивида, его идеалы и ценности. В этот мир наряду с образами реальных и чувственно воспринимаемых вещей входят представления об абстрактных объектах. Они соседствуют с образами, созданными воображением художников и поэтов, причем зачастую более яркими и полнокровными, чем образы реальных людей и предметов. В нем звучит вся музыка, слышанная и любимая нами. И все образы этого мира теснятся вокруг единого центра, дающего им жизнь, – индивидуального Я, которое связано с каждым элементом определенным оценочным отношением. Одни образы дороги, приятны нам, другие отвратительны, третьи оставляют равнодушными. Направленный луч сознания высвечивает отдельные фрагменты этого мира, оставляя в тени все остальное. Внутренний мир подвижен как пламя: каждое новое воздействие извне, новое впечатление, мысль заставляют его дрожать и колебаться. И весь он – насыщенный звуками, играющий красками, светлый и печальный, необозримый и изменчивый как море – сверкает и переливается под солнцем нашего Я!

Назовем этот мир индивидуального сознания «индивидуальным смысловым контекстом». Этот контекст представляет собой систему взаимосвязанных смысловых единиц, содержание которых определено их местом в контек-



сте, т.е. их связями с другими единицами и отношением к индивидуальному Я. Встречая языковое выражение, индивид включает его в свой смысловой контекст, ассоциируя с ним определенную смысловую единицу и придавая ему таким образом определенную интерпретацию.

Здесь, правда, перед нами встает проблема, которую вполне осознавал Г. Риккерт. Если каждый индивид обладает своим собственным смысловым контекстом и контексты разных индивидов различны, если интерпретация и смысл всех языковых выражений определяются индивидуальным контекстом, то разные индивиды будут одним и тем же словам и предложениям придавать разные содержания. Мы видели, что это действительно имеет место. Но как же тогда возможна коммуникация? Как согласовать этот плюрализм интерпретаций с тем очевидным фактом, что люди в общем как-то понимают друг друга, часто могут договориться между собой, действуя совместно?

Решение этой проблемы следует искать в анализе природы индивидуального смыслового контекста. Этот контекст, или духовный мир личности, представляет собой картину окружающего мира, создаваемого в значительной мере в результате работы органов чувств. Строение органов чувств у всех людей одинаково, поэтому индивидуальные контексты разных людей должны быть сходны между собой, как сходна их физиологическая организация.

Еще более важно то, что все мы – члены одного общества, дети одной культуры. Овладевая в детстве языком, мы учимся наделять слова и предложения приблизительно одинаковым смыслом – тем, которым их принято наделять в данное время и в данном обществе. Повседневная практика, дающая нам обыденное, житейское знание вещей и явлений, в значительной степени у людей одинакова. Мы учимся по одним учебникам и усваиваем то, что открыли нам Евклид и Лобачевский, Коперник и Эйнштейн, Дарвин и Менделеев. Наша повседневная жизнь и повседневный труд замкнуты в одни и те же формы, мы ездим в автомобилях, отличающихся только номерными знаками, стоим в одних и тех же очередях, живем в типовых домах и квартирах. Общество диктует нам определенные правила поведения в тех или иных типичных ситуациях, внушает господствующие в данное время идеалы и нормы, навязывает одинаковые цели и стремления. В силу всего этого духовная жизнь отдельных индивидов и их смысловые контексты отличаются весьма незначительно. Искры оригинальности, изредка вспыхивающие в людях, не могут серьезно помешать общению.

Тем не менее некоторые различия в индивидуальных контекстах все-таки есть и их следует учитывать, говоря о понимании. Хотя личный жизненный опыт у людей во многом одинаков, но у каждого – он имеет свои неповторимые особенности. Общественная культура для всех одна, но усваиваем мы ее по-разному и черпаем из разных источников: один оказывается эрудитом в области электроники, душу другого переполняют стихи, один стремится сколотить капитал, другой изучает иностранные языки... Различия в воспитании, образовании, повседневной практике отдельных людей запечатлеваются в их индивидуальных контекстах. Сюда же добавляются различия в жизненных целях и в отношении к внешнему окружению. Таким образом, смысловые еди-



ницы индивидуального контекста хотя и образуются в результате усвоения индивидом культуры общества, не будут вполне тождественны у разных индивидов, так как включают в себя субъективный опыт, субъективное отношение к вещам и их оценку, – то, что А.Н. Леонтьев обозначал понятием личного смысла: «Общественно выработанные значения начинают жить в сознании индивида как бы двойной жизнью... Вот это-то обстоятельство и ставит психологию перед необходимостью различать сознаваемое объективное значение и его значение для субъекта. Чтобы избежать удвоения терминов, я предпочитаю говорить в последнем смысле о *личностном смысле*»⁴.

Значение, смысл, понимание

Оставим пока в стороне личностный смысл и обратимся к тому, что Леонтьев называет «общественно выработанными значениями». Логическая семантика не обсуждает вопроса о том, как возникают эти общественно выработанные значения, и опирается на допущение о том, что слова и предложения имеют значение сами по себе и понять их – значит открыть это значение. В сущности при этом понимание сводится к знанию: понять некоторое языковое выражение значит узнать, каково его значение. Ясно, что истолкование понимания будет зависеть от того, как истолковывается значение языковых выражений.

Начнем с той теории значения, восходящей к Фреге, которая сводит значение языковых выражений к *предметному* значению, иначе говоря, к референту. Слова и предложения рассматриваются как обозначения. Слова и словосочетания оказываются именами единичных предметов, их множеств, свойств и отношений.

Единичные имена «Петя», «Париж», «Монблан» и т.п. обозначают конкретные предметы – некоего молодого человека, столицу Франции, высочайшую горную вершину Европы. Понять такое имя значит узнать, какой именно предмет оно обозначает. Общие термины «человек», «город», «гора» обозначают некоторое множество предметов – множество людей, городов, гор. Понять такой термин значит узнать, какое множество он обозначает. То же относится к терминам, обозначающим свойства и отношения.

Предложение в данной теории также рассматривается как некое обозначение. Что же оно обозначает? Фреге полагал, что предложения обозначают всего лишь два особых предмета – истину или ложь. Тогда понять предложение значит узнать, истинно оно или ложно. Такой вывод кажется парадоксальным. Допустим, кто-то произносит: «Der Schnee ist weiss» и добавляет при этом, что данное предложение истинно, т.е. что оно обозначает истину. Сочтете ли вы, что этого достаточно для понимания? Едва ли. Мы вынуждены признать, что предложение обозначает не истину или ложь, а некоторую ситуацию, положение дел, и понять предложение значит узнать, какое положение дел оно обозначает. Если мне скажут, что приведенное выше предложение обозначает ту

⁴ Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 145.



же ситуацию, что и русское предложение «Снег бел», тогда я могу признать, что понял это предложение.

Можно было бы продолжать, но, по-видимому, и так уже ясно. Если язык в целом рассматривается как обозначение реальности, а его отдельные элементы – слова и предложения – как обозначения предметов, множеств предметов и ситуаций, то проблема понимания языковых выражений решается просто: понять языковое выражение значит узнать, что оно обозначает, к каким объектам его можно относить. Эта точка зрения привлекает своей простотой и кажущейся ясностью, однако она опирается на весьма сомнительное допущение. Здесь неявно предполагается, что независимо от познающего субъекта и языка сами по себе существуют предметы и ситуации, причем эти предметы и ситуации воспринимаются всеми людьми одинаково. Иначе говоря, если люди разных культур, говорящие на разных языках, смотрят на что-то и произносят кто «sun», кто «Sonne», кто «солнце», то все они разными словами обозначают один и тот же предмет. Слова – лишь бирки, которые разные народы прикрепляют к тождественным для всех предметам. По-видимому, это предположение чрезвычайно сомнительно.

Сомнения возрастают, если мы обратим внимание на то, что большая часть наших слов-существительных обозначает идеальные, абстрактные, воображаемые объекты, которых в реальности не существует, на которые нельзя указать пальцем. Какие, например, предметы обозначают такие слова, как «совесть», «доброта», «красота» или «материальная точка», «число 5», «Отелло»? Таких предметов, которые мог бы чувственно воспринять каждый человек, к которым он мог бы отнести эти слова, нет в реальности. Но тогда что значит понимать такие выражения? Ведь уже нельзя сказать, что понять их значит узнать, какие объекты они обозначают. Объектов-то нет! Можно ли сказать, что мы не понимаем таких слов? Вообще говоря, можно, но тогда придется признать, что мы не понимаем большей части нашего языка, ибо большая часть его выражений и предложений говорит о несуществующих и абстрактных объектах. Даже эту трудность можно было бы обойти, но мы сейчас не будем на этом останавливаться и примем допущение, что люди все-таки понимают выражения, относящиеся к несуществующим объектам.

Тогда придется отказаться от предположения о том, что понять некоторое выражение значит узнать, какой объект оно обозначает. Тогда понимание нужно истолковать как-то иначе. Языковые выражения иногда используются для обозначения каких-то объектов, однако обозначающая функция языка является отнюдь не основной, не главной. Гораздо важнее, что язык служит для накопления, хранения и передачи информации, и когда мы обмениваемся словами, мы хотим не столько указать на какие-то обозначаемые ими объекты, сколько передать некую информацию. Поэтому понять выражение значит постигнуть (узнать, открыть, усвоить) эту информацию. Будем считать, что информация, носителем которой является языковое выражение, воплощена в его смысле. Что он собой представляет?

Возьмем, например, предложение: «Нити в лампах накаливания изготовляют из вольфрама». Вам непонятно слово «вольфрам», вы просите объяс-



нить, что оно означает. Много ли вы поймете, если вам покажут кусок тяжелого светло-серого металла? Кое-что вы, конечно, поймете: это слово обозначает какой-то тяжелый металл. Однако смысл этого слова включает в себя не только указание на какой-то внешний объект, он содержит еще и многое другое – информацию, наши знания о вольфраме: химический элемент VI группы Периодической системы Менделеева, атомный номер 74, светло-серый, очень тяжелый металл, самый тугоплавкий из металлов, температура плавления 3410 °С, входит в состав жаропрочных сверхтвердых сталей и т.д. Это раскрытие смысла достаточно простого слова ясно показывает, что указание на обозначаемый объект является лишь малой частью смысла и понять слово значит не только узнать, к какому предмету оно относится, но и какое место занимает этот предмет в нашей культуре.

Попробуем представить смысл слова в виде набора некоторых характеристик обозначаемого им объекта. Скажем, чувственно воспринимаемые свойства обозначим буквами А1, А2, ...; научные знания – буквами В1, В2, ... Тогда смысл нашего вольфрама будет выглядеть следующим образом: А1 (металл), А2 (тяжелый), А3 (светло-серый); В1 (химический элемент), В2 (входящий в VI группу Периодической системы), В3 (атомный номер 74), В4 (самый тугоплавкий из металлов). В целом это будет выглядеть как набор предикатов, приписываемых некоторому объекту: (А1, А2, А3; В1, В2, В3, В4) вольфрам. Таким образом, понять слово «вольфрам» значит узнать, какой набор характеристик входит в его смысл.

К сожалению, это еще не все. Каждое слово естественного языка (да и научные термины) входит в определенное семантическое поле, т.е. в некоторое множество связанных с ним разнообразными смысловыми связями слов, и эти связи внутри семантического поля также включаются в смысл слова. Возьмем, например, слово «юноша». В смысл этого слова входят какие-то внешние характеристики, по которым мы выделяем юношей среди других людей. В этот смысл входят также научные данные о юношеском организме. Но это слово входит в семантическое поле, состоящее из таких слов, как «мальчик», «взрослый человек», «пожилой человек», «старик», «девушка» и т.п. Связи с этими словами, указывающими место юноши в возрастной и половой классификации людей, также включаются в смысл слова «юноша». Обозначим эти элементы смысла буквами В1, В2, В3, ...

По-видимому, в языке как некоторой системе, воплощающей знания и культуру общества, смысл слов в основном исчерпывается элементами этих трех типов – чувственно воспринимаемыми особенностями, научными знаниями и семантическими связями с другими словами. Это как раз то, что Лентьев называл общественно выработанными значениями – представленными в словарях и энциклопедиях. Однако каждый человек, употребляющий язык, добавляет к его общественно выработанному смыслу еще свой, «личностный» смысл. Взрослый человек вкладывает в слово «юноша» что-то свое, девушка придает этому слову свой смысл и т.д. Личностные элементы смысла обозначим буквами Г1, Г2, ...



Наконец, слово произносится в определенной ситуации, или, как иногда говорят, в определенном контексте, и эта ситуация также вносит какие-то дополнительные элементы в его смысл или изменяет значимость элементов смысла. Например, в одной ситуации мы говорим о чае как о кустарнике, в другом – как о напитке. В обоих случаях смысл слова «чай» будет в основном сохраняться, но главными в этом смысле в одном случае будут одни характеристики, в другом случае – иные. А когда кто-то произносит: «Ну, что вы меня только чаем-то поите!», то он вносит в смысл этого слова какие-то дополнительные черты. Обозначим контекстуальные смысловые характеристики буквами Д1, Д2, ...

В итоге мы приходим к осознанию того, что смысл слова имеет весьма сложную структуру и состоит из элементов по крайней мере пяти разных типов. Тогда понять некоторое слово означает связать с ним смысл, состоящий из этого сложного набора элементов. В данном случае важно обратить внимание на то, что эти наборы разделяются на две группы: интерсубъективные (общекультурные, объективные) характеристики, выражающие тот смысл, который связывает с данным словом общество, и субъективные (контекстуальные, ситуативные) характеристики – тот личностный смысл, который вкладывает в данное слово употребляющий его индивид. Интерсубъективное значение слова вырабатывается на протяжении веков в процессе исторического развития общества. Оно предстает перед отдельным индивидом как некая данность, которую он должен усвоить в процессе овладения языком. Значение не принадлежит самим по себе знакам или звукам: сколько бы вы ни вглядывались в набор букв «стол» или ни вслушивались в соответствующие звуки, вы не откроете, что эти знаки или звуки говорят о предмете домашнего обихода. Общество связало с этим набором знаков определенный смысл. Можно сказать, общество придало определенную интерпретацию этому самому по себе бессмысленному набору. О том, как это происходило, говорят нам языкознание и история.

Таким образом, понимание всегда есть интерпретация – интерпретатором выступает либо общество в целом (для интерсубъективной части смысла), либо отдельный индивид (для личностной части смысла).

Взаимопонимание

До сих пор мы говорили о понимании языковых выражений, текстов. Но проблема понимания включает в себя еще один важный вопрос: как мы понимаем друг друга в процессе общения (коммуникации с помощью языка, если угодно) и способны ли мы понять другого человека? Представленная выше схема смысла языковых выражений до некоторой степени позволяет ответить на этот вопрос.

Взаимопонимание, т.е. приписывание одного и того же смысла слову двумя говорящими, возможно на уровне интерсубъективных (общекультурных) элементов смысла. Органы чувств разных людей функционируют более или менее одинаково, поэтому чувственные образы, ассоциируемые двумя людьми с одним и тем же объектом, будут приблизительно одинаковы: небо для всех голубое, солнце – теплое, а вода утоляет жажду. Все мы – дети одной

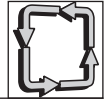


культуры, живем приблизительно в одинаковых условиях, учимся по одним учебникам, усваиваем знания своей эпохи. Кажется, что здесь не должно быть особых трудностей со взаимопониманием: мы приписываем словам тот смысл, который почерпнули из одного источника. Однако уже здесь начинаются осложнения. Оставим в стороне общение людей, принадлежащих к разным культурам, – ясно, что здесь дело не будет обстоять так просто. Но даже если мы учились по одним учебникам, то это не означает, что мы почерпнули из них одно и то же. Вот два человека употребили в разговоре слово «вольфрам», но один из них вкладывает в него только тот смысл, что это – металл, из которого изготавливают нити накаливания, а другой изучал в вузе химию и металловедение и знает о вольфраме гораздо больше, следовательно, приписывает этому слову гораздо более богатый смысл. Можно не изобретать примеров, а просто посмотреть, в каком смысле употребляют слово «философия» сами философы и представители естественных наук. То же самое справедливо и для той части смысла слов, которая задана семантическими полями: чем лучше владеет языком человек, тем богаче смысл, который он вкладывает в слово.

Отсюда следует, что на уровне интерсубъективных элементов смысла взаимопонимание возможно, хотя часто оно оказывается чрезвычайно поверхностным. Так понимают друг друга совершенно посторонние люди, случайные попутчики на дороге жизни. Так понимает вас продавец магазина или работник ЖКХ, к которому вы пришли за справкой. Так понимает вас любой носитель языка, на котором происходит общение. Ясно, что чем ближе люди по своим профессиональным интересам, образованию, образу жизни и т.п., тем выше между ними уровень взаимопонимания.

Что же касается личностных элементов смысла, то, по-видимому, мы вынуждены сделать вывод о том, что на этом уровне взаимопонимание вообще невозможно. Посмотрите, сколь разный смысл вкладывают люди в такие слова, как «Россия», «Советский Союз», «Октябрьская революция»! И даже простые собственные имена типа «Париж» или «Барак Обама» они наделяют далеко расходящимися смыслами.

Итак, изложенные выше соображения о понимании как об интерпретации и о сложной структуре смысла языковых выражений приводят нас к выводу о том, что люди понимают друг друга поверхностно, чаще всего они довольствуются иллюзией взаимопонимания, а полное понимание между людьми вообще невозможно.



НАУКА РЕФОРМИРОВАНИЯ И РЕФОРМА РАН¹

Марк Владимирович Рац – профессор, доктор геолого-минералогических наук.

Сергей Иванович Котельников – кандидат технических наук, эксперт компании «Agency of systems designing». E-mail: kketl@list.ru

This Panel Discussion was inspired by the criticism of the reform of the Russian Academy of Sciences in *Nezavisimaja Gazeta* (issue from 11.09.2013). The materials from that discussion are partly used below.

The overall discussion is devoted to the intellectual guiding of reform processes on the material of the reform of the Russian Academy of Sciences that is in progress. The discussion touches upon the current state of the Academy as well as scientific thought in Russia in general. The leading text is by Prof. M.Ratz (Non-Profit Research Foundation "The Schedrovitsky Institute for Development") and Prof. S.Kotel'nikov (Expert of Company limited by guarantee "Agency of systems designing"). Participants of the discussion: Prof. V.Fedotova (IPh RAS), Dr. V.Kolpakov (IPh RAS), Prof. I.Kasavin (IPh RAS), Prof. V.Gorokhov (IPh RAS), Dr. N.Kasavina (IPh RAS), Prof. V.Bazhanov (Ulyanovsk State U).

Данная дискуссия инициирована обсуждением реформы РАН в «Независимой газете» (11.09.2013). Его материалы частично используются в журнальной публикации.

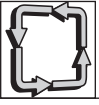
В статье речь пойдет об интеллектуальном обеспечении реформирования на примере текущих событий с Российской академией наук. Мы хотим эксплицировать связи эпопеи с реформой РАН (еще не завершившейся к моменту написания этих строк) и состоянием научной мысли в нашей стране.

Мы видим как минимум два типа таких связей. В наиболее общем плане замысел перестройки РАН и способ его реализации представляют собой типичный пример господствующей в России методологии *социальной преобразовательной деятельности*, «социальной инженерии» вообще. Но не менее важен специальный план, связанный с нашими знаниями об *объекте преобразований*, в данном случае вроде бы о системе РАН (в отличие, скажем, от пенсионной системы или «облика вооруженных сил»), а фактически о сфере науки. В обоих случаях встают вопросы наличия и релевантности соответствующих знаний, их востребованности реформаторами, состояния порождающих их областей мысли, возможностях выработки новых знаний *ad hoc* и т.п.

Поскольку общественные дискуссии идут (и скорее всего продолжатся) почти исключительно по второй линии, сделаем акцент на первой, не менее важной в данном случае, а вообще-то выходящей далеко за его рамки.

В то время когда пишутся эти строки, прошло уже три месяца с опубликования законопроекта о реформе РАН. По этому поводу высказано множество

¹ Подготовлено при поддержке РГНФ, проект № 11-03-00425/13.



разных, в том числе взаимоисключающих мнений. И хотя никто не возражает против необходимости реформы, нам кажется, что ясности в этом деле не прибавилось. Что, разумеется, не мешает президенту и правительству принять решение, а Думе – соответствующий закон.

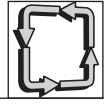
Хотелось бы ошибиться, но мы думаем, что по прошествии некоторого времени придется в очередной раз вспомнить бессмертное *mot* Черномырдина: «Хотели как лучше...». Чтобы понять основания нашего пессимизма, нужно в отличие от классических русских вопросов «кто виноват?» и «что делать?» обратиться к другой комбинации. Вместе с вопросом «что делать?» зададимся вопросом «как?», неслучайно выпавшим из нашего общественно-политического дискурса. Более того, мы уверены, что именно исторически сложившееся в России пренебрежение вторым вопросом как раз и стоит за концовкой упомянутой фразы: «...а получилось как всегда».

Чтобы забить гвоздь до шляпки, добавим еще, что первый вопрос конституирует профессию политика: это он, политик, говорит, строить ли нам коммунизм или переходить к рынку, быть миру или войне, получать губернаторов по назначению сверху или выбирать их на свой страх и риск снизу. А вокруг вопроса «как?» в последние 100 лет сложилась и автономизировалась родственная, но все же другая профессия: организация и управление. И мы согласны с одним из ее отцов-основателей Питером Друкером²: «Возникновение менеджмента... стало центральным событием в истории общества XX столетия». Или, как сказал Б.З. Мильнер, XX век – это век управления, а не космоса и не атомной энергии.

Складывалась эта профессия вообще-то на Западе, а мы ее в советские времена в упор не видели, или, может быть, точнее, видели очень по-своему: «Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся, большевики» – учил наших отцов и дедов доньне почитаемый многими эффективный менеджер. Большевики давно надорвались за этим непосильным занятием и сгнули, но сталинская наука в отечественной практике их явно пережила. По этому поводу давно пора было бы заметить, что ее смысл ровно противоположен смыслу управления, по крайней мере, в нашей трактовке. Мало ли что надумают политики: если реализовывать их замыслы придется управленцам, то брать все крепости подряд они точно не будут – себе дороже. Хотя такая стратегия органически чужда советско-российской практике, заметим, что иногда можно и в обход пойти, отступить или вовсе изменить направление удара. Выработать способ действия в каждом случае и есть задача управления.

Только в сочетании с управлением политика превращается в искусство возможного. Политику главное – добиться стратегической цели (без нее нет и политики как таковой), а уж какими средствами – это управленцу виднее. Естественно, вокруг такой сложной, многосоставной и – можно, наверное, специально не объяснять – важнейшей в нашей жизни практики формируются обслуживающие ее политико-управленческие науки. Между прочим, к тому времени, когда большевики подустали брать на своем пути все крепости подряд, в

² Друкер П. Практика менеджмента. М., 2000.



СССР началось движение мысли в этом направлении и подросли свои версии осмысления оргуправленческой практики. Одну из них – школу Московского методологического кружка – мы в меру своих способностей и представляем.

Сразу можно сказать, что начинать реформу с законопроекта (не говоря уж о законе) значит ставить телегу впереди лошади. И второе: разрабатывать законопроект без участия представителей заинтересованных позиций – ничем не лучше. У нас теперь даже закон о полиции обсуждается всем миром (другой вопрос, как), а Академию решили перестроить, не спрашивая ученых. Точно, как в сталинские времена (кое-кто тут и раскулачивание вспоминает, хотя, на наш взгляд, это только одна сторона дела). Если же следовать более современным способам, то за двумя нашими тезисами выстраивается целая система работ, которые следовало бы выполнить, приступая к реформе и до предложения любых законопроектов.

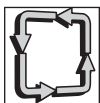
Еще лет 20 назад видный экономист Я.Ш. Паппэ³ говорил, что надо различать законы-фиксации и законы-проекты. Первые призваны закрепить сложившуюся практику, вторые – изменить и обновить ее. Понятно, что способы подготовки и проработки законов этих двух типов тоже совершенно различны: первые требуют обобщения опыта, рефлексии, тщательного юридического анализа. Непросто, но неизмеримо проще, чем во втором случае, когда речь идет по существу о реформировании той или иной сферы и/или системы деятельности, как в случае РАН. Здесь центр тяжести переносится с законодательной на организационно-управленческую работу, а диалектика вопросов *что* и *как* становится особенно наглядной.

Как же действовать во втором случае? Здесь есть одна прописная истина, которую никак не может (или не хочет?) освоить и усвоить наше начальство. Она состоит в том, что задача реформирования любых систем деятельности, тем более таких масштабных и ответственных, как РАН, создает ситуации много более сложные, чем проектирование самых ответственных инженерных сооружений или космических полетов. Никому не приходит в голову подготовить законопроект о полете на Марс, все понимают, что это дело требует основательной подготовки и проработки. Но вот издать с бухты-бараты законопроект о реформе РАН – это у нас в порядке вещей. Попробуем хотя бы обозначить тот круг работ, которые остаются при этом не сделанными, обеспечивая тем самым бессмертие черномырдинскому mot.

Для начала хорошо было бы разобраться в двух вопросах.

Во-первых, понять, в чем суть претензий государства к Академии: ведь эти претензии и задают политическую линию, на заключительном отрезке которой по идее может появиться законопроект. Но при ближайшем рассмотрении эти претензии сами по себе оказываются спорными. Правительство считает затраты на Академию неэффективными, ученые (хотя и они не едины в этом вопросе) возражают... Нам сейчас неважно, кто прав: достаточно того, что у правительства есть претензии, вполне осмысленные и имеющие право на существование.

³ См.: Паппэ Я.Ш. О статусе актов законодательной власти в переходном обществе // Как это делается: финансовые, социальные и информационные технологии : сб. материалов Института коммерческой инженерии. Вып. 3. М., 1994. – <http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=2086/>



Их достаточно, чтобы породить замысел реформы. Но ведь замысел потому так и называется, что это еще не мысль, а намерение, прикидка, наметка возможных действий, порожденная неудовлетворенностью сложившимся положением дел.

Даже само принятие такого политического ориентира, как реформа, уже требует проверки и уточнения исходной позиции. Если современный политик заинтересован в эффективности той системы деятельности, которую он собирается перестраивать, если он хочет свести к минимуму неизбежные потери и непредсказуемые последствия намечаемой реформы, первое, что он сделает в такой ситуации, – вступит в коммуникацию со своими потенциальными оппонентами, начнет разбираться, насколько основательны его претензии, и уточнять их. Если же политик априори уверен в своей правоте и соответственно настроен взять очередную крепость, ему это не нужно, как, впрочем, и все последующее, о чем мы будем говорить. Нужно, напротив, ввязаться в бой, а за ценой мы, как известно, не постоим; в крайнем случае, потом поправим (как сделали, например, с достопамятной монетизацией льгот).

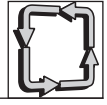
Во-вторых, и это, возможно, даже важнее, возникает вопрос: а по адресу ли направлены претензии и усилия реформаторов? Иначе говоря, правильно ли выбран *объект реформирования*? Но этот вопрос уводит нас ко второму направлению дискуссии, и мы пока его отложим.

Это все про политику, но уточнение политических планов и намерений – только первый шаг в системе «деятельности над деятельностью», как квалифицируется в представляемой нами школе предмет политико-управленческой науки⁴. Собственно, здесь к работе и подключаются оргуправленцы, функции которых могут выполнять те же политики. (Им для этого, правда, пришлось бы научиться менять тип осуществляемой работы, а желающих учиться политиков мы пока не встречали.)

Так или иначе, инициатива переходит к управленцам, специализирующимся на оргпроектировании, и первая их задача – спроектировать такую организацию деятельности, которая позволяла бы решать поставленные политиками задачи. Но задачи эти должны касаться самой деятельности, а не ее организационных форм: второе – не дело политиков. В обсуждаемом законопроекте место такого оргпроекта занимают сомнительные предложения о слиянии трех академий, создании агентства по управлению имуществом Академии и т.п. Каким образом такие новации могут (и могут ли) повысить эффективность работы Академии наук – дело, прямо скажем, темное. Гораздо более реалистичные и перспективные идеи высказал по ходу обсуждения член-корреспондент РАН М.А. Ильгамов⁵, предложивший организовать и нормировать совместную работу РАН и университетов. Однако при всех условиях организационные предложения должны быть согласованы с теми, кого

⁴ См.: *Щедровицкий Г.П.* Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология. М., 2000; *Он же.* Методология и философия оргуправленческой деятельности. М., 2003.

⁵ См.: *Ильгамов М.А.* Уничтожение РАН – это выбор в пользу сырьевой экономики. Взгляд из провинции на реформу Академии наук // НГ-Наука. 2013. 12 сент. – http://www.ng.ru/politics/2013-09-12/3_kartblansh.html.



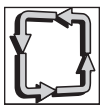
они касаются, а не навязаны им. Пресловутая вертикаль власти понадобится позже.

Совершенно другая работа нужна для того, чтобы наметить пути движения реформируемой системы к новой форме существования, предполагаемой оргпроектом. Собственно говоря, это и есть программа реформирования, а «пути движения системы» здесь не более чем метафора. Потому что, во-первых, как правило, перестраивать в такой ситуации надо не только непосредственно реформируемую, но и объемлющие ее системы, в том числе системы выработки научной политики и употребления научных знаний. Во-вторых, речь идет не о движении системы как целого, а о дифференцированных подвижках и переменах в разных ее элементах, которые будут разнонаправленными, разноскоростными и т.п. В-третьих, оргпроект неизбежно будет меняться по мере подключения к разработке программы тех, кому придется ее выполнять. Надо ли говорить, что программу без их активнейшего участия просто невозможно ни разработать, ни реализовать?

Заключительные этапы всей этой непростой работы включают нормоконтроль – проверку подготовленных рекомендаций на соответствие культурным нормам и действующему законодательству и, наконец, исполнение проработанных и апробированных таким образом решений. Вот теперь в связи с осуществлением нормоконтроля может выявиться и необходимость в нормотворчестве – разработке и принятии соответствующего закона. Вслед за чем – и ни минутой раньше – может вступить в работу вертикаль власти. Ее задача в противоположность политике и управлению – обеспечить стабильное функционирование реформируемой системы и ее «окрестностей» в процессе перемен и неукоснительное исполнение действующего законодательства.

Важное дополнение к сказанному дает ход обсуждения законопроекта. Странное дело: почему-то в идущих дискуссиях первую скрипку играют физики, математики и даже океанологи с биологами, но не слышно голосов ученых, специализирующихся на упоминавшихся уже политико-управленческих науках, да и просто философии и методологии науки. Разумеется, голоса естественников должны звучать и быть услышанными, но нам кажется, что отмеченный феномен – более показательный и важный симптом неопорядка в сфере науки, чем наличие отраслевых академий или неоптимальное управление имуществом РАН. В данном случае требуются ведь не столько научно-исследовательские, сколько проектные компетенции, в большей мере присущие социально-гуманитарной мысли. Но об этом далее.

Мы не столь наивны, чтобы ждать реакции на эту статью со стороны властей предрержащих, но что думают ученые коллеги – философы, методологи, обществоведы, гуманитарии – было бы интересно знать. Здесь возникает множество интересных исследовательских тем. Ну, хоть такая: что же происходит у нас «как всегда» и какие последствия возникают, когда политические решения не прорабатываются и не реализуются должным образом (как описано выше), а исполняются посредством «поручений» и «ручного управления» в рамках вертикали власти. Когда указам придают форму законов, вместо того чтобы заменить их законами, – сказали бы мы, вспоминая В.О. Ключевского.



Обратимся наконец к вопросу об объекте реформирования и содержании предполагаемой реформы. Попробуем расширить обсуждаемый круг идей.

Допустим, работа РАН не эффективна. Но как в данном случае измеряется эффективность? Для ученого продуктом его работы являются только и исключительно новые знания. На оценку эффективности в этом смысле направлены известные показатели типа импакт-фактора или индекса Хирша. Но с государственной точки зрения вернее говорить об употреблении новых знаний в хозяйстве страны, причем имея в виду хозяйство в самом широком, почти метафорическом смысле, включая системы государственного правления, образования и культуры. Возможно, ученые не так уж заблуждаются, приводя выкладки, согласно которым выход новых знаний на каждый вложенный рубль в РАН едва ли не выше, чем в самых передовых странах.

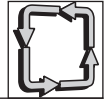
Но если это так и если рассматривать РАН как машину по производству научных знаний, то с государственной точки зрения претензии по части эффективности научных исследований надо предъявлять не столько Академии наук, сколько системам употребления научных знаний. К тому же надо еще обратить внимание на научную политику: может быть, государство ориентирует усилия ученых не на те области, где на самом деле необходимы новые знания? Однако такое расширение рамок делает поле потенциального реформирования практически необозримым, что заставляет настраиваться на длительную работу и глубокое переосмысление тех представлений, которыми мы привыкли руководствоваться. Иными словами, здесь-то и нужны фундаментальные исследования, которыми призвана заниматься РАН, а развернувшуюся в связи с проектом реформы дискуссию следует продолжать и углублять (что и происходит здесь и теперь).

Тем не менее в своих последних тезисах мы уверены, и проблема «внедрения» результатов научных исследований, на протяжении многих десятилетий не теряющая в нашей стране актуальности, подсказывает направление дальнейших размышлений. Заметим: в советские времена многие думали, что все дело в плановом хозяйстве, но теперь выяснилось, что знаменитый «переход к рынку» мало что здесь изменил. Ныне «невосприимчивость» нашего хозяйства к инновациям объясняется пресловутой нефтяной иглой. Но мы считаем, что «сидение на игле» и «невосприимчивость» – последствия одной общей причины: господствующей у нас властной системы правления⁶, удушающей на корню всякую инициативу снизу, всякое предпринимательское начинание, – в противоположность системам, где существует «порядок открытого доступа»⁷. Наша система и демонстрирует свой метод работы в ходе реформирования РАН.

Сказанное, однако, вовсе не означает, что Академии наук не нужна реформа. Оно означает совсем другое: объекты реформирования, как, впрочем, и других преобразований, как правило, не даются нам готовыми: их приходится каждый раз выстраивать заново, начиная со сложного ситуационного анализа. Вот и в данном случае, нацеливаясь на реформу «отдельно взятой» РАН, мы рискуем попасть пальцем в небо. Этому вопросу касался в своем интервью «Ъ» В. Фортов⁸.

⁶ См.: Пивоваров Ю.С. Лекция в МГИМО. 2011. – <http://www.youtube.com/watch?v=4ClonGaKgb0>.

⁷ См.: Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. М., 2011.



Для начала лучше было бы реформировать упомянутые системы: выработки научной, а заодно инновационной политики и употребления научных знаний. И если вспомнить, с чего мы начали, и не забывать при этом вопрос «как?», то окажется, что ответ на него требует вовсе не объединения трех академий или ликвидации региональных отделений РАН, а коренной переориентации научных исследований.

Огрубляя до предела, скажем так: зачем нам, например, нанотехнологии, которые мы скорее всего не сможем внедрить в производство? Не разумнее ли направить усилия именно на разрешение извечной проблемы внедрения? Здесь, на наш взгляд, и зарыта собака, а выполненные еще в прошлом веке разработки ММК⁹ позволяют высказать некоторые предложения, которые мы уже не раз формулировали на протяжении последних 20 лет¹⁰. Дело в том, что интеллектуальное обеспечение инновационной деятельности, оказывающейся при ближайшем рассмотрении альтернативой «внедрению», требует совсем иных знаний и иных порождающих их научных работ (НИР), чем привычные для нас и доминирующие в РАН с советских времен исследования. Если говорить предельно лапидарно, в первую очередь нам нужны исследования не разного рода «объектов», неважно, принадлежащих к первой или второй природе, идеальных или материальных (так называемые НИР-1), а «живого» человеческого мышления и деятельности (НИР-2). Тем более что вторые неизмеримо дешевле первых и для реализации этой идеи нужны не столько деньги, сколько понимание сути дела и политическая воля.

В первом приближении, если оставаться в рамках привычной «классификации наук», речь идет о смене приоритетов и переносе акцента в научной политике с традиционных естественно-научных исследований на исследования социально-гуманитарного плана¹¹. Заметим, что наиболее проницательные ученые, такие, как Дж.Дж. Томсон и К. Леви-Строс, говорили об этом достаточно давно, имея в виду культурно-историческую ситуацию в цивилизованном мире, а отнюдь не текущие дела в России. Эту линию более предметно начал обсуждать в «Независимой газете» И. Касавин¹² (2013).

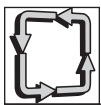
⁸ См.: Создателям законопроекта хочется что-то изменить и доложить. Президент РАН Владимир Фортов о настоящем и будущем российской науки // Коммерсантъ. 2013. 16 сент. – <http://kommersant.ru/doc/2280200>.

⁹ См.: *Щедровицкий Г.П.* Комплексная организация научно-исследовательских работ как социотехническая система // Комплексный подход к научному поиску: проблемы и перспективы. Ч. 2. Свердловск, 1979; *Он же.* Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология. М., 2000; *Он же.* Методология и философия оргуправленческой деятельности. М., 2003.

¹⁰ См.: *Рац М.В.* Инновационная политика: возможные концептуальные основы // Наука. Инновации. Образование. Вып. 11. М., 2012. – <http://www.riep.ru/almanac-science-innovations-education/11000007/>.

¹¹ НИР-2 и социально-гуманитарные науки – не синонимы, но это тема специального разговора.

¹² См.: *Касавин И.Т.* От Гарварда до РАН: почему спутник запустили в СССР, но информационную войну выиграли США // ИГ-Наука. 2013. 12 сент. – www.ng.ru/nauka/2013-09-11/11_info_war.html.



ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТЕПЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ИЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ К. ПОППЕРА¹

Владимир Алексеевич Колпаков – доктор философских наук, старший научный сотрудник сектора социальной эпистемологии Института философии РАН. E-mail: vladkolpak@gmail.com

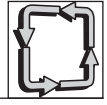
Валентина Гавриловна Федотова – доктор философских наук, профессор, заведующий сектором социальной философии Института философии РАН. E-mail: valentina_fedotova@front.ru

В статье М.В. Раца и С.И. Котельникова «Наука реформирования и реформа РАН», опубликованной в настоящем журнале, утверждается, что обсуждение реформы должно быть сконцентрировано вокруг вопроса «как?», т.е. какими методами следовало бы ее проводить. Авторы вслед за П. Друкером и Б.З. Мильнером считают, что развитие идей и практик управления и менеджмента – основное достижение XX в. Соответственно они приходят к выводу, что «...выработать способ действия в каждом случае и есть задача управления. Только в сочетании с управлением политика превращается в искусство возможного». Реформа РАН проходит в непростое для России время – это переход от полного коллапса плановой, социалистической экономики со всеми ее институтами к построению нового уклада, базирующегося на механизмах рыночной экономики и ограниченного госрегулирования. Нам представляется уместным рассматривать вопрос реформы РАН системно, а не как отдельный «случай с академией».

Основы социальной инженерии К. Поппера. Карл Поппер был, пожалуй, первым европейским философом, обратившим особое внимание на социальные технологии как специальный предмет философско-методологических исследований. Работа Поппера «Открытое общество и его враги», давно ставшая классикой на Западе, была издана в России только в 1992 г., несмотря на то что Поппер работал над ней с 1938 по 1943 г. и опубликовал ее в 1945 г. Джейкоб Броновский характеризует интеллектуальную обстановку в Европе, которая складывалась в 1930-х гг. – времени работы Поппером над этим трудом². Сегодня трудно поверить в то, что описывает Броновский, но, согласно его свидетельству, в континентальной Европе того времени насилие процветало, частные армии вели снайперскую стрельбу на улицах английских горо-

¹ Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 11-03-00425а, и РФФИ, проект № 12-06-00240а.

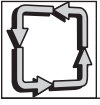
² См.: Броновский Дж. Гуманизм и рост знания // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики; общ. ред. В.Н. Садовского. М., 2000. С. 52–56.



дов и все напыщенные фразы о личной свободе и гуманистических ценностях с каждым днем становились все более нереальными. В этой ситуации, как пишет Броновский, молодое поколение испытывало потребность в философии, которая могла бы прояснить выбор между добром и злом. Но распространенный в это же время позитивизм из-за своей безличности был для него малопривлекателен, более того, для большинства молодежи он представлялся бесчеловечным. Броновский пишет: «Мы хотели, чтобы философы занимались миром живых, и нас шокировало, что мы не могли дождаться ни одного знака от философов науки: ни одного сигнала, что философия и наука могут сказать о человеке больше, чем может сказать о нем один рациональный интеллект»³. В этой ситуации многие обратились к идеям диалектического материализма, тем более что именно эта философия вдохновляла грандиозный социальный эксперимент в России, который для многих левых западных интеллектуалов того времени казался успешным.

Для России 1992 г., год издания книги Поппера, был временем серьезных социальных перемен, и пафос работы Поппера, направленный на критику всех форм недемократического правления и связанного с этим насилия над личностью, совпал у определенной части общества с идеями низвержения СССР как символа общества такого рода. Книга Поппера действительно написана в защиту гуманизма и свободы человека, в ней теоретически обосновано неприятие любых насильственных методов в социальной практике. В ней отстаивается право на *творческое, критическое* мышление и открытость для критики всех сторон политической, экономической и социальной жизни. Вместе с тем основная идея работы Поппера осталась в России незамеченной и невостребованной. Поппер считал, что следует всячески избегать любых *радикальных методов* изменения сложившейся социальной системы, особенно в форме идеи ее радикального переустройства в целом, что допустимы лишь *методы постепенных* социальных преобразований. Радикализм наших реформ никак не уступал место взвешенным принципам демократического переустройства или «социальной инженерии частных решений». Работа Поппера была в значительной мере интеллектуальным вызовом социальным экспериментам в Европе и России; она сохранила это значение и для оценки экспериментов, происходящих у нас после краха коммунизма. Социальным контекстом работы Поппера стали тоталитаризм в Германии и широко представленные недемократические практики государств. Западный мир в период написания его труда находился под мощным идейным воздействием невиданного прежде социального эксперимента, проводимого в Советской России. Западные демократии представляли собой образцы обществ, сложившихся в ходе естественно-исторического процесса, который растянулся на сотни лет. Но XX век явил миру возможность значительных социальных экспериментов по построению «рукотворных» обществ «нового типа» путем применения социальных технологий. Идейной основой этих экспериментов были новые научные подходы, революционные утопии, художественные предвидения и новые направления в

³ Броновский Дж. Указ. соч. С. 55.



искусстве. Исключительно важную роль играли социально-философские концепции, в частности идеи Маркса и исторический материализм.

Свою работу «Открытое общество и его враги» Поппер направил против перехода к «обществам нового типа» путем революций, предпочитая путь социальных экспериментов как *теоретически оправданного метода социальных преобразований*. Он – рационалист и сторонник критических, но не революционных методов. Он – за изменения, более того, за необходимость *постоянных социальных изменений*, но все дело в выборе методов. В своей работе он предложил развернутый анализ «принципов демократического переустройства общества – принципов, которые я называю “социальной инженерией частичных (piecemeal) решений” или, что то же самое, “технологией постепенных социальных преобразований” в противовес “утопической социальной инженерии...”»⁴. Поппер был противником «историцизма», суть которого «состоит в том, чтобы обеспечивать нас долгосрочными историческими предсказаниями. Они (сторонники предсказаний. – *Авт.*) настаивают также на том, что уже открыли законы истории. Множество социально-философских учений, придерживающихся подобных воззрений, я обозначил термином *историцизм*»⁵. Задача теоретических общественных наук, по мнению Поппера, не в том, чтобы предсказывать будущее, относительно далекое по времени состояние общества, а в том, чтобы анализировать *непреднамеренные последствия общественных действий, которые происходят постоянно*. Историцизм же, напротив, наделяет теоретическое знание предсказательной силой в отношении будущих событий-состояний. Поппер первым поднял вопрос о «социальной инженерии» и о «социальных технологиях» на уровень проблемы научного познания и философии морали, связав их решение с проблемой природы научной истины, сущности свободы человека в век торжества науки и научной рациональности.

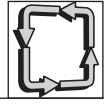
Критика Поппером утопических социальных технологий. Свой развернутый ответ на вопрос о методах переустройства общества Поппер представил не только в работе «Открытое общество и его враги», но и частично в более ранней работе «Нищета историцизма»⁶. Свой метод он противопоставляет «утопическому подходу» или «утопической инженерии», смысл которых, согласно Попперу, состоит в предшествовании общего политического проекта конкретным общественным целям.

В обсуждаемой нами статье важным моментом реформы является «уточнение политических планов и намерений», т.е. целей, в том числе и политических целей, а управление – нахождением способов их осуществления. Поппер же считает утопичным исходить из конечной цели и идеального проекта общества и только после этого начинать «анализ наилучших способов и средств воплощения этого проекта... наметить план практических действий. Все это –

⁴ Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. Чары Платона. М., 1992. С. 30.

⁵ Там же. С. 32.

⁶ Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993.



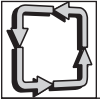
необходимые предварительные условия особой (утопической. – *Авт.*) рациональной политики и особенно социальной инженерии. Вот что в общих чертах представляет собой методологический подход, который я называю утопической инженерией»⁷. Согласно Попперу, утопический подход предполагает наличие своеобразного «чертежа-замысла» или хотя бы «эскиза» идеального общества в целом, некую его общую модель. Откуда может появиться идеальный проект? Сразу возникает предположение, что он может стать результатом разработок и проекций, основанных на научно обоснованных моделях. Но не только наука может дать такой проект. Критика Поппера по большому счету направлена на такие проекты будущего, называемые им «пророчествами», в основе которых лежат достаточно общие воззрения философского или социально-философского плана. Поэтому он подробно останавливается на учении Платона, Маркса и марксистском подходе к объяснению исторических событий. На примере их критики он пытается проложить границу между научностью и ненаучностью в вопросах социальной практики. Усилия Поппера направлены на то, чтобы обосновать методологически конкретные технологии переустройства и усовершенствования обществ, всегда востребованные, но разные во все времена, а в данный момент такие, которые допускают и поддерживают гуманизм и свободу личности. Общество представляется ему подобным социальному организму, форма существования которого есть процесс непрерывной адаптации к внутренним и внешним изменениям. Поэтому Поппер выступает за непрерывное переустройство общественной жизни, но он против идеи осуществления любого варианта «идеального» общества, какой бы смысл ни вкладывался в это понятие – научный, этический или эстетический. Его разум против самой идеи «совершенства», которая может быть определена как цель политического или социального действия.

Тут можно сказать вслед за М.В. Рацем и С.И. Котельниковым, что когда общество имеет идею, цель своего будущего, оно может знать, куда направить свои технологии. И эта цель не обязательно утопическая, если даже считать, что у Маркса она была таковой. Маркс – философ, строивший планы совсем нового общества, а Поппер хотел бы лишь немного улучшить существующее западное общество.

Одна из причин неприятия «утопического подхода» Поппером состоит в том, что для реализации «идеального общества» обычно требуется сильная централизованная власть или авторитарное правление.

Свою идею переустройства общества он называет «постепенной, последовательной или позитивной инженерией». Поппер пишет: «Этот подход мне представляется методологически безупречным. Применяющий его политик может как иметь, так и не иметь перед своим мысленным взором план общества, он может надеяться, а может и нет, что человечество однажды воплотит в жизнь идеальное общество и достигнет на земле счастья и совершенства. Однако он будет осознавать, что если человечество и способно достичь совершенства, то это произойдет еще очень не скоро... Поэтому приверженец по-

⁷ Поппер К. Открытое общество... С. 199–200.



этапной инженерии будет разрабатывать методы поиска наиболее тяжелых, нестерпимых социальных бед, чтобы бороться с ними, а не искать величайшее конечное благо, стремясь воплотить его в жизнь»⁸.

Принципиальное различие между «утопическим подходом» и «методом поэтапной инженерии» состоит в том, как оценивается состояние общества, которое инженерно перестраивается. Метод поэтапной инженерии исходит из предположения, что достигнутое состояние в целом не плохо, но улучшить его всегда желательно, особенно если имеются нестерпимые социальные беды, чтобы бороться с ними. Разве можно оспорить, что люди станут чуть более счастливыми, а государство чуть более привлекательным, если тяжелые и нестерпимые беды окажутся предметом пристального внимания со стороны многих членов общества и постепенно исчезнут после целенаправленных постепенных изменений? Напротив, «утопический подход» исходит из идеи, что по каким-то причинам или в результате исторически сложившихся обстоятельств открывается возможность «искать величайшее конечное благо, стремясь воплотить его в жизнь»⁹.

Другое различие между *утопическим подходом* и *методом поэтапной инженерии* состоит в том, что первый направлен на проекты, которые имеют глобальный характер и относятся к широкомасштабной социальной инженерии. «Напротив, проекты, предлагаемые поэтапной инженерией, относительно просты. Эти проекты затрагивают, как правило, какое-либо одно социальное учреждение – например здравоохранение, обеспечение занятости... или систему образования»¹⁰.

Важной особенностью подхода Поппера к изучению социальных технологий является то, что он опирается на методологию науки, а именно на установку, суть которой в том, что теоретическое знание не позволяет нам делать однозначные предсказания относительно будущего положения вещей. Поскольку потенциально каждая теория имеет бесконечное количество следствий, нельзя сказать, какое из них реализуется в действительности. Согласно Попперу, «методологически оправдана» может быть лишь критика выдвигаемых предположений или гипотез, а затем их последующее исключение и выдвижение новых гипотез и т.д.

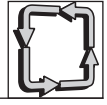
Задача «пошаговой инженерии» Поппера направлена на то, чтобы приблизить людей к состоянию более полной *свободы и счастья*. Но счастье и свободу, по его мнению, нельзя обрести в далеком будущем, в специально созданном «совершенном обществе». Это нечто такое, что можно только накопить и приумножить в постоянном процессе «ликвидации поправимых зол». Таков в представлении Поппера социальный прогресс.

Можно по-разному относиться к концепции социальных технологий Поппера. При этом всегда желательно иметь в виду исторический и интеллектуальный контексты, в которых она вырелась и создавалась. Приведем в целях

⁸ Поппер К. Открытое общество... С. 200.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же. С. 201.



иллюстрации только одно соображение, которое принадлежит английскому общественному и государственному деятелю Эдварду Бойлю. Он считает весьма слабым понимание целей общественного развития, которое мы находим у Поппера: если нет возможности создать чисто институциональным способом условия для счастья всех граждан, то кто нам мешает думать над тем, как увеличить возможность счастья? Помимо борьбы с поправимым злом усилия можно направить на усовершенствование экономики, которая может увеличивать свободу граждан. «А задача нашей политики в области образования? Когда мы говорим о том, чтобы дать возможность каждому индивиду раскрыть свои способности, или о том, чтобы предоставить всем детям “равные возможности для повышения количества измеряемого уровня интеллекта”, мы ведь, конечно, мыслим в терминах задач, далеко выходящих за рамки борьбы “против самых животрепещущих общественных зол”». Бойль относится к Попперу с уважением и почтением. «Таким образом, хотя я всей душой поддерживаю взгляды Поппера на *средства* достижения общественного прогресса, сам я предпочел бы несколько больше амбиций в отношении *целей*. И я не сомневаюсь, что в демократическом обществе цели социальной и экономической политики нужно не только обсуждать, но и строго анализировать»¹¹.

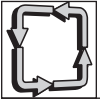
Подход Поппера к проблеме социального обустройства общества содержит определенные выводы. Так, социальная организация общества не может быть подвергнута тотальным преобразованиям, основанным на социально-философских или иных «передовых» теориях, исходя из которых предлагаются «проекты совершенных обществ». В XX в. макросоциальные теории, выступившие с «пророческими» предсказаниями, доказали свою несостоятельность в качестве факторов принципиального и глобального переустройства общества.

С методологической точки зрения, акцент должен быть сделан не на предсказании, не на рассмотрении бесконечных следствий из некоей теории, а на критике и опровержении разумных и частных предположений. Поппер назвал критикуемый им подход холистским и утопическим. На практике этот подход, по его убеждению, всегда приводил к насилию над личностью и дискредитировал свободу человека.

Поппер предъявляет к методам радикального переустройства помимо всего прочего важное для него в интеллектуальном плане обвинение в *иррационализме*.

Поппер отвергает перспективу отмирания государства в трудах Маркса и признает только «чисто формальную свободу», т.е. демократию, или право народа оценивать и отстранять свое правительство, которое представлялось ему единственно известным нам механизмом, с помощью которого мы можем пытаться защитить себя против злоупотребления политической силой.

¹¹ Поппер К. Открытое общество... С. 355.



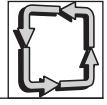
Поппер считает, что «догму, согласно которой экономическая власть является корнем всех зол, следует отвергнуть. Ее место должно занять понимание опасностей, исходящих от *любой* формы бесконтрольной власти»¹².

Совершенное общество и современное общество. Концепция Поппера направлена на оправдание обществ западной демократии, которую можно только совершенствовать, опираясь на предложенные им принципы «социальной инженерии частных решений», но нельзя радикально изменить. Отсюда следует, по Попперу, что любые идеи и социальные проекты, кроме рыночно-демократических, в которых человек освобожден от «вещной» зависимости и устремлен к «вечным» ценностям, утопичны по своей сути. Можно высказать некоторые возражения Попперу.

Философ упускает из виду ту особенность западных демократий, что и они имеют тот самый «утопический», с его точки зрения, фундамент, который был заложен столетия назад Ренессансом, Реформацией и Просвещением, трудами философов и буржуазными революциями. Маркс же формировал этот фундамент для обществ нового типа, которые, вопреки его теории, возникли не в странах развитого капитализма, а в странах второго и третьего эшелонов развития. И в них без фундаментальных предпосылок социальная инженерия нередко скатывалась к варварским формам. Сегодня Россия резко оборвала попытку социалистического опыта, перешла формально к рыночно-демократическому обществу, не построив идейного фундамента этого перехода, воспринятого обществом в терминах свободы обогащения, а не цивилизационного рынка, свободы собраний и высказываний, а не гражданского участия в принятии решений для улучшения общества – постепенной социальной инженерии. Социальная инженерия находится в руках власти. Поэтому уподобление нашего общества западному преждевременно.

Широко известна концепция нескольких *волн демократии* С. Хантингтона и других авторов. Согласно этой концепции, *первая волна демократии* началась в США в начале XIX в. и продолжалась до окончания Первой мировой войны. Идея Лиги Наций В. Вильсона консолидировала западные демократии. Первый откат происходит с 1922 по 1942 г. и характеризует сдвиг от демократии к традиционному авторитаризму или новому идеологическому массовому тоталитаризму. *Вторая волна демократии* поднялась, по его мнению, с 1943 г., активизировав наступление на фашизм, и продолжалась до 1962 г. вследствие оккупации западными союзниками стран Европы после Второй мировой войны, вызвавшей распространение демократии в основных европейских странах, за исключением стран, находящихся под советским влиянием. Начало конца западной колониальной политики принесло элементы демократии и в бывшие колонии. Поражение фашизма способствовало появлению демократий в Европе (в Германии, Италии и проч.), а также в ряде деколонизированных стран. Второй откат – 1958–1975 гг. – произошел в Латинской

¹² Поппер К. Открытое общество... С. 150.



Америке и постколониальной Африке, где усилился авторитаризм. *Третья волна* связана с посткоммунистической модернизацией¹³.

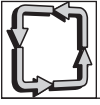
По мнению Хантингтона, политическая стабильность достигается при наличии адекватной институционализации, обеспечивающей консолидацию. Вместе с тем он подчеркивал, что в странах новой демократии трудно провести четкие разделительные линии между высокоорганизованными политическими структурами и дезорганизованной политикой, между участием и неучастием масс в политике¹⁴. Поппер более упрощенно видит этот контекст как контекст последовательной социально-инженерной деятельности, улучшающей общества, хотя в бушующем мире это трудно осуществимо. Борьба с фашизмом и коммунизмом создает упрощенную бессубъектную версию социальной инженерии. В связи с этим вызывает интерес позиция М.В. Раца и С.И. Котельникова, которые, будучи представителями естественно-научного знания, отводят ведущее место деятельности политиков по выработке стратегических целей, а менеджменту и управлению – по нахождению средств достижения этой цели. Ведь идея демократии как совершенного общества вполне адекватна по структуре идее социализма Маркса по созданию нового совершенного мира.

Поппер выступал против утопического подхода в любой форме, но при этом он совсем упустил из виду, что демократические общества Запада как раз и представляли собой реализованный историей вариант «утопического капитализма». В XVIII и XIX вв. западные общества трансформировались в капиталистические. Это был великий «утопический» эксперимент, или «великая трансформация» (К. Поланьи). Инициатором и «движущей силой» в этом эксперименте выступали правительства, расширяющие границы рыночных отношений до пределов всего общества. В результате реакция общества в виде бунтов, забастовок, стачек и революций установила к концу XIX в. определенную конфигурацию между структурами рынка, демократической организацией общества в основном в форме парламентской демократии и местом правительства в функционировании социально-государственного механизма. То есть социальный утопический эксперимент в западном мире все-таки имел место. Невиданный прежде подъем Запада стал его результатом. Этот же эксперимент в теоретическом плане дал понимание, что общества могут быть устроены в каком-то смысле лучше, чем те, что «реализовались» в действительности.

Утописты, социальные теоретики, писатели и философы предложили множество моделей «идеальных» обществ. Создание проекта «нового совершенного» общества нельзя представить и без писателей, поэтов и художников. Особенно роль художественной элиты заметна на примере социальных катаклизмов в России на рубеже XIX и XX вв. Культурная революция свершилась прежде в умах, и только поэтому стала возможна революция партии большевиков. Следовательно, культуру Поппер также отнес бы к разновидностям

¹³ См.: Хантингтон С. Третья волна демократизации в конце XX века. М., 2003. С. 26–37.

¹⁴ См.: Huntington S. Political Order in Changing Societies. New Haven. 1968. P. 78.



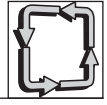
идеологий. Но главная идея – демократия. В работе Герберта Уэллса «Россия во мгле» описывается встреча автора с большевиками, особенно с Львом Каменевым и Григорием Зиновьевым, которые все события в мире видели как *классовые отношения*. Так, многовековой англо-ирландский конфликт они трактовали в терминах классовой борьбы, хотя это был религиозный конфликт – укрепление протестантизма за счет подавления католицизма (в течение сотни лет в Англии действовал закон о смертной казни за укрывательство католических священников). Зиновьев заявил Уэллсу в сентябре 1920 г., что сейчас в Ирландии идет гражданская война, Уэллс ответил: «По существу да». Тогда Зиновьев спросил: «Кого вы считаете представителем пролетариата – шинфейнеров или ульстерцев?» Зиновьев долго бился, пытаясь уложить положение в Ирландии в формулы классовой борьбы. Это было чрезвычайным упрощением реальных событий, навязчивой идеей, идеологическим клише. Это не означает, что теория классовой борьбы не верна, но означает, что она не является отмычкой для объяснения всех вопросов.

Защита демократии западными учеными часто носит сходный характер: все события трактуются с позиций демократии. В некоторой мере демократия у Поппера становится рамкой постепенной социально-инженерной деятельности, хотя может осуществляться и в недемократических странах. Поскольку, по мнению Поппера, проект нового, в чем-то более совершенного общества не может быть реализован в принципе, то существующие страны западной демократии в каком-то смысле уже являются «совершенными» и путем «пошаговой инженерии» могут быть улучшены устранением очевидных для всех зол.

В аргументации Поппера демократия помогает защититься от институтов бесконтрольной власти, если противопоставить им институты, *действующие в интересах большинства граждан*. Его предложение заключается в следующем: «Вся долгосрочная политика – особенно всякая демократическая политика – должна разрабатываться в рамках безличных институтов. В частности, проблема контроля за правителями и проверки их власти является главным образом институциональной проблемой – проблемой проектирования институтов для контроля за тем, чтобы плохие правители не сделали слишком много вреда»¹⁵. В этом же духе: «Мы должны защищаться от усиления власти правителей. Мы должны защищаться от лиц и от их произвола. Институты одного типа могут предоставить безграничную власть тому или иному лицу, но институты другого типа могут отнимать ее у этого лица»¹⁶. В этих рассуждениях прослеживается западная идея *недоверия к власти*, которая реализована в системах западной демократии. Напротив, в восточной традиции, например в Китае, действует принцип доверия к правителю, подготовленному для осуществления своей миссии. Концепция Поппера, следовательно, не может претендовать на универсальность. Это особенно очевидно в условиях современного глобализирующегося мира, в котором наблюдается большое разнообразие по-

¹⁵ Поппер К. Открытое общество... Т. 2. С. 153.

¹⁶ Там же.



литических и экономических систем организации обществ. В то же время он убежден, что в современных ему либеральных обществах Запада идея действительной свободы реализована наиболее разумно через принцип последовательного развития формальной свободы. Однако происходит ли это в действительности – дискуссионный вопрос. В обществах рыночной экономики, как показывают исследования, в частности, по использованию социальных технологий в целях модификации и воздействия на поведение свободных граждан человек далеко не свободен.

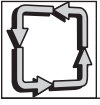
Термин «утопия» используется и совсем не в попперовском смысле. Французский политический мыслитель Пьер Розанваллон убедительно показывает весь процесс возникновения рыночных обществ от становления утопии общества как рынка (либерализм) до ее воплощения в реальных государствах. Он пишет: «Будучи помещенной в этот общий контекст, утопия рыночного общества предстает неотделимой от двух других утопий. Первая – утопия господства права, которое могло бы послужить еще одним субститутом политическому порядку, основанному на конфликте и переговорах. Эта утопия есть естественное дополнение *утопии регулирования*, лежащей в основе современного понятия рынка. Вторая утопия – *антропологическая*: согласно ей, моральный и социальный универсум состоит из абсолютных индивидов, совершенно автономных и суверенных хозяев своей жизни»¹⁷. Это – серьезная критика Поппера.

Кто же является субъектом поэтапной социально-инженерной деятельности? Гражданское общество не состоит из «социальных инженеров». Тут можно покритиковать Поппера за то, что, отвергая глобальный политический проект, он делает политику центром социальной системы, не отвечая на вопрос: кто же как не власть и не преданные власти станут носителями социально-инженерных преобразований?

Итак, в полемике между идеей «совершенного общества» и поэтапно меняющегося в лучшую сторону социума победителей нет. Сочетание общих идей и применение социальной инженерии дает большой шанс демократии, гражданскому обществу, эффективности преобразований в России.

Нам нужно не совершенное общество, которое действительно является утопией, а современное общество. Современное общество не совершенно, но его главные идеи – почти те же, что у Поппера: свободный и ответственный индивид, демократия, идеи будущего страны и улучшения особо проблемных ситуаций способом конкретной социально-технологической деятельности. Но также остается вопрос о субъекте этой деятельности, особо непонятный в связи с насильственным и произвольным реформированием РАН.

¹⁷ Поппер К. Открытое общество... С. 32.



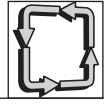
ИЗУЧАТЬ НЕЛЬЗЯ РЕФОРМИРОВАТЬ: ГДЕ ЗАПЯТАЯ?¹

Илья Теодорович Касавин – доктор философских наук, член-корреспондент РАН, заведующий сектором социальной эпистемологии Института философии РАН. E-mail: itkasavin@gmail.com

Обсуждение текста М.В. Раца и С.И. Котельникова выводит не только на отношения между властью и знанием, государством и наукой. Конечно, в реформировании среднего и высшего образования, отраслевой науки и государственных академий наук государство продемонстрировало волюнтаристический и технократический стиль, не опираясь при этом на серьезные научные исследования и разработки, а предпочтя угодные мнения сомнительных и анонимных экспертов. Однако позитивные общественные изменения, затрагивающие как судьбы сотен тысяч граждан, так и сложные социальные институты, не проводятся силовым «хирургическим» путем. Подобным образом расправляются с политическим противником или экономическим конкурентом.

К сожалению, наука порой копирует этот никуда не годный, авторитарный, силовой стиль отношения к более слабому: например, «физики», как правило, ни во что не ставят «лириков». Для большинства представителей естественных и технических наук социальные и гуманитарные науки в лучшем случае заслуживают приставки «недо», а в худшем – «псевдо». Полемически заостряя ситуацию, можно представить ее в виде следующей пропорции: чиновники так относятся к ученым, как «технари» – к гуманитариям. Ведь говоря о развитии науки, о реформе, даже руководители РАН никогда, насколько мне известно, не опирались на результаты конкретных науковедческих исследований, призванных дать объективную картину современной российской науки и указать на условия и направления ее совершенствования. Конечно, здесь должна была идти речь в первую очередь о науке как социальном институте и только во вторую – о различных (приоритетных) направлениях научного знания. Вторую сторону дела нельзя прояснить без участия ученых, работающих в данных направлениях, но и слепо доверять им тоже не следует. Например, многие известные ученые в конце XIX в. полагали, что основные открытия уже сделаны и осталось лишь уточнить некоторые детали. А вскоре началась новая революция в естествознании. Новые идеи потому и новые, что они непосредственно не выводятся из старых, являются неожиданными. Здесь особенно важны уроки истории и философии науки.

¹ Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 11-03-00425а.



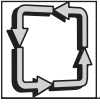
Сегодня все еще обсуждается новый закон о РАН, а в связи с этим и вообще возможности реформы науки и образования. Инициаторы проекта ликвидации Академии, подготовленного где-то в недрах Министерства образования и науки (МОН), любят апеллировать к американской практике, имея в виду существование науки в университетах. Однако им, видимо, никогда не приходило в голову *изучать* то, как сформировалась университетская наука в США и какую социальную роль она играла и играет. А ведь эти темы довольно хорошо исследованы историками науки и образования. Весьма репрезентативна история реформы университетского образования в США в годы после Второй мировой войны и следствий из этого для внешней политики.

История начинается в стенах одного из наиболее престижных университетов США – Гарварда (сегодняшнего эталона для Д. Ливанова и О. Голодец). Ее главным героем выступает Дж.Б. Конант (James Bryant Conant, 1893–1978) – известный профессор-химик, руководитель научных и образовательных структур и высокопоставленный государственный чиновник в одном лице. Наибольшую известность он завоевал на посту президента Гарварда, который он реформировал, придав университету характер научно-исследовательского центра. Основной смысл реформы, как ни странно это прозвучит для нынешних российских технократов, состоял в *гуманитаризации* образования, для чего Конант разработал и читал курс истории науки². Программа была призвана внушить ученому и преподавателю представление о науке как определенном сообществе и эволюционирующем социальном институте, а не только частном деле отдельных личностей. В дальнейшем она распространилась на все высшее образование в США, а Конант привлек эмигрантов из Германии (участников Венского кружка и др.) к разработке ее философско-наукоедческого обоснования. В частности, физик и философ науки Р. Карнап в качестве редактора-составителя обеспечивал ее целой серией философско-междисциплинарных исследований. Весьма примечателен следующий факт: одной из последних книг этой серии стала «Структура научных революций» Т. Куна³.

Подчеркнем: Конант в полной мере осознал, что реформу науки и образования следует выстраивать не просто как *социальную практику*, основанную на некоторых интуициях в теоретическом смысле и ангажированную политически. Он организовал программу развития наукоедческих дисциплин (истории, социологии и философии науки), которая послужила формированию политики в отношении науки как особой *социальной технологии*. Последняя так же базировалась на научных исследованиях, как электрические, тепловые, горнодобывающие, строительные, генно-инженерные, компьютерные технологии опираются на соответствующие инженерно-технические науки, а те в свою очередь – на известные теории физики, химии, математики, биологии, геологии и т.п. Естественно, что в рамках этой программы философ и матема-

² См.: *Conant J.B. Modern Science and Modern Man. N.Y. : Columbia University Press, 1952.*

³ См.: *Бажанов В.А. Русские факторы в ассимиляции логического позитивизма и философии науки в Америке // Вопросы философии. 2013. № 11. С. 149–154.*



тик О. Хелмер (ученик Х. Райхенбаха) выдвинул проект социотехнических наук – теорию социальных технологий⁴.

Карьера Конанта привела его в число руководителей Манхэттенского проекта: именно мнение ученого оказалось решающим в принятии решения об атомной бомбардировке Японии (я подчеркиваю это обстоятельно лишь для того, чтобы проиллюстрировать авторитет Конанта как ученого). После окончания Второй мировой войны Конант был послан в Германию в качестве верховного комиссара и затем посла США, где один из важнейших моментов его работы состоял в реформировании образовательной системы⁵, что в свою очередь внесло существенный вклад в денацификацию. Опять-таки примечательно, что он не стал банально копировать свой позитивный опыт работы с США, а направлял реформу в соответствии с национальными традициями самой Германии. Она принесла свои плоды, хотя и не смогла до конца компенсировать тот ущерб, который нанесли германской науке годы нацистского режима.

Опыт Конанта как типичного социального технолога⁶ оказался востребован в эпоху холодной войны. Это была война двух информационных армий, основанных в свою очередь на двух разных образовательных системах и соответствующих социальных теориях. Итог был таков: спутник запустили в СССР, но информационную войну выиграла США. В этом сказалось внимание американских политиков к социальным технологиям⁷.

Обсуждение реформы российской науки станет тогда по-настоящему плодотворным, когда в ее основу будут положены результаты научной программы исследований в области философии, социологии, истории, психологии и экономики науки. Этому направлению в нашей стране никогда не придавали должного значения. Б.М. Гессен, ученый, философ и историк науки мирового уровня, был казнен сталинским режимом, М.К. Петров, выдающийся науковед, – обречен на молчание и забвение. Так науковедение фактически разделило судьбу генетики и кибернетики. И сегодня в этой сфере мало что изменилось. У Института истории естествознания и техники РАН отняли здание, что поставило Институт на грань закрытия. Результаты исследований Института философии РАН⁸ в рамках государственного контракта МОН по теме «Гуманитарное знание и социальные технологии» (2010–2012), прямо предназначенные для использования в научной и образовательной политике, оказались совершенно не интересными министерским чиновникам.

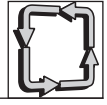
⁴ См.: *Helmer O. Social Technology*, N.Y., 1966; *Колтаков В.А. Методология социального знания О. Хелмера: ее прошлое и настоящее // Общество. Техника. Наука. На пути к теории социальных технологий*. М., 2012.

⁵ См.: *Conant J.B. Education in a Divided World: The Function of The Public Schools in Our Unique Society*. Cambridge, Ma: Harvard University Press, 1948; *Conant J.B. The American High School Today: A First Report to Interested Citizens*. N.Y.: McGraw-Hill, 1959; *Conant J.B. The Education of American Teachers*. N.Y.: McGraw-Hill, 1963.

⁶ См.: *Conant J.B. My Several Lives: Memoirs of A Social Inventor*. N.Y. : Harper and Row, 1970.

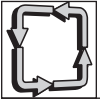
⁷ См.: *Касавин И.Т. Социальные технологии. Теоретические концептуализации и примеры // Общественные науки и современность*. 2012. № 6; *Общество. Техника. Наука. На пути к теории социальных технологий* ; отв. ред. И.Т. Касавин. М., 2012.

⁸ См.: Там же. С. 108–113.



Когда вспоминаются навязчивые лозунги по поводу того, что экономика должна быть инновационной, думаешь: а не должно ли само государство показывать инновационные примеры в своей деятельности? Но на что опираются инновации в МОН? Почему, с одной стороны, заказанные и оплаченные им же исследования, имеющие явные прикладные результаты, остаются невостребованными? И, с другой стороны, в рамках каких исследовательских проектов готовилось научное обоснование «реформы» РАН?

Политики могут себе позволить быть невежами – они апеллируют к административному ресурсу. Ученые и руководители науки на такую роскошь претендовать не могут. Им следует отдавать себе отчет в том, что наука является предметом научного исследования точно так же, как и структура графена, электрохимия мозга, анатомия гельминтов, теорема Ферма или синтаксис языка азанде. Гуманитаризация науки – это тенденция будущего не в том смысле, что физики поголовно превратятся в лириков. Социальные и гуманитарные науки должны быть призваны для осмысления российской науки и перспектив ее развития. Иначе всегда и во веки веков – хотели, как лучше...



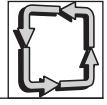
О СООТНОШЕНИИ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ: ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ УПРАВЛЕНИЯ НАУКОЙ¹

Виталий Георгиевич Горохов – доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник сектора междисциплинарных проблем научно-технического развития Института философии РАН. E-mail: vitaly.gorokhov@mail.ru

В статье М.В. Раца и С.И. Котельникова совершенно правильно ставится вопрос о сути современного стиля управления, можно сказать, особой философии управления, которая в принципе призвана ответить на один из извечных русских (хотя, конечно, не только русских) вопросов «что делать?». И если мы действительно, как сказано в этой статье со ссылкой на Б.З. Мильнера, живем в век управления (в отличие от Мильнера, впрочем, мы считаем, что это скорее особенность уже XXI, а не XX столетия), то нужно попытаться реконструировать, какая именно «философия» управления скрывается за действиями современных псевдореформаторов науки и к чему она может привести.

Философия управления (если ее можно вообще так назвать, не оскорбляя философию), которую выбрала чиновничья бюрократия по отношению к российской науке, в сущности очень проста, понятна и по-своему эффективна. Эффективна в том смысле, что пусть и варварскими методами, но достигается основная цель захвата собственности. По-немецки это называется «feindliche Übernahme», когда более сильная предпринимательская структура съедает, может быть, даже эффективно работающее предприятие. В один момент без всякого предупреждения приходит новая команда, все опечатывает и переписывает на себя. Но там это происходит не между государственными, а между предпринимательскими структурами. Эта стратегия, конечно, не может быть в данном случае признана эффективной в долговременной перспективе, поскольку не учитывает традиций и ведет не только к разрушению функционирующей науки, но и к снижению общего уровня культуры в стране. В сущности современных менеджеров от науки интересует лишь экономический эффект от продажи ее результатов, а никак не культурное развитие. Мне довелось принять участие в конференции, организованной Институтом технологий г. Карлсруэ и представителями фонда Сколково в посольстве Российской Федерации в Берлине 8 декабря 2011 г. Немецкие ученые были несколько

¹ Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 11-03-00425а.



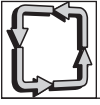
поставлены в тупик и разочарованы, поскольку на предварительных встречах и обсуждениях им показалось, что представителей российской стороны интересует проблематика социальной, в том числе социально-экологической оценки техники. Однако на конференции молодые «эффективные менеджеры», хорошо освоившие английский язык и терминологию американского менеджизма, интересовались лишь экспертными оценками того, что из существующих научных разработок можно хорошо продать.

Управление социальными системами – это всегда комбинация естественного развития с искусственными воздействиями, это развитие стимулирующее. Об этом писал еще в 1960-е и 1970-е гг. советский философ Г.П. Щедровицкий: «Они имеют, во-первых, естественный компонент жизни, во-вторых, искусственный компонент в результате того, что они всегда охвачены и ассимилированы другими системами деятельности, и, в-третьих, некую равнодействующую, по которой, собственно, идет и должно идти движение»². Вот этого поиска равнодействующей как раз и не наблюдается в реформе науки, проводимой чиновниками, опирающимися на экспертное мнение заинтересованных придворных экспертов и на прямую фальсификацию и подтасовку фактов. Однонаправленное искусственное управляющее воздействие в данном случае может привести только к деструкции, схлопыванию сложноорганизованной системы до уровня плоской одномерной структуры. Кроме того, как раз такое однонаправленное, без учета сложных обратных связей и синергетических эффектов воздействие может привести к прямо противоположным ожидаемым результатам. В природных и социальных системах, по образному выражению французского философа Бруно Латура, «вещи могут дать сдачи»³. Это необязательно означает физическое воздействие и бунт, но уж точно саботаж и массовую эмиграцию ученых.

Итак, необходимо различать преобразование объекта управления, которое является результатом управленческой деятельности (искусственное), и естественное превращение объекта, независимое от этой деятельности. Понятие «управление» предполагает, что, с одной стороны, объект управления развивается по естественным законам, а с другой – испытывает (искусственное) воздействие управленческой деятельности. Объект управления сначала должен быть рассмотрен как естественная система, а потом задан прогноз ее развития. Затем он рассматривается как искусственная система и строится его проект (модель). Объект управления должен быть описан и с точки зрения проекта, и с точки зрения возможностей отклонения от естественной линии развития. Далее выбирается оптимальная траектория достижения цели, заданной в проекте. Наконец, планируется система управляющих воздействий для получения нужной траектории, т.е. для реализации проекта.

² Щедровицкий Г.П. «Естественное» и «искусственное» в социотехнических системах // Г.П. Щедровицкий. Избр. труды. М., 1995. С. 440.

³ Латура Б. Когда вещи дают сдачи // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. 2003. № 3. С. 20–39.



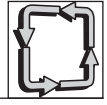
Кроме того, всякое сознательное переделывание социальных структур должно опираться на особое социально-гуманитарное исследование. Даже самые прогрессивные и продвинутое ученые-естествоиспытатели (не говоря уже о чиновниках) почему-то негласно исходят из того, что исследования проводятся только в естественных и технических науках, а социально-гуманитарное знание – беспредметная болтовня. Но и продвинутое нобелевские лауреаты – это специалисты в какой-либо одной области науки, не имеющие, как правило, представления о том, как функционирует и что собой представляет наука в целом. В некоторой степени на этот вопрос отвечает особая наука о науке, или науковедение, которая существует свыше полувека.

Управление представляет собой целенаправленный процесс, результатом которого является переход объекта из одного состояния в другое. Однако цель – это не просто конечное состояние, на достижение которого направлено действие объекта. Она представляет собой идеальный образ этого конечного состояния, представление о результате деятельности еще до того, как результат достигнут. Вот такого развернутого представления как раз и не просматривается в новом законе о науке. Напротив, утверждается, что надо сначала ввязаться в драку, а потом посмотреть, что из этого выйдет. Такой подход к управлению является ненаучным, поскольку не основывается на каких-либо серьезных исследованиях.

Ситуация управления имеет одну важную особенность: управление – это воздействие одной деятельности на другую, т.е. объектом управленческой деятельности является другая деятельность, подлежащая управлению (например, производственная, хозяйственная, конструкторская, научная и т.д.). Управление заключается в корректировке деятельности, подлежащей управлению, в соответствии с целью и осознанием управляющим органом всей деятельности и образа действия управляемого индивида. Большое значение приобретает при этом не только осознание, но и корректировка собственных действий управляющим индивидом или соответствующим управляющим социальным институтом. Управляющая стратегия Минобрнауки не предполагает такого рода корректировок и взаимодействия с теми, кем оно управляет.

Инновационную научно-техническую политику можно развивать только как рефлектирующую деятельность, т.е. под контролем постоянной критической рефлексии, как подчеркивал известный немецкий философ и социолог Никлас Луман. Это означает, что рациональные решения и соответствующие им рациональные действия должны ориентироваться не на фактическую их акцептацию общественностью, а на «акцептабельность», т.е. потенциальную приемлемость обществом этих решений и действий. Она становится актуальной в результате рационального разъяснения общественности, обсуждения с ней и убеждения ее в правильности выбранного пути (сценария) развития с указанием на возможные позитивные и негативные последствия и степень риска⁴. Все это

⁴ См.: Grunwald A. Die rationale Gestaltung der technischen Zukunft // Rationale Technikfolgenbeurteilung. Konzepte und methodische Grundlagen ; A. Grunwald (Hg.). Berlin : Springer, 1999. S. 29–54.

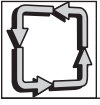


указывает на иррациональность управленческой деятельности современной российской бюрократии.

При этом важен собственный опыт развития инновационных систем, а не только опыт других стран, который важно учитывать, но нельзя им ограничиваться. В последнее время раздаются голоса, прежде всего политиков, не имеющих представления о специфике научной деятельности и исследовательских традициях, о необходимости сокращения государственного финансирования фундаментальных исследований и концентрации национальных научно-исследовательских организаций на решении насущных практических проблем, возникающих в обществе. При этом в основном указывают на опыт США. Германский исследователь науки Рихард Мюнх утверждает, что перенос элементов реформ из одного культурного и институционального контекста в другой или применение абстрактной теоретической модели на практике, имея в виду «гегемонию» определенной парадигмы исследования (а именно «тесной связи науки и экономики в университетско-промышленных центрах»), навязываемой «богатейшими американскими университетами», ведет к непредвиденным негативным следствиям.

Научное исследование и обучение не являются больше самоцелью. Гораздо в большей степени их задачей становится приумножение символического и монетарного капитала университетского и научно-исследовательского предприятия. В таком случае исчезает всякое различие между, например, автомобильным концерном BMW и Университетом Людвиг-Максимилиана в Мюнхене. Поэтому то, что в условиях развития «академического капитализма» в высших школах особое место получают «научные менеджеры», в данном контексте вполне понятно. Рихард Мюнх подытоживает свой анализ следующими весьма актуальными для России словами: «Не функциональные преимущества объясняют эти структурные изменения, а давление, осуществляемое без всякой демократической легитимации могущественными транснационально-сетевым образом связанными экспертами. Изменения, таким образом, становятся самоцелью, они служат самоутверждению новой элиты... Приведет ли американская модель в конечном счете к лучшим результатам, никоим образом не доказано, тем более если учесть, что как раз Соединенные Штаты свой дефицит в подготовленных инженерах и естествоиспытателях вынуждены покрывать за счет рекрутирования молодых специалистов из-за рубежа»⁵.

⁵ Münch R. Globale Eliten, lokale Autoritäten. Bildung und Wissenschaft unter dem Regime von PISA, McKinsey & Co. Frankfurt a/M : Suhrkamp, 2009. S. 125–131.



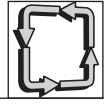
ШАГ ВПЕРЕД И ДВА НАЗАД: О МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ НАУКИ¹

Надежда Александровна Касавина – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН.
E-mail: kasavina.na@yandex.ru

Методологический вопрос об интеллектуальном обеспечении реформирования РАН, который анализируют М.В. Рац и С.И. Котельников, имеет и другую, социологическую сторону, а именно: можно ли рассматривать это событие как момент вторичной модернизации России? Первое, что бросается в глаза, это ценностная индифферентность избранной стратегии. Говоря попросту, ее инициаторам было все равно, как к этому отнесутся и ученые, и граждане вообще. «Индюшки не голосуют за Рождество», – афористично выразил эту мысль один из явных апологетов этой реформы. М. Рац и С. Котельников не обходят вниманием факт, шокирующий научную общественность: процесс реформирования РАН носил все признаки спецоперации против злостного врага. Он неожиданно начался перед летними отпусками ее членов и сотрудников, причем ученых фактически исключили из подготовки и реализации реформы. Более того, на протесты в различных формах – от писем до митингов – президент и правительство не реагировали, не вступили в диалог, еще раз напомнив, что неуловимый Замок, который так образно изображает Ф. Кафка, сегодня так же далек от человека, стремящегося найти свое место в социальной реальности. Это все еще неожиданно и весьма болезненно на фоне разговоров последних двух-трех десятилетий о демократическом, свободном государстве, правах граждан, социальном капитале и социальном самочувствии.

Данная ситуация является примером решительной несогласованности в нашем обществе экономических решений, декларируемых политическими институтами ценностей и ориентиров духовной жизни общества, которая веками складывалась стихийно, выражая стремление людей к организации справедливого, здорового общества. Постоянно напоминают о себе двойные ценностные стандарты: декларируется одно, делается другое, часто прямо противоположное. Впрочем, результаты социологических исследований хотя бы уровня социального доверия в нашем обществе показывают, что такие ситуации усугубляют недоверие людей к власти и ее основным институтам. Динамика социально-психологического самочувствия российского общества за годы демократических реформ показательна тем, что около трети россиян,

¹ Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 11-03-00425а.



участвовавших в социологических опросах, испытывают чувство несправедливости, стыда за происходящее в стране, беспомощности из-за невозможности повлиять на происходящее. Особенно удручает, что эти показатели среди молодежи до 25 лет выше 70 %, а среди 26–35-летних таковых еще больше².

Сферы духовной жизни нашего общества находились и находятся до сих пор в положении не очень нужных элементов общественной системы, которым в том или ином виде разрешают быть и время от времени показывают их место. Наука, в особенности сфера фундаментальных исследований и социально-гуманитарный сектор, занимают, пожалуй, самое невыигрышное положение, так как не дают быстрого результата, быстрой отдачи и того ощущения эффективности вложений, о котором якобы так печется наше правительство. Как ни странно, эффективность огромных вложений хотя бы в футбол или хоккей для правительства, видимо, очевидна вследствие их отвлекающего воздействия на массовое сознание, взывания к былым массовым переживаниям национальных достижений.

Показатели эффективности являются той самой козырной картой, краешек которой время от времени показывают для того, чтобы внушить ощущение неуверенности людям, работающим в сферах, где ее непосредственное обоснование проблемно. Однако если в Америке и Европе акцент на этих показателях сопряжен со стремлением к качеству, то для нашего общества эффективность пока является лишь попыткой дотянуться до ее внешних проявлений, естественно сложившихся в других странах. Тем более, как удачно замечают М.В. Рац и С.И. Котельников, если современный политик заинтересован в эффективности той системы деятельности, которую он собирается перестраивать, если он хочет свести к минимуму неизбежные потери и непредсказуемые последствия намечаемой реформы, он вступит в коммуникацию со своими потенциальными оппонентами, т.е. учеными. А та форма реформирования РАН, которая имеет место сегодня, по всей видимости, очень напоминает миссию, которую избирают консультанты по вопросам управления в романе Ирвина Шоу «Вершина холма». Это описывается в диалоге, который как нельзя кстати характеризует «новые ценности», в поле которых культуре и науке существовать непросто.

«— Я консультант по вопросам управления.

— Что это такое?

— Наша страна порабощена менеджерами, а я даю им рекомендации.

— Нельзя ли поподробнее?

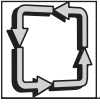
— Мы ходим по фабрикам и конторам, изучаем бухгалтерские книги, расспрашиваем служащих и вселяем ужас в их сердца.

...

— Почему ужас?

— Потому что мы — ловчие хорьки, вооруженные компьютерами, статистикой, знаниями и бездушием. Мы охотимся за некомпетентностью, растратами, хищениями, кумовством, учим, как утаивать доходы от государства, помогаем

² См.: Российская идентичность в социологическом измерении (аналитический доклад). М.: Институт социологии РАН: Представительство Фонда им. Ф. Эберта в РФ, 2007. С. 125–140.



фирмам, не придающим должного значения такому важному рычагу нашего общества потребления, как связи с вашингтонской верхушкой. Мы, воинствующие поборники эффективности, советуем, что необходимо изменить, какие драконовские меры принять. Иногда после нашего вмешательства компании напоминают поле битвы после сражения – всюду тела жертв, заводы закрыты, президенты и председатели правлений летят со своих постов, старики выброшены на улицу.

...

– Пожалуй, в сегодняшнем мире без вас не обойтись, но каково осознавать, что по вашей вине люди остаются без работы...

– Так устроена жизнь. Я лишь выполняю служебный долг. Мы славимся объективностью, ее-то от нас и ждут. Мы консультанты по вопросам управления, а не Армия спасения. Идя на работу, мы оставляем сердца дома»³.

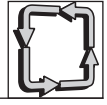
Этот подход и эти меры напоминают те, которые пришлось испытать сотрудникам Института философии РАН в борьбе за здание, в котором он находится уже много десятилетий. И, по всей видимости, именно такого рода подход к реформированию РАН, который кратко, но образно описывает И. Шоу, решено было реализовать правительством. Нельзя не вспомнить, что руководство страны воздерживается от подобной реформы крупных российских промышленных предприятий и организаций, которые демонстрируют убыточность, неэффективность и непрозрачность. Никто из наших чиновников не рискнет сравнивать по эффективности Газпром и Шелл, ВАЗ и Ниссан, Сбербанк и Дойчбанк, а про РОСНАНО уж и говорить нечего... Кстати, именно такие – главная цель «эффективных менеджеров» у И. Шоу. Последнему, вероятно, не пришло бы в голову направить их на реформу науки. Для наших же чиновников это в порядке вещей.

Исключение ученых из процесса реформирования Академии показало, в каком состоянии у нас находится культура знания: знания не как ключевого фактора модернизации современного общества, о чем идет речь в других странах, а как все той же истматовской «надстройки», напоминающей нам о не самых удачных периодах истории страны и истории мысли. Отношение к знанию осталось прежним – это маловажное, «вторичное» явление, обусловленное общественным бытием, а потому и реформируемое без особой оглядки и финансируемое по остаточному принципу.

Всероссийское социологическое исследование, посвященное ключевым проблемам духовной культуры, проведенное в 2004 г. Социологическим центром РАГС при Президенте РФ, в числе прочих результатов обнаружило пассивность и во многом отчаяние интеллигенции (экспертов)⁴. Более 70 % экспертов отметили, что они не в силах влиять на решения власти. Именно пото-

³ Шоу И. Вершина холма. М., 2000. С. 36–37.

⁴ См.: Каложная Н.А., Кулибаба С.И. Духовная культура современного российского общества: состояние и тенденции формирования (по материалам всероссийского социологического исследования). Астрахань, 2006. В качестве экспертной группы в исследовании приняли участие представители науки, образования, искусства, культурно-досуговой деятельности.



му, что наука и власть находятся в таком разрыве, эти данные вряд ли саму власть заинтересовали.

Процесс реформирования РАН показал, что сегодня, спустя почти десятилетие после этого исследования, интеллигенция способна проявлять активность, выражать протест, добиваться пересмотра позиции власти, однако последняя не способна реализовывать декларируемые демократические ценности и хотя бы быть в диалоге с той общественностью, чей институт она собирается реформировать. Пассивность народа оказывается просто выгодной власти. Сегодня много говорится о доверии народа по отношению к власти, а об обратном доверии речь почти не идет. Доверяет ли власть народу и отдельным сообществам? Способы реформирования показывают, что нет.

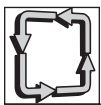
На сам народ, его поддержку РАН рассчитывать не приходится. Сентябрьские рейтинги одобрения и доверия Аналитического центра Юрия Левады показывают, что принятие закона о реформе Российской академии наук народ волнует меньше (3 % опрошенных), чем развод Владимира и Людмилы Путиных (14 %)⁵.

Что касается методологического оснащения реформирования РАН, затрагиваемого авторами обсуждаемой статьи, то его реализация требует иной связки социально-гуманитарной науки и власти. Например, в китайской Академии наук существует Центр исследований модернизации (ЦИМ АНК), который осуществляет методологическое оснащение процесса модернизации общества как важнейшей задачи, которую ставит китайское правительство⁶. В личной беседе с сотрудниками Центра изучения социокультурных изменений (ЦИСИ) Института философии РАН руководитель ЦИМ АНК профессор Ч. Хэ подтвердил, что правительство Китая заинтересовано в этих исследованиях и оказывает мощное содействие в их проведении. Руководствуясь методикой исследования модернизации ЦИМ АНК, сотрудники ЦИСИ Института философии РАН по главе с Н.И. Лапиным провели масштабную работу по адаптации этой методики к особенностям российской статистики, подсчету показателей модернизации и разработке тех ее направлений, которые адекватны современному состоянию российского общества.

В ходе совместной работы российских и китайских ученых в Институте философии РАН была проведена конференция «Цивилизация и модернизация» (май 2012 г.). В настоящее время сдана в печать коллективная монография, посвященная анализу состояния модернизированности регионов России и определению возможностей ее оптимизации в ближайшие годы. Однако никакого отклика российского правительства не удалось дожидаться, несмотря на информационные письма Института философии РАН.

⁵ Опрос проведен 20–24 сентября 2013 г. по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах общего числа опрошенных.

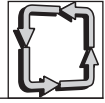
⁶ См.: Хэ Чуаньци. Введение // Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–2010); гл. ред. Хэ Чуаньци : пер. с англ. под ред. Н.И. Лапина. М., 2011.



Между тем вторичная модернизация, о которой как о важнейшей задаче идет речь, означает переход к информационному обществу, основанному на знаниях, демонстрирует в качестве одного из направлений динамику развития в области знаний (инновации и трансляция знаний). Показатели же затрат на НИОКР в ВРП, число ученых и инженеров, занятых в НИОКР в нашей стране, существенно отстают от тех, которые свойственны развитым странам. Наши показатели соответствуют состоянию вторичной модернизации в среднеразвитых странах мира. Как отмечает Н.И. Лапин, «барьеры входа в фазу перехода к вторичной модернизации высоки: они предполагают эндогенное восприятие обществом требований вторичной, информационной стадии модернизации – преобразование экономики и всего общества в экономику и общество знаний, качественное повышение роли образования, науки и инноваций»⁷.

Итак, реформа РАН по основным показателям недотягивает до требований вторичной модернизации. Вероятно, ее следует понимать как элемент модернизации первичной, которая в Западной Европе началась еще в XVI в. и состояла в перестройке промышленного производства. Получается, что, выстраивая современную техна науку, мы возвращаемся на пять веков назад и используем методы, подходящие для трансформации цехового производства в мануфактуру. Отсюда путь до высокотехнологичного производства весьма не близок, но в условиях стабильности российской элиты мы его, несомненно, преодолеем.

⁷ Лапин Н.И. Стадии, уровни и фазы модернизации регионов России, их модернизационные типы и кластеры // Цивилизация и модернизация: материалы российско-китайской конференции (Москва, Институт философии РАН, 29–31 мая 2012 г.).



ВЫСОКОРАЗВИТАЯ НАУКА НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ВЫСОКОРАЗВИТОГО ОБРАЗОВАНИЯ

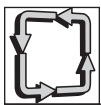
Валентин Александрович Бажанов – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Ульяновского государственного университета. E-mail: vbazhanov@yandex.ru.

Там, где образование начиналось с техники, никогда не появлялось Аристотелей. Напротив, замечалось необычное суживание и скудость мысли. Там же, где начиналось с Аристотеля... тот час же дело сопровождалось великими техническими открытиями и расширением человеческой мысли.

Ф.М. Достоевский

Хотя предмет обсуждения связан с реформой РАН и проблемами развития науки в России, я неслучайно выбрал в качестве эпиграфа суждение Достоевского. Качественное образование – это предпосылка к высокому качеству жизни в государстве, к эффективной науке, успешному развитию техники и технологий. Уместно еще вспомнить мысли Бисмарка и Энгельса о том, что в битве при Садовой победил прусский учитель. Хорошее образование, включающее достойный гуманитарный компонент, – гарантия поступательного роста науки. И, напротив, в стране, где убогая наука, не достижим и приличный уровень образования.

Министерство образования и науки РФ уже давно экспериментирует с образованием. Этот эксперимент вряд ли можно назвать удачным: уровень знания и школьников, и студентов заметно снижается, зато расцвели различные процедуры отчетности, заваливающие преподавателей ненужной (и даже вредной) работой, когда о качестве образования судят по формальным «бумажным» показателям и «успехам» так называемого менеджмента качества, согласно которому образование является «услугой», а значит, клиент всегда прав. Вузы при навязываемом соотношении один преподаватель – 10 студентов (планируется 1:12, что означает новое сокращение штатов) – дрожат над каждым студентом. Отчисление студента – это потеря преподавателей и снижение их и так весьма скромной заработной платы. Компетентностный подход (ФГОС нового поколения), культивируемый ныне в вузах, – не более чем красивая этикетка на низкокачественном товаре. Происходит беспрецедентная девальвация престижа знаний (важно только наличие «корочек») и академических достижений. Доступность ученых степеней, даже докторских (по-



давящее число авторефератов свидетельствует о том, что монографии «под докторскую защиту» выпускаются в течение 2–3 лет) и малозначащие публикации в сотнях ваковских журналов, осуществляющих агрессивный бизнес, превращают институт присуждения ученых степеней в процедуру, не позволяющую сколько-нибудь надежно судить о репутации носителя степени (не говоря уж о массовом плагиате, на который обратили внимание лишь сравнительно недавно, а заместитель министра, который начал бороться с этим феноменом, быстро потерял свой пост).

Государство, кажется, понимает остроту проблемы, тем не менее снижает финансирование образования и науки, причем до уровня, который никак нельзя считать допустимым для страны, претендующей на заметный статус в мировом сообществе. Вряд ли этот статус можно приобрести пестованием силовых структур, забывая о важности человеческого капитала. Одним словом, ситуация с образованием и наукой в России заставляет задуматься о серьезных реформах.

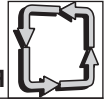
Наибольший резонанс в обществе получила реформа РАН, грозящая фактическим упразднением Академии. Перманентная реформа высшего образования обсуждается не столь активно, хотя ее последствия могут быть не менее удручающими.

Реформа РАН в буквальном смысле слова выскочила как черт из табакерки. Если ранее правительство хотя бы делало вид, что реформа должна пройти «всенародное» обсуждение (как было, например, с превращением милиции в полицию), то сейчас план реформы был явлен в виде, допускающем лишь мелкие коррективы; научное сообщество должно употребить уже готовое блюдо, которое можно лишь приправить какими-то специями.

Спору нет – РАН нуждается в реформе. В реформе тщательной и продуманной, а не в духе кавалерийского наскока.

Философия науки, которая ассимилирует достижения и истории науки, и наукометрии, и социологии науки, и психологии науки, здесь могла бы подсказать некоторые важные направления реорганизации. Еще в 1986 г. наш видный науковед А.И. Яблонский замечал, что научная результативность, являясь функцией от капиталовложений и организации науки, пропорциональна лишь логарифму от ассигнований, но прямо пропорциональна степени организации науки. Какие же компоненты организации науки желательно иметь в виду?

1. Министр Ливанов считает, что экспертную функцию РАН надо отделить от функции управления. Однако совершенно непонятно, как будут управлять наукой люди, которые не являются экспертами в области науки. Мыслимо ли управлять физиками или биологами, не будучи квалифицированными физиками или биологами? Министр обосновывает необходимость слияния академий тем, что «весь мир идет по пути конвергенции». Позвольте, каждая из академий имеет конкретную область специализации. Почему тогда в министерстве есть различные департаменты, отделы, в академиях институты различного профиля, в вузах факультеты и т.п.? Механическое объединение



разнородных образований никоим образом не будет способствовать их «конвергенции». Объединение академий нецелесообразно.

2. Стратегия министерства, направленная на выделение «избранных» вузов (федеральных, исследовательских) и их щедрое финансирование с тем, чтобы они вошли в состав ведущих университетов мира, не приведет к желаемому результату. Качественный состав ученых и преподавателей – вот тот (единственный!) фактор, который способен обогатить университет. Сейчас же университеты не обладают (и еще долго не будут обладать) достаточными финансовыми ресурсами, чтобы привлекать в свой штат высококвалифицированных ученых, которых можно привлечь лишь достойной зарплатой, свободой творчества и действия, комфортным жильем и т.д. Хоть озолоти женщин, ожидающих детей, это не поможет им рожать гениев. Кроме природных задатков гении должны воспитываться в атмосфере творчества. Поэтому стратегия развития науки в России может и должна быть строго *адресной*: главное действующее лицо здесь – конкретный ученый и тот творческий коллектив, который создается для решения тех или иных исследовательских или конструкторских задач, уже продемонстрировавших свои возможности. Значит, стоит задача максимального развития грантовой системы.

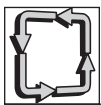
3. Необходимо заметно увеличить *финансирование науки* по каналам РФФИ и РГНФ и снять неразумные требования по отчетности (существенно уменьшить бюрократические требования к отчетности и прекратить видеть в грантодержателях потенциальных жуликов; своевременно, до окончания зимы открывать финансирование; допустить перенос средств на следующий год и т.д.).

Вообще нужно ликвидировать мелочную опеку, которая выражается в массе бесполезных отчетов, программ и учебно-методических комплексов. Пусть исследователи и преподаватели выполняют свои непосредственные обязанности, а не производят горы макулатуры.

4. Известно, что в странах с низким качеством социальных институтов молодые люди стремятся получать юридическое или управленческое образование, которое открывает доступ к государственной «кормушке». Высокое качество государства переставляет акценты и обеспечивает приток талантливой молодежи на естественно-научные специальности и специальности в сфере высоких технологий. Значит, без *роста качества* государственных институтов прогресс науки в России маловероятен.

5. В 1920-е гг. советское правительство уже пыталось елико возможно минимизировать теоретические дисциплины и гуманитарное образование. Последнее поддерживалось главным образом в силу идеологических соображений. Однако фундаментальные теоретические разделы науки (физики, математики и т.п.) оказывались ненужными ввиду необходимости подготовки инженеров. Такая утилитарная тенденция в реальности означала возможность получения только узкого инженерного образования и в конечном счете явилась причиной многих технологических катастроф в СССР¹. В настоящее время

¹ См.: Грэхем Л. Призрак казненного инженера. Технология и падение Советского Союза. СПб., 2000.



мя власть вновь направляет основные ресурсы на развитие инженерного образования.

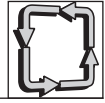
Между тем без исследований по алгебре невозможно развитие математики, без теоретической физики невозможно развитие технической и инженерной физики, без философии немислим прогресс социально-гуманитарного знания. Без *искусственной поддержки* «нерыночных» специальностей нельзя рассчитывать на эффективную науку, которая может развиваться только по всему «фронту», а не по отдельным направлениям, «приоритетность» которых может оказаться сиюминутной.

Надо прекратить заставлять институты и вузы отчитываться за количество докторов и кандидатов наук. Защита диссертации должна быть побочным результатом научной деятельности, а ныне она является едва ли не центральным моментом.

6. Переход на Болонскую систему (вряд ли удачную для нашей страны) предполагает 4-летнее обучение на бакалавриате и 2-летнее в магистратуре. Министерство полагает, что это обеспечит лучшую реакцию на требования рынка труда. Между тем ныне прием на бакалавриат осуществляется по узким специальностям. Абитуриент часто выбирает специальность, руководствуясь своего рода магией слов или сформированными телевидением романтическими представлениями. В процессе обучения изменить свою специализацию довольно сложно. Не лучше ли было бы принимать на *укрупненные специальности* (например, гуманитарной или социальной направленности) и учить всех по единой программе два-три года, а специализацию вводить на старших курсах, когда студент уже получил некоторое представление о различных областях знания? Тогда можно было бы и на запросы рынка реагировать более оперативно.

7. На науку Россия ежегодно выделяет примерно 0,6 % ВВП (причем эта доля имеет тенденцию к понижению; на оборону тратится в 1,5 раза больше, чем на образование и здравоохранение вместе взятые). Китай – около 2 %, Бразилия – 6 %, развитые страны – не менее 2 %. Необходимо раз и навсегда решить финансировать науку и образование в размере *твердой (фиксированной) доли ВВП*, по меньшей мере не уступающей уровню, принятому в ведущих в научном и технологическом отношении странах.

Это соображения лишь наиболее общего характера. Список важных и не терпящих отлагательств дел может быть легко расширен. Так, нельзя забывать о том, что и Академия, и высшее образование являются мощными механизмами социализации, что упускается при намеченных реформах; необходимо выработать дифференцированные рейтинги успешности работы исследователей и преподавателей в зависимости от конкретной области, а не исходить из механического счета цитирований только в журнальных публикациях; нужно прекратить фактическую «уравниловку» зарплат в академических и образовательных организациях и продумать более гибкую систему; пора приступить к усовершенствованию разновидностей и экспертизы грантов и т.д. В любом случае решения должны быть предварительно тщательно взвешены и появиться в результате обстоятельных обсуждений в научном сообществе.



ОТВЕТ ОППОНЕНТАМ

Марк Владимирович Рац – профессор, доктор геолого-минералогических наук.

Сергей Иванович Котельников – кандидат технических наук, эксперт компании «Agency of systems designing». Email: kketl@list.ru

Мы благодарим организаторов и всех участников обсуждения. Некоторые из собеседников выбрали такую форму разговора, при которой каждый говорит о своем, сделав ритуальные ссылки на тезисы зачинщиков дискуссии. Мы используем в своей работе другую форму организации, в рамках которой собеседники выражают свое отношение к сказанному ранее и специально аргументируют переход к новым, собственным вопросам, если необходимость в таком переходе возникает. Поэтому ограничимся ответом на полученные замечания и контртезисы.

В отличие от В.А. Колпакова и В.Г. Федотовой мы не видим противоречия между системностью и конкретностью: «случай РАН» вполне допускает системный подход. В части концепции открытого общества считаем себя последователями К. Поппера, но все же за последние 60–70 лет по теме социальных преобразований появилось много новых идей, которые необходимо учитывать.

Начнем с осознания сущностного различия методологии работы с косным материалом, с которым имеет дело традиционная инженерия, и «деятельности над деятельностью» (Д/Д), призванной заместить так называемую социальную инженерию, использованную российской властью по большевистской традиции среди прочего при «реформе» РАН.

В отличие от социальной инженерии в рамках Д/Д преобразовательные интенции политиков и управленцев противопоставляются интенциям власти на сохранение стабильности и поддержание действующего порядка. Совместная организация этих интенций может стать, а в развитых странах становится содержательным ядром системы сдержек и противовесов.

В ходе преобразований необходимо различать замысел: намерение, прикидку, наметку возможных действий, возникающие в результате неудовлетворенности сложившимся положением дел, и цель, выкристаллизовывающуюся в итоге проработки и концептуализации замысла. Это различие может быть практически не менее важным, чем различие холизма и пошаговой инженерии Поппера. Важнейший элемент реализации задуманного – проработка замысла в отличие от принятия решения (например, путем голосования в парламенте) и его исполнения («руками»).

Таковы некоторые черты нашей версии «философии управления», которую (философию) мы считаем важнейшим элементом современной общественной науки. С учетом известного предостережения К. Леви-Строса и сказанного И. Касавиным и В. Гороховым нам остается только признать уточнение последнего: XXI в. станет веком управления, либо европейская цивилизация рискует не дожить до его конца.



СОЦИАЛЬНАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, НАТУРАЛИСТИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ И РЕАЛИЗМ

Илья Теодорович Касавин – доктор философских наук, член-корреспондент РАН, заведующий сектором социальной эпистемологии Института философии РАН. E-mail: itkasavin@gmail.com

Современный философский реализм – явление многоликое. Однако метафизическому реализму в рамках аналитической философии, ставящему во главу угла вопросы онтологии, свойственно настаивать на своей аутентичности. Этот тезис обосновывается путем критики конструктивизма и релятивизма, которые представляются как теоретически непоследовательные, фактически ложные и идеологически нагруженные способы философствования. Задача статьи заключается в том, чтобы ответить на ряд критических выпадов метафизического реализма и вскрыть его идеологическое содержание. Одновременно показывается, что социальная эпистемология представляет собой более адекватную форму реализма – коммуникативный реализм.

Ключевые слова: метафизический реализм, конструктивизм, релятивизм, аналитическая философия.

SOCIAL EPISTEMOLOGY, NATURALISTIC ONTOLOGY AND REALISM



Ilya Kasavin – Doctor of Philosophy. Correspondent-member of the Russian Academy of Sciences. Chair of the Department of Social Epistemology of the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences.

Talking about knowledge necessarily involves the notorious Nietzsche's question: "Wer spricht?" Does philosophical approach to knowledge differ essentially from the common sense one? It was already Plato who demonstrated that an unproblematic appeal to reality gives no foundation for knowledge definition, while the concept of reality is a natural implication of our knowledge. There is no ontology separate from epistemology, and knowledge cannot be deduced from a more general concept of reality. Thus human cognition is not a reflection of reality outside the man and mankind. It represents the content of collective activity and communication since their organization and functioning require the ideal, i.e. possible, tentative, approximate models and perspectives. This network of signs – scientific formulas, moral norms, images of art, magical symbols – is imposed upon the world and at the same time originates from our practical contact with the latter. Knowledge, consciousness, activity and communication represent internally interconnected elements of an open social system and can hardly be analyzed in a strong separation from each other. Hence epistemology is only in abstraction to be detached from philosophical anthropology, social philosophy and requires interdisciplinary interaction with the entire scope of the social sciences and humanities. SE seems to be a kind of synthesis of many different ideas and case-studies in philosophy and beyond. It also shows the poverty of metaphysical or naive realism and inconsistency of the newest "technoscientific" obsessions. Clever realism always includes at least some SE statements. And in turn the genuine ontology for SE can be dubbed a "communicative realism".

Key words: realism, metaphysical realism, communicative realism, ontology, social epistemology, knowledge, sociality, natural-artificial, natural-human.



Реалистическое направление в аналитической философии (научный материализм, научный реализм, научный натурализм, эволюционная эпистемология и др.) в той или иной мере опирается на представление о независимой от сознания материально-вещественной, природной действительности, которая задает основные параметры когнитивных процессов (познания, сознания, ментальности). Влияние социума и культуры «наслаивается» на природные условия и способности индивида и изменяет исходные, первичные информационные содержания, определяемые реакцией тела на окружающую материальную среду. Отсюда проистекает различие между естественным, природным, с одной стороны, и искусственным, социально-культурным – с другой, что выражается в понятиях «объективность факта», «первичные типы», «квалиа» и проч. Соответственно философская эпистемология и онтология строятся так, чтобы максимально учесть современные результаты естественных наук, говорящие о том, как в действительности устроены человеческое окружение (мир сам по себе) и субъект познания, деятельности и коммуникации. Этот учет задает основы последующего дискурса, который ассоциирует главное в человеке с материально-вещественным, природным, единым для человека и высших приматов и противостоящим человеческому сознанию – совокупности ментальных процессов. Отсюда следует менталистское представление о знании как обоснованном и истинном убеждении, а также корреспондентная концепция истины как соответствия наших ментальных состояний, выраженных в форме пропозиций, внешнему объективному миру.

Социальная эпистемология существенно пересматривает установки реализма, однако было бы неверно истолковывать это как принципиально антиреалистическую позицию. Тезисы о конструктивности и социокультурной релятивности познания призваны наполнить реализм иным, более богатым и адекватным содержанием. Для этого социальная эпистемология ищет ответы на следующие вопросы. Во-первых, какова специфика способов исследования познавательных процессов, которые учитывают реалии культуры и социума? Во-вторых, это вопрос об особенностях современной социокультурной ситуации в отношении производства, функционирования и применения знания. Наконец, возможность использования социально-гуманитарного знания в современном обществе также представляет острую проблему. В совокупности это и есть предмет социальной эпистемологии – философско-междисциплинарного учения о познании, направленного на его исследование в социокультурном контексте. Я затрону только некоторые полемические темы.

Среди многих современных трендов в исследованиях по эпистемологии и философии науки прослеживается такой, который берет на вооружение лозунг «Назад к вещам», как известно, принадлежащий Э. Гуссерлю. Сегодня, как и тогда, имеется в виду необходимость и важность онтологии как таковой, первая функция которой – спасти некоторых философов, а заодно и всю культуру от напасти релятивизма. Б. Латур, недавний защитник одной из версий релятивизма, и есть самый известный сторонник «нового онтологизма», в котором между социальностью и техникой, человеком и животным, знанием, субъектом и объектом не проводится никаких границ: все это объявляется эле-



ментами единой «сети». В том, что вчерашний социальный конструктивист и последователь «сильной программы» в социологии науки решил поменять свои убеждения, нет ничего необычного. Среди нас тоже есть такие, которые вчера преклонялись перед когнитивными науками и аналитической философией сознания, а сегодня и в грош их не ставят, уповая на очередную завлекательную «утку» типа НБИК. И в том и в другом случае, как ни странно, не предлагается никаких теоретических новаций. Латур, перепутывая все и вся в стремлении произвести впечатление, на деле говорит лишь о том, что между субъектом и объектом познания существует огромное количество «предметов-посредников» (В.А. Лекторский), включая предмет научной дисциплины, систему идеальных объектов теории, экспериментальное оборудование, используемые материалы, природные организмы. И вопреки попыткам доведения социологизма до абсурда через уничтожение социальности самой по себе оригинальная терминология Латура в итоге оборачивается вполне традиционным словарем социологии познания. Как показывает Д. Блур, «монады и энтелехии отходят на задний план, и мы остаемся с тем, что напоминает социальные связи, социальные практики, исторически ситуативную деятельность и даже привычно звучащие категории культуры»¹. Так что оригинальность «акторно-сетевого реализма» видна только тем, кто плохо информирован о сути деятельностного подхода к познанию, в котором значительно более корректно реконструируется континуум между субъектом и объектом. А потому и тезис о том, что сегодня онтология того или иного рода призвана «дополнить», а то и заменить эпистемологию, также недорого стоит. Ведь любая онтология есть всего лишь акцент на объектной стороне познавательного процесса, результат познания некоторой реальности, а грамотное изложение этого результата включает описание его исходных предпосылок, условий и методов получения, связи с другими результатами. Что же это, как не эпистемологический анализ научного знания?

Но у Латура, целиком погруженного в перипетии исследовательской лаборатории, нет времени и желания заниматься философией и понятийным анализом, тем более что он убежден в грядущем отмирании социально-гуманитарных наук. А нетребовательная публика глотает его сомнительные *конструкции* на тему «воскрешения вещей» точно так же, как еще недавно была захвачена *деконструкциями* и похоронами Бога, субъекта, науки и философии вообще.

Каков же социокультурный смысл того, что делает Латур? Это – своеобразная скрытая реклама безграничных возможностей прикладной науки («Дайте мне лабораторию, и я воздвигну мир» – гласит название одной из его статей), в которой личности ученого и его творческому мышлению практически не остается места. образу науки без субъекта и объекта – некой всепроникающей протоплазме – предстоит убедить налогоплательщиков во всевластии научных экспертов и неизбежности платить за все новые, в том числе ненужные и опасные изобретения.

¹ Bloor D. Anti-Latour // Stud. Hist. Phil. Sci., 1999. Vol. 30, No. 1. P. 98.



Представляется, что Латур использует метод презентизма, накладывая некоторые черты современной технонауки на историю науки в целом. Здесь он близок по духу апологетам технонауки как постнауки, отменяющей науку предшествующего типа. Это идет вполне в русле идеологии постгуманизма, согласно которой современный человек устарел и должен уступить место чуду Франкенштейна – созданию новейших технологий. В так понимаемой технонауке прежние человеческие ценности – разум, красота, добро, справедливость, творчество – занимают свое место наряду с электронными гаджетами, биостимуляторами, наноструктурами, мозговыми кодами и «черными дырами». Наука настолько плотно встраивается в материальное производство, что подчиняется промышленным критериям эффективности, теряет всякую самостоятельность и в перспективе как часть интеллектуальной культуры исчезает.

Кстати говоря, инициаторы нынешней реформы РАН опираются именно на такое же онтологизированное (пусть и значительно менее утонченное) представление о науке. Если наука производительная сила современного общества, то она-де должна покинуть сферу «надстройки» и стать частью системы материального производства. А потому и в модернизации фундаментальной науки следует использовать средства повышения эффективности, знакомые всем еще по эпохе европейской индустриализации (отделение труда от собственности, формализация управления, механизация и углубленное разделение труда (конвейер), интенсификация труда и сокращение персонала, превращение всех элементов науки в товар и проч.). Естественно, что при этом договариваться с субъектами реформирования бессмысленно: ученый понимается как «частичный рабочий», которому предписываются формы и методы труда, а для его оценки используются внешние критерии. Вот каковы явные и скрытые последствия «онтологического поворота», выдаваемого за последнее достижение философско-научной мысли.

Упоминание о Латуре не имело бы большого смысла само по себе, если бы он не был одним из наиболее известных критиков Эдинбургской школы (Д. Блур, Б. Барнс и др.). Его непонимание и непринятие сути этой концепции, а также соответствующая полемика имеет распространение и в российской философии, в основном среди старшего поколения. Меня очень радует, что интерес к социальной эпистемологии постепенно захватывает все более широкие круги, в том числе и молодых ученых; это свидетельствует об остроте поставленных проблем. И все же нужно более внимательно читать труды зарубежных философов, даже если они содержат что-то не всегда понятное. Для тех, кто еще не считает свои взгляды истиной в последней инстанции, порекомендую хотя бы уже упомянутую статью Блура, изучение которой может помочь в освоении нового материала. Критикам же социальной эпистемологии в ее российском варианте, чтобы избежать упрека в неосведомленности, стоит ознакомиться как минимум с трудами одноименного сектора Института философии РАН (свыше 20 индивидуальных и коллективных монографий за по-



следние шесть лет), хотя первые работы в этом направлении появились свыше четверти века тому назад².

Мои коллеги по сектору социальной эпистемологии и я сам не давали клятвы верности Дэвиду Блуру, хотя это очень приятный и умный человек, с которым у меня дружеские отношения. Я пытаюсь разрабатывать собственные подходы к социальной эпистемологии, поскольку это название не запатентовано и никто не имеет на него монополии. По крайней мере, его автор и также мой хороший знакомый Стив Фуллер никогда не предъявлял мне иска на этот счет. При этом целый ряд их положений и подходов представляются мне вполне приемлемыми.

Это относится, например, к тезису о том, что и истинные, и ложные убеждения (теории, концепции) следует анализировать одинаковым образом. Не нужно рассматривать истину только как результат совпадения с объектом, а заблуждение – только как продукт социальной иллюзии и ангажированности. Истина не бессубъектна, а заблуждение не безобъектно. Знания обоих родов – и истинные, и ошибочные – в равной степени обусловлены комплексом социально-культурных условий и обстоятельств. Использование понятия истины в *объяснении* того, как формируется знание, подставляет телеологию на место реальных социокультурных обстоятельств. Очевидно, что все это не имеет ничего общего с отказом разграничивать истину и ложь вообще, что любят приписывать Блуру.

Отсюда становится ясным отношение между объективностью научного знания и релятивизмом. Если выбор научной теории – дело вкуса, если эксперимент можно подтасовать, чтобы он подтверждал теорию, если в реконструкции истории науки главную роль играют корыстные или политические убеждения ученых, а не исследование своего предмета, то все это не релятивистская, а просто недобросовестная стратегия, хоть в науке, хоть в философии. Но если ученый, выдвигая или обосновывая идею, придумывая схему эксперимента, выступает не как гносеологическая абстракция субъекта, но апеллирует ко всему многообразию культурных ресурсов и при этом следует кодексу научной честности, то у него есть шансы получить объективное знание. Эпистемологический релятивизм, в понимании Блура, это максимальный учет всего многообразия условий познавательного процесса, включая, естественно, и предмет исследования. Это – наиболее объективный взгляд на познание.

Можно считать признанным понимание методологического и эпистемологического релятивизма как отказа от абсолютности философских категорий, научных законов, эмпирических данных, от кумулятивного развития знания³. Его сторонники подчеркивают нагруженность опыта теоретическими

² В статье, заказанной мне журналом «Social Epistemology» (главный редактор – С. Фуллер), я указываю на истоки российской социальной эпистемологии в трудах Е.А. Мамчур, Л.А. Марковой, Л.П. Микешинной, В.А. Лекторского, В.С. Степина, В.П. Филатова и др. См.: *Kasavin I. In the Former Soviet Union. Studies in Social Epistemology // Social Epistemology. 1993. № 2.*

³ См.: *Касавин И.Т. Релятивизм // Новая философская энциклопедия ; под ред. В.С. Степина, Г.Ю. Семигина. Т. 3. М., 2000. С. 442 [Kasavin, I.T. Relativism // The New Encyclopedia of Philosophy. Vol. 3. M., 2000. P. 442 (Russian)].*



интерпретациями, зависимость значения теоретических терминов от включенности в теоретические схемы, обусловленность теорий мировоззренческими системами и социальными конвенциями, функциональную и содержательную зависимость знания и сознания от деятельности и общения, прерывность и неравномерность познавательного процесса. В качестве выражения эпистемологического релятивизма нередко рассматривают принцип «лингвистической относительности» Э. Сепира–Б. Уорфа, тезис «онтологической относительности» У. Куайна, понятие «несоизмеримости» (Т. Кун, П. Фейерабенд) и др.

Я напоминаю эти общеизвестные факты, чтобы в очередной раз оправдать⁴ релятивизм, который даже для Ф. Энгельса был выражением естественного развития знания через «ряд относительных заблуждений». Блур также защищает методологический релятивизм, противопоставляя его позиции Латура, которую я бы вообще-то назвал «релятивизмом в дурном смысле». Ведь он не проводит различия между тем, как влияют на процесс и результат познания самые разные факторы – от понятий, математических моделей и приборов до наблюдателя, сообщества и природных объектов. Кстати, Блур в отличие от Латура не отвергает субъект-объектную схему познания и, даже указывая на многообразие ее интерпретаций, настаивает на ее плодотворности.

Соотношение индивидуального и коллективного познания – основание для разграничения классической и неклассической (социальной) эпистемологии (по С. Фуллеру, их символизируют соответственно фигуры К. Поппера и Т. Куна), а также различия между позициями Э. Голдмана⁵ и Блура. Последнего интересует познающий индивид только как представитель социального типа (сообщества), а знание – только в интересующей языковой или практической форме. Психология познания важна, но не может заменить эпистемологический подход, основанный на внешнем, объективном, социологическом исследовании знания «вне черепной коробки». Здесь Блур следует и Л. Витгенштейну, и Л.С. Выготскому в отрицании «приватного языка» и понимании знания как продукта коллективной деятельности и общения. Голдман противопоставляет этому свою концепцию, в которой главную роль играет отдельный индивид и нормативное построение его социальных практик на основе своеобразного понятия корреспондентной истины. Невнятность последнего показана многими авторами⁶, как и недостатки абстракции гносеологического субъекта, которой привержен Голдман. Поэтому его «социальная эпистемика» только *cum grano salis* может претендовать на статус социальной эпистемологии.

⁴ См.: Микешина Л.А. Релятивизм // Социальная эпистемология. Идеи, методы, программы. М., 2010 [Mikeshina L.A. 2010. Relativism // Social Epistemology. Ideas, Methods, Programs. M. (Russian)].

⁵ См.: Goldman A. Knowledge in a Social World. Oxford ; N.Y., 2003.

⁶ См.: Моркина Ю.С. «Веритистское» направление в социальной эпистемологии (Э. Голдман) // Эпистемология и философия науки. 2008. № 1 [Morkina J.S. 2008. A Veritistic Trend in the Social Epistemology // Epistemology & Philosophy of Science, issue 1 (Russian)].



Принципиальное различие Блура и Латура состоит в их оценке социально-гуманитарных и естественных наук. Блур отстаивает объективный статус и особую значимость социального знания, поскольку его предметом является фундамент всякой науки – научное сообщество. Латур предрекает конец «недонаукам» социально-гуманитарного цикла, коль скоро современная технонаука окончательно ляжет в основу всех общественных реалий. Апологеты НБИК сегодня могут взять идеи Латура на вооружение, но философам следует отнестись к ним критически.

Дефицит места вынуждает меня ограничиться сказанным, чего все же достаточно для иллюстрации моего главного тезиса: российская версия социальной эпистемологии достаточно близка культурно-исторической эпистемологии, хотя и не тождественна ей. А это на сегодняшний день самый адекватный подход к пониманию связи познания и культуры. Только самые неинформированные из наших критиков этого не понимают.

В философско-эпистемологической литературе релятивизм и конструктивизм обычно образуют оппозицию реализму, с чем связана взаимная критика. Характерным примером современной реалистической позиции является небольшая, но весьма амбициозная книга П. Богосяна⁷. Поскольку она написана в манере, напоминающей памфлет, то и за нами остается право посмотреть на нее сквозь иронические очки. Каковы же аргументы автора?

Он обрушивается на релятивизм в образе Б. Барнса и Д. Блура, которые отмечают, что для релятивиста нет никакого смысла противопоставлять действительно рациональные стандарты или убеждения тем, которые принимаются за таковые в некотором локальном контексте. Поскольку релятивист полагает, что не существует независимых от контекста или сверхкультурных норм рациональности, он не рассматривает убеждения, принимаемые рациональным или иррациональным образом, в виде двух отдельных и качественно различных классов вещей. Приводя эту фразу как заковыченную цитату, Богосян почему-то дает весьма странную для аналитика, любящего точность и ясность, ссылку сразу на 20 страниц текста, не желая, вероятно, рекламировать своих противников⁸. Однако важнее другое. Богосян называет это тезисом «равноценности» (equal validity) и иллюстрирует его высказываниями некоторых ученых, не считающих науку привилегированным способом видения мира (археолога Ларри Циммермана, например), а также мнением одного современного лидера американских индейцев племени лакота. Последний говорит следующее. «Мы знаем, откуда мы пришли. Мы потомки людей Буффало. Они пришли из глубин Земли после того, как сверхъестественные духи подготовили этот мир для жизни людей. Если неиндейцы выбирают для себя веру в то,

⁷ См.: *Boghossian P.A. Fear of Knowledge. Against Relativism and Constructivism.* Oxford : Clarendon Press, 2006. Этот автор малоизвестен в России, но в США он принадлежит к философскому истеблишменту, будучи профессором Нью-Йоркского университета (NYU).

⁸ Barry Barnes and David Bloor, “Relativism, Rationalism and the Sociology of Knowledge” // *Rationality and Relativism* ; ed. by M. Hollis and S. Lukes Cambridge, Mass. : The MIT Press, 1982. P. 21–47 (сноска сохраняет формат Богосяна).



что они произошли от обезьян, то да будет так. Я встречал даже пятерых из племени лакота, которые верят в науку и эволюцию»⁹.

Что называется, «на полном серьезе» Богосян противопоставляет этой точке зрения современный подход, согласно которому предки американских индейцев пришли из Азии через Берингов пролив, а вовсе не из глубин Земли. Тезис из мировоззрения американских индейцев (миф) призван в таком случае конкурировать с миграционной теорией происхождения индейских племен (историческая география и история), но ведь и у ученых в этих вопросах, кстати, расхождения категорически доминируют над единством, и «объективной истины» не знает никто. Поэтому в процессе академического образования следует знакомить и с мифами, и с научными теориями, пытаюсь найти в первых рациональное зерно и рассматривая вторые как достигнутый уровень знания в контексте альтернативных позиций и дискуссий. Хотя, может быть, для обучения американских бакалавров этот метод и не подходит...

Подчеркнем, что принципу «equal validity» Богосян приписывает изрядную наивность, хотя он говорит не о буквальном тождестве науки и ненауки, а о том, что их различие не абсолютно. Миф и наука являются равно состоятельными основами *исторических* типов мировоззрений, и хотя мировоззрения *различны*, они в каждую эпоху представляли определенную онтологию, являлись критериями истины, моральности, красоты, справедливости. Типы научности не меньше различаются от эпохи к эпохе (античная, средневековая, классическая, современная наука). Кеплер верил в астрологию, Ньютон – в математику, в сотворенность мира, в алхимию; сегодня верят в Большой взрыв. Не нужно поэтому реифицировать результаты сегодняшнего дня, не стоит всегда быть демонстративно современным. Ведь никогда не знаешь, из каких глубоких подземелий и пыльных чердаков культуры будет извлечена очередная великая истина. Если бы Коперник не поверил Филолаю, то он бы не пришел к гелиоцентризму – вопиющей ереси и одновременно точке роста науки своего времени.

Однако Богосян настаивает на своем. «Поскольку мы верим во все это (то, что индейцы пришли из Азии. – *И.К.*), то мы полагаемся на официальное мнение (deliverances) науки: мы приписываем ей привилегированную роль в том, чему учить детей в школе, что признавать доказательным в суде и на чем основывать наши социальные практики. Мы принимаем за факт то, что является истинным. Мы хотим соглашаться лишь с тем, в истину чего мы можем верить на твердых основаниях; и мы считаем науку единственным хорошим способом достижения рациональных убеждений в том, что есть истина, по крайней мере, в области чисто фактического. Следовательно, мы полагаемся на науку»¹⁰.

Итак, мы верим в «чистые факты», которые устанавливает наука в качестве истинных, а потому считаем науку лучшим видом знания и основой практики. Даже не хочется анализировать логическую структуру такой аргументации, очень напоминающую логический круг, свойственный именно вненауч-

⁹ Цит. по: *Boghossian P.A. Op. cit. P. 1.*

¹⁰ *Boghossian P.A. Op. cit. P. 4.*



ному знанию. А потом еще эта вера (belief) в факты? Ее эпистемический статус остается непроясненным. Она рациональна в силу истинности фактов, в которые мы верим? Так рациональна она или иррациональна?

Возникает впечатление, что автор, полемизируя с релятивизмом, путает (сознательно или в силу некомпетентности) скандальные и диффамирующие лозунги некоторых ученых с вполне корректными положениями философов; верит в науку, а веру считает рациональной; в итоге он слепую апологетику науки противопоставляет серьезному анализу науки как социокультурного феномена. Странно, но это не очень важно для человека, который является представителем мейнстрима аналитической философии.

Однако давайте попробуем разобраться, что же такое эта вера. Быть может, английское слово «belief» в большей степени соответствует русскому слову «мнение»? Богосян определяет его как ментальное состояние, у которого есть пропозициональное содержание, выражаемое суждением о некотором положении дел в мире; оно может быть оценено как истинное или ложное, а также как обоснованное или необоснованное, рациональное или иррациональное¹¹. Далее, Богосян оговаривается, что не является во всех случаях приверженцем «объективизма фактов» (fact-objectivist). Он сравнивает суждения космологии и морали, приходя к выводу, что первые объективны, а вторые субъективны.

Так, суждение «У Юпитера больше 30 лун» якобы основывается на объективных, независимых от сознания фактах и поэтому является истинным. Суждение же «чавкать макаронами неприлично» справедливо лишь для США и ошибочно для Японии, в которой приняты иные нормы поведения во время трапезы. И опять-таки высказывание «Деньги – вещь, не существующая вне сознания» констатирует объективный факт.

Замечая, что все наши пропозиции состоят не из камней и деревьев, а из понятий (Юпитер, луны, Солнечная система, тяготение и т.д.), Богосян должен признать, что в качестве абсолютного, независимого от сознания «факта» существует только неограниченное множество неких «объектов», о которых мы ничего не знаем, в том числе и то, что они являются объектами. Всякому астроному ясно, что звезды можно соединять в konstellation совершенно иначе, чем это делали древние наблюдатели, придумавшие известные созвездия. Требуется изрядная доля воображения, чтобы в небесном хаосе увидеть образы Стрельца, Водолея, Медведицы, Льва и проч. Аналогично и 30 лун Юпитера не существовали бы без людей, потому что именно люди создали Солнечную систему из совокупности видимых в небе мелких объектов. Без людей эти луны были бы неизвестно чем в неизвестном месте в неизвестном отношении неизвестно к чему. Имели ли бы они массу, скорость, орбиту и прочие качества, которые люди им приписали в силу определенных ментальных состояний (знаний, мнений, восприятий)? Едва ли. Еще недавно Плутон признавали планетой Солнечной системы. Сегодня его статус изменился, как и само определение планеты. Так что же существовало бы без людей? Об этом

¹¹ См.: *Boghossian P.A.* Op. cit. P. 10.



ничего нельзя сказать, поскольку у нас нет об этом никакого знания. Однако с объективным существованием неких (да, небесных, хотя не мешало бы уточнить отличие неба от Земли, ибо сама Земля – небесный объект) явлений и объектов скорее всего согласятся все вменяемые и хотя бы отчасти грамотные люди. В этом согласии и состоит единственная объективность, доступная человеку.

Едва ли не в большей мере, чем звезды и планеты, объективным существованием обладают деньги, субъективность которых почему-то подчеркивает Богосян. Конечно, если лишить нашу Солнечную систему Солнца, то мы наглядно убедимся в его объективности. Однако такой эксперимент нам провести не под силу. А вот с деньгами дело обстоит иначе. Достаточно лишить человека, существующего в обычных условиях, всякого денежного содержания, и он почти сразу убедится в объективной, т.е. независимой от сознания, природе денег. Не деньги зависят от нашего сознания, а мы целиком и полностью от их реального, никак не воображаемого наличия – такова объективная истина.

История с макаронами и чавканьем, конечно, совсем иного рода. И мы допустим вслед за Богосяном определенную правомерность морального релятивизма, поскольку в разных культурах разные нормы. Но здесь же возникает вопрос об отношении самого Богосяна к моральному спору о геноциде армян в 1915 г. Турецкие историки не считают избиение и депортацию армян из Турции геноцидом, обосновывая это тем, что в те времена доминировали другие моральные, культурные и политические нормы. А такого понятия, как «геноцид», вообще не существовало. Однако Богосян настаивает на приоритете самого факта физического уничтожения и изгнания вне зависимости от его конкретно-исторической социальной оценки: в основании морали, как оказывается, тоже лежат «упрямые факты»!¹²

В таких вопросах, как нам кажется, следует быть тоньше. Мы проблематизируем те или иные трагические события в истории не потому, что они имеют или не имеют места в действительности. Отношение к ним отличается от отношения к физическим фактам. Почему бы нам не вспомнить кровавую резню на Бородинском поле и не разорвать дипломатические отношения с Францией, если она не признает захватнической цели наполеоновского похода? Почему бы туркам не предъявить претензии грекам за Троянскую войну, если те не признают ответственности за убийство мирных горожан? Получается, что эти вопросы как-то отличаются от вопроса по поводу Холокоста, непризнание которого в наши дни означает банальное варварство и игнорирование международного права. Во всех подобных случаях важны не только и не столько физические факты (кто кого и в каком количестве уничтожил и т.д.), сколько санкционированная обществом моральная и юридическая оценка мотивов и характера деяния, производная от определенных национальных, культурных, политических интересов. В большинстве случаев она представляет собой наложение современных представлений на историческое событие, которое ра-

¹² См.: Fear of Terminology. An Interview with Paul Boghossian ; ed. by K. Mouradian // Aztag Daily. 2007. Sunday, June 3.



нее уже получило оценку, и тогда между собой начинают конкурировать две разные оценки. Как известно, единственным объективным основанием выбора между ними является intersubjective согласие. Сегодня большинство цивилизованных людей согласно по поводу геноцида армян и Холокоста, но, скажем, в отношении сталинских репрессий у российских граждан, как ни странно, до сих пор мнения расходятся. Поэтому чтобы установить истину в таких случаях, нужно не столько апеллировать к физическим фактам, сколько исследовать, каким образом некоторое социальное событие вписывается в доминирующую систему социальной легитимации. *Конструирование* такой системы (чему, кстати, во многом служат исследования историков) и есть способ обеспечить торжество исторической истины. Так что и в моральных вопросах не наивный реализм, а именно конструктивизм и релятивизм позволяют нащупать более верный путь рассуждения.

Однако недостаток релятивизма в том, что это явление равно интеллектуально и идеологически нагруженное, возникшее в постколониальную эру, обнаруживает Богосян. Прекрасно, он понял смысл социальной эпистемологии, рассматривающей все убеждения в социально-культурном контексте. Но тогда и реализм нелишне проверить на предмет идеологичности. Ведь свойственный ему сциентизм фактически легализует власть научных экспертов и третировать простых людей, которые, будучи невежественным стадом, не в состоянии самостоятельно установить научные факты. Сциентистский реализм удобен власти и бизнесу, у которых все права на истину, поскольку им принадлежат институты ее установления (университеты, исследовательские центры). Ее можно догматизировать и больше не заботиться о доказательствах. И автор недаром вспоминает о колониализме, только недоговаривает по поводу его современного воплощения. Ведь именно такова американская политика – доказывать всем, что нужно следовать американскому диктату, поскольку он основан на истине, морали и справедливости.

Еще одна мишень критики Богосяна – феминистская эпистемология, разделяющая многие положения с эпистемологией социальной. Он приводит следующий пассаж как выражение ее порочных философских склонностей, выраженных в тезисе «социальной зависимости знания» (social dependence of knowledge – термин Богосяна¹³), тесно связанном с социальным конструктивизмом. «Феминистские эпистемологи, в согласии со многими другими течениями современной эпистемологии, более не считают знание нейтральным и прозрачным отражением независимо существующей реальности, с истиной и заблуждением, устанавливаемыми трансцендентными процедурами рациональной оценки. Скорее, большинство согласно в том, что всякое знание ситуативно (situated) и отражает положение субъекта, производящего знание в определенный исторический момент в данном материальном и культурном контексте»¹⁴. Что же противопоставляет этому Богосян?

¹³ См.: *Boghossian P.A.* Op. cit. P. 5.

¹⁴ *Lennon K.* Feminist Epistemology as Local Epistemology // Proceedings of the Aristotelian Society. 1997. Supplementary Vol. 71. P. 37.



«Я подчеркивал влияние, которое конструктивистские идеи демонстрируют в гуманитарных и социальных науках. Но есть одна гуманитарная дисциплина, в которой они занимают весьма слабые позиции, и это сама философия, по крайней мере та, что практикуется в рамках мейнстрима аналитических кафедр философии в рамках англоговорящего мира»¹⁵. Очевидно, что автор чувствует себя обязанным встать на защиту этого самого «аналитического мейнстрима философских кафедр в рамках англоговорящего мира». Вот чей социальный заказ он выполняет, хотя его позиция самоидентифицируется как нейтральная и социально ненагруженная. Впрочем, в отчуждении этого мейнстрима от остальных гуманитариев им резонно видится источник «science wars», в которых столкнулись самые праведные аналитики и остальные гуманитарии (среди них Л. Витгенштейн, Р. Карнап, Р. Рорти, Т. Кун, Х. Патнэм и Н. Гудмен). Последних Богосян с большой натяжкой объявляет постмодернистами. Как видно, конкуренция на «мейнстримовских кафедрах» настолько сильна, что заставляет потеснить сторонников самих основоположников аналитической философии с целью предоставить место Богосяну и ему подобным.

Чтобы эффективно критиковать своих противников, их нужно оглушить. Именно так и поступает Богосян. Тезис социальных эпистемологов о социальной познания он подменяет тезисом о его «социальной зависимости», причем зависимость истолковывается исключительно как обусловленность социальными потребностями и интересами. Но уже само название ранней книги Д. Блура («Knowledge and Social Imagery», которое я перевожу как «Знание и социальная образность») говорит о другом. Социальность мыслится в рамках Эдинбургской школы как сложный конгломерат социокультурных факторов, включая идеологию, мировоззрение, повседневность, образовательные и коммуникативные практики и другие феномены культуры. Они оказывают влияние на науку и снабжают ее культурными ресурсами мышления и деятельности, делая ее явлением конкретной культуры, данного общества и определенной исторической эпохи. Этому взгляду Богосян противопоставляет «три тезиса объективизма». Протицируем их целиком.

«Объективизм касательно фактов: мир, который мы стремимся понять и познать, есть нечто в большей части независимое от нас и наших мнений (beliefs) о нем. Даже если бы мыслящие существа никогда не существовали, мир все же обладал бы многими из тех качеств, которые он в данный момент имеет.

Объективизм касательно обоснования (justification): факты такой формы как “информация E обосновывает мнение B” суть факты, независимые от общества. В частности, то, что некая единица информации обосновывает или не

¹⁵ *Boghossian P.A.* Op. cit. P. 7. При этом «within» повторено самим Богосяном дважды, более того, данная фраза воспроизводится на той же странице с небольшими вариациями. Здесь дурная стилистика выдает идеологию инкапсулированности.



обосновывает данное мнение, никак не зависит от случайных (contingent) потребностей и интересов какого-либо сообщества.

Объективизм касательно рационального объяснения: при подходящих обстоятельствах исключительно наше обращение (exposure) к данным опыта (evidence) способно объяснить, почему мы верим в то, во что верим (believe)»¹⁶.

Что касается объективизма фактов, то это наиболее компромиссно звучащий тезис, с которым вроде бы можно и согласиться. Однако он лишен эпистемологического содержания, поскольку не дает основания для разграничения явлений объективного мира и феноменов мира человека. Ведь все факты, как и теории, образы, суждения, понятия, обязаны человеку и никак не тождественны реальному миру. Это только у раннего Витгенштейна мир состоит из фактов, но ведь Богосян с ним не согласен, и правильно делает, поскольку «факты» «Трактата» нужно понимать в контексте идей Д. Юма, И. Канта и Б. Рассела периода логического атомизма.

А.Л. Никифоров, критикуя подобную позицию, замечает: «Предмет есть результат интерпретации воздействий на нас внешнего мира с помощью органов чувств и знаний, воплощенных в смысле языковых выражений... Предполагать, будто вне и независимо от нас существуют предметы с многообразными – известными и неизвестными нам – свойствами и наше знание лишь с той или иной степенью полноты и точности отображает и описывает эти предметы, по-детски наивно»¹⁷.

И напротив, «объективизм обоснования» – тезис значительно более сильный. «Информация», «обосновывает» и «мнение» суть, по Богосяну, явления природной реальности, существующие вне человечества и отдельного индивида, поскольку он представляет собой часть общества. Главное, что общество сводится к интересам и потребностям, а вся совокупность социальных институтов науки, права, морали, СМИ и т.п. начисто игнорируется. За пределами внимания оказывается вся обширная проблематика взаимосвязи логики и риторики, науки и политики, обоснования и убеждения¹⁸. Поэтому Богосян конструирует даже не попперовский «третий мир» и не платоновский топос нозтос, а какую-то фантазмагорию витающих в безлюдном космосе, подобно астероидам, онтологизированных фрагментов процесса обоснования.

И, наконец, объективизм рационального объяснения – это удивительный апогей индуктивистского эмпиризма. Неужели некие чистые факты и в самом деле лежат в основе наших мнений и заставляют верить в их истинность? Боюсь, что сфера таких фактов очень узка. Сидя за рулем американского «крайслера» и увидев крохотный силуэт двигающегося навстречу грузовика «фред-

¹⁶ Boghossian P.A. Op. cit. P. 22.

¹⁷ Никифоров А.Л. Структура и смысл жизненного мира. М., 2012. С. 74 [Nikiforov, A.L. The Structure and Meaning of the Life World. М., 2012. P. 74. (Russian)].

¹⁸ См., например: Eemeren F.H. van, Grootendorst R. Speech Acts in Argumentative Discussions. Dordrecht : Foris, 1984; Audi R. Practical Reasoning. N.Y.: Routledge, 1989; Wright G.H. von. On So-Called Practical Inference // Acta Sociologica. 1972. № 15; Rescher N. Plausible Reasoning. Assen : van Gorcum, 1976.



лайнера», я бы не поверил своим глазам и допустил бы, что грузовик вовсе не игрушечный и лучше с ним разойтись. Я бы не рекомендовал Богосяну есть удивительно аппетитные американские гамбургеры: это всего лишь глютамат натрия. А получая зарплату, я бы на его месте вместо долларов требовал золото: ведь американские деньги в особенности, как он сам убеждает нас, лишены подлинной реальности, они всего лишь плод нашего сознания. Впрочем, «факты» вовсе не такие уж чистые, поскольку берутся в «подходящих обстоятельствах» (контексте?). Так что эта оговорка вполне приближает Богосяна к критикуемой им позиции, согласно которой факты конструируются в определенном теоретическом и культурном контексте.

Догматическая позиция, состоящая в нежелании (неумении?) совмещать объективизм и релятивизм, реализм и конструктивизм и строить тем самым более богатый и адекватный образ познания, напоминает идейную платформу марксистов-ленинцев, отстаивавших «теорию отражения» и «материалистическую диалектику». Мейнстриму аналитических философов еще предстоит отказаться от некоторых обветшавших «верований» и прийти к более гибкой и сбалансированной эпистемологии, включающей не статичного, абстрактно-гносеологического, а социально-исторического субъекта. Если пренебречь амбициями, то пример тому можно поискать и в англосаксонском мире, и даже в России.

Так, В.А. Лекторский, характеризуя позицию конструктивного реализма, пишет: «Я во всех своих ипостасях, в том числе и в качестве познающего, может быть понято как существующее исключительно в социальных коммуникациях, т.е. как продукт и одновременно условие социально-культурного конструирования. Это не означает, что субъективная реальность и Я фиктивны. Нет, они вполне реальны, однако это особый тип реальности. Ведь реальность вообще неоднородна. Это не только атомы и электроны, но и деревья, скалы, столы и стулья. Это не только предметы, но и их тени, не только вещи, но и события и процессы. Я, субъективность и познание относятся к реальности особого типа: реальности коммуникативной»¹⁹.

Обвиняя сторонников релятивизма и конструктивизма в боязливости или трусости (fear), чему служат названия его работ («Боязнь знания», «Боязнь терминологии»), Богосян не должен удивляться, если его собственную позицию обозначат как «Отвагу глупости». Этим можно было бы отчасти даже гордиться. Ведь сказано: «Тот, кого некое событие повергает в отчаяние, есть трус, но кто сохраняет надежду на человеческую природу, тот дурак» (Альбер Камю).

¹⁹ Лекторский В.А. *Философия. Познание. Культура*. М., 2012. С. 230 [Lektorsky, V.A. *Philosophy. Cognition. Culture*. M., 2012. P. 230 (Russian)].



СОЗНАНИЕ, ОРГАНИЗМ И ОБЪЕКТИВАЦИЯ ЛИЧНОСТИ¹

Сергей Михайлович Левин – преподаватель кафедры гуманитарных наук НИУ ВШЭ. E-mail: serg.m.levin@gmail.com

В статье поднят вопрос о том, на какой вид объектов мы указываем, когда используем личные местоимения и имена собственные. Автор систематизирует наиболее известные теории тождества личности в соответствии с тем типом предметов, в зависимости от которого, согласно теории, находится тождество нашей личности. Демонстрируются затруднения, к которым приводят попытки приравнять сущность, которую мы называем «я», к таким понятиям, как сознание или организм. В конце статьи рассматриваются теоретические перспективы изменения метафизического статуса понятия личности, а именно отнесения личности к классу модификаций предметов. Предложенный подход можно оценить как компромисс между менталистскими и материалистическими интерпретациями личности.

Ключевые слова: метафизика, тождество личности, анимализм, субъект, личность.

MIND, ORGANISM AND AN OBJECTIFICATION OF PERSONS



Sergey Levin – lecturer, National Research University Higher School of Economics.

The paper raises the question: what kind of object do we refer to using proper names and personal pronouns? The author starts with a general review and the comparison of theories of personal identity. These theories are systematized according to the type of object they identify as a person. It is demonstrated that there appear insurmountable difficulties as one tries to identify the self with a mind or an organism. It is suggested that instead of considering an entity that we call «I» as being a mental or a material thing we should rather consider it as a modification of a thing. Such an approach may be seen as a middle ground between mentalist and materialist interpretations of personal identity.

Abandonment of the idea of a person as some physical or 'mental' thing doesn't mean we have to completely eliminate persons from ontology and see them only as narrative construct as some philosophers like D. Dennet do. Rather it is an attempt to explain the nature of being a person outside of the boundaries of austere nominalism. If we agree to include in our ontology something besides concrete particles, then it is possible to choose different metaphysical category for our personhood. As soon as we stop considering an entity we call 'I' as a particular thing, and rather as something else, we would have to rethink the identity conditions for persons. The notion of a person could fall into wide range of categories, it could be a relation, a property or, as we argue, a special sort of modification of an organism. A wrinkle on the carpet is not some distinct thing existing above the carpet, but a modification of carpet. And a person is not some distinct thing over and above its body or organism, but a modification of a special sort. Our organism may have huge amount of modifications apart of being a person, though the latter one is a most important for us, because we are such modification. An organism may survive without some of its modifications, e.g. without scars or haircuts, and with external medical help an organism may survive

¹ Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 13-06-00902.



without being person. In the article I show how the problem of personal identity disappears in various real situations and thought experiments if we begin to understand persons as a modifications of organisms.

Key words: metaphysics, personal identity, animalism, subject, person

Люди склонны объективировать явления, которые могут быть названы неким существительным независимо от того, стоит ли за этими явлениями реальный предмет. Эту склонность можно считать одним из интуитивных оснований метафизического реализма относительно универсалий. Обсуждая любое качество, вид, отношение, мы можем говорить о нем как о существительном. Например, вместо фразы «скромные люди добиваются успеха» мы можем сказать «скромность – залог успеха». Чтобы фразы, в которых в роли подлежащего выступают существительные, указывающие на некоторое свойство, могли быть в принципе истинными, по мнению реалистов, мы должны расширить нашу онтологию и помимо самоочевидного для здравого смысла существования отдельных предметов постулировать также существование универсалий. Иначе, согласно реалисту, фраза «скромность украшает человека» будет бессмысленной.

Теории тождества личности – это та область философии, где тенденция к объективации весьма влиятельна. Говоря «Я, Сергей Левин, поставил лайк», мы можем подразумевать, что личное местоимение «я» и имя «Сергей Левин» указывает на один и тот же предмет, имеющий место в мире, – на мою личность. Проблема природы и сущностных свойств личности в современной философии преимущественно обсуждается как проблема тождества личности. Почти в любой статье на эту тему вопрос «что такое личность?» прямо переводится как вопрос «что позволяет личности оставаться самотождественной с течением времени?». Предполагается, что мы должны найти такой критерий, согласно которому могли бы определить в каждом случае, пережила ли некая конкретная личность рождение, взросление, смерть, полную амнезию, частичную пересадку мозга, обмен телами и, наконец, телепортацию на Марс. В этих мыслительных экспериментах мы должны объяснить, как реальные или воображаемые события ведут к исчезновению или сохранению того объекта, который мы называем словами «личность», «субъект», «я», «ты», «она», «он». Под сохранением понимается не то, что объект останется *таким же* (качественное тождество), каким был, но что это будет *тот же* объект (нумерическое тождество). При этом реальные или воображаемые случаи трансформации личности имеют равноправный эвристический статус. Неважно, сможем ли мы когда-нибудь телепортироваться на Марс: если только допускается такая логическая возможность, то ее анализ потенциально позволяет сказать об условиях выживания личности ровно столько же, сколько и вполне реальная операция по рассечению мозолистого тела.

Среди принятых ответов на вопрос об условиях сохранения личности можно условно выделить три группы: менталистскую, материалистическую и элиминативистскую. Разделение теорий тождества личности на противоположные по духу менталистские и материалистические группы довольно стандартно и его под разнообразными именами можно встретить у самых разных



авторов². Указанное разделение зависит от того, что именно его сторонники считают определяющим для выживания личности. При этом сторонники всех трех групп будут сводить вопрос о тождестве личности к вопросу о предметной объективации личности. Разница заключается в природе этого предмета и в том, что, согласно менталистам и материалистам, такой предмет существует, а согласно элиминативистам, не существует. Менталистские теории ставят во главу угла такие вещи, как сознание, душа, перспектива первого лица, память или психологическая непрерывность. Свое обращение к ментальным объектам для определения тождества личности они мотивируют тем, что для нас наиболее важно в других людях, а самым важным в человеке, по их мнению, является тот или иной аспект его «внутренних» свойств. К сторонникам менталистской теории тождества личности можно отнести Дж. Локка, С. Шумейкера, Т. Нагеля и др. Согласно материалистическим теориям, за сохранение личности отвечают такие вещи, как тело, организм или мозг, т.е. предмет, который имеет более или менее выраженные пространственно-временные границы. К сторонникам физической теории тождества личности можно отнести таких авторов, как П. Сноудон, Э. Олсон, П. Инваген и др. Объединяет сторонников первой и второй группы то, что они объективируют личность посредством приравнивания ее к какому-либо ментальному или физическому предмету. В зависимости от того, какой предмет выбран в качестве субстрата личности, изменяются и условия сохранения тождества личности.

Несколько в стороне стоят элиминативистские теории тождества личности, для которых не существует реального объекта референции слов «личность» или «я». В строгом онтологическом смысле личности не существует, она есть лишь феноменологический или нарративный конструкт. Дэниел Деннет считает, что за тождеством личности не стоит ничего, кроме нарративной идентичности героя истории. Мы лишь сочиняем про себя и других людей истории, в которых выступаем главными героями. Про каждого из нас можно написать сразу несколько правдивых историй, важно лишь, что ни в одной из этих историй герой не будет более реален, нежели в другой³. Элиминативистские теории не будут детально рассматриваться в нашей статье, однако как опцию их следует иметь в виду при анализе излагаемых в статье проблем. К сторонникам элиминативистских теорий тождества личности можно отнести Д. Юма, Т. Метцингера, Д. Деннета и др.

Не все известные теории личности укладываются в рамки предложенной типологии. К примеру, И. Гаспаров предложил считать личность самостоятельной субстанцией в широком «аристотелевском» смысле этого слова⁴.

² См.: Винник Д.В. Метафизические основания и эмпирические критерии тождества личности // Философия науки. 2007. № 2 (33). С. 116; Robinson D. Human Beings, Human Animals, and Mentalistic Survival // D.W. Zimmerman. Oxford Studies in Metaphysics. N.Y. : Oxford University Press, 2007. Vol. 3. P. 3.

³ См.: Деннет Д. Почему каждый из нас является новеллистом // Н.С. Юлина. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета. М., 2004.

⁴ См.: Гаспаров И. Парфит и нигилизм относительно тождества личности // Analytica. 2007. № 1. С. 30–36.



Можно вспомнить теорию Дональда Вильямса, согласно которой Я указывает на индивидуальное свойство (троп)⁵. Предложенная в статье теория также не попадает однозначно ни в одну из перечисленных групп: мы утверждаем, что личность это не ментальный или материальный предмет, а модификация подходящих для этого материальных предметов. Однако прежде чем перейти к изложению своих взглядов, проанализируем трудности, вытекающие из попыток опредмечивания личности.

Классическое определение личности, данное Дж. Локком, звучит так: «Личность есть разумное мыслящее существо, которое имеет разум и рефлексию и может рассматривать себя как себя, как то же самое мыслящее существо, в разное время и в различных местах только благодаря тому сознанию, которое неотделимо от мышления...»⁶ В пользу менталистской интерпретации этого определения говорит подчеркивание в нем роли сознания и его направленности на самого себя в прошлом, настоящем и будущем. Локк в качестве критерия тождества личности выбрал память – личность остается сама собой до тех пор, пока она помнит свою жизнь. В результате известных замечаний Т. Рида и Дж. Батлера критерий памяти для тождества личности был преобразован в критерий психологической связанности, гласящий, что личность остается сама собой, если весь доступный ей опыт связывается отношением транзитивности: ты это ты, если твои сегодняшние переживания идут постоянной чередой от самого детства, пусть даже сегодня из детства не осталось никаких воспоминаний. В случае амнезии и утраты всякой психологической связи с прошлым личность исчезает. Большинство теорий тождества личности менталистского толка сегодня представляют собой тот или иной вариант теории психологической связанности. Мы упоминаем менталистские теории как более общий тип по отношению к теориям психологической связанности для того, чтобы учитывать философские концепции, согласно которым субъект опыта существует не как факт психологический, а, допустим, как факт трансцендентальный.

Преимуществом менталистских концепций можно назвать то, что их критерии тождества личности во времени совпадают с теми психологическими качествами человека, которые наиболее важны для нас в себе и других людях. Хотя порой людей могут больше заинтересовать те или иные физические характеристики другого человека вплоть до их фетишизации, люди, как правило, считают, что ядро личности заключается в сумме ее психологических особенностей. По мнению М.А. Секацкой, значение, которое мы придаем психологическим качествам человека, вкупе с нашим незнанием того, как именно психологические характеристики производятся мозгом, приводит к наделению этих качеств самостоятельным онтологическим статусом⁷. Из-за отделения факта существования ментальной жизни от факта существования произ-

⁵ См.: *Williams D.C. The Elements of Being I // Review of Metaphysics. 1953. № 1. P. 18.*

⁶ *Локк Дж. Соч. В 3 т. Т. 1. Опыт о человеческом разумении. М., 1985. С. 387.*

⁷ См.: *Секацкая М.А. Тождество личности как онтологический факт: возражение Дереку Парфиту // Эпистемология и философия науки. 2013. № 3. С. 81–82.*



водящего ее тела сторонники менталистских концепций уверены, что у личности может быть жизнь после смерти принадлежащего ей тела. Так, согласно теории психологической связанности, в случае телепортации (уничтожения тела в одном месте и воспроизведения его точной копии в другом) наше сознание сохранится и, следовательно, мы не погибнем, несмотря на тотальную аннигиляцию всех клеток организма, вошедшего в кабину телепортатора.

Основное затруднение для всякой менталистской теории в контексте темы нашей статьи заключается в том, что невозможно найти ментальный объект, которым является личность, не принимая основного постулата субстанциального дуализма. Но даже принятие такого постулата не избавило бы менталистов от всех затруднений, так как критерии тождества самостоятельной ментальной субстанции еще более проблематичны, чем критерии тождества объекта материального. У них не было бы другого способа идентификации сознания, кроме указания на ту личность, которой оно принадлежит. Как пишет П. Стросон, «что может значить выражение “то же сознание”, кроме как “сознание той же личности?”»⁸. Менталисты, признающие дуализм субстанций, попадают в замкнутый круг. Они хотели бы показать, как тождество нашей личности завязано на тождестве нашего нематериального сознания (души), но для идентификации последнего у них нет иных способов, кроме обозначения принадлежности сознания конкретной физической личности.

Мало кто из менталистов готов сегодня согласиться с тем, что наше сознание – это вещь, состоящая из нематериальной субстанции и не подчиняющаяся физическим законам. Но что же тогда «переносится» при телепортации? Помимо тела переносится и личность как объект, состоящий из набора психологических свойств⁹, которые могут включать в себя не только воспоминания, но и базовые когнитивные способности, такие, как способность быть в сознании¹⁰. Это заставляет современных менталистов признать, что наша личность может существовать только благодаря существованию некоторого материального носителя, это в свою очередь приводит к проблеме «слишком большого числа мыслителей» (The Too-Many-Thinkers Problem)¹¹. Проблему можно сформулировать следующим образом: если моя личность – это сознание, существующее в моем организме, и мое сознание – это объект, отличающийся от моего организма, тогда либо мой организм неразумен, либо в пространственно-временном отрезке, занимаемом моим организмом, присутствуют сразу

⁸ *Strawson P.F. Self, Mind and Body // P.F. Strawson. Freedom and Resentment and Other Essays. L. : Routledge, 2008. P. 192.*

⁹ Оттого что объект конституируется свойствами, а не частями, он не перестает быть самостоятельным предметом. Но такая самостоятельность возможна при подспудном признании «пучковой» теории (bundle theory) предметов, заключающейся в том, что каждая вещь состоит не из отдельных частей, а из отдельных свойств. См.: *Loux M.J. Substance and Attribute. Dordrecht : Reidel, 1978. P. 121–139.*

¹⁰ Способность к сознательному опыту Т. Негель называет одним из условий присутствия личности. См.: *Nagel T. The View from Nowhere. N.Y. : Oxford University Press, 1986. P. 41.*

¹¹ См.: *Olson E. The Human Animal: Personal Identity Without Psychology. N.Y. : Oxford University Press, 1997. P. 100–109.*



два разумных существа, которые кардинально отличаются друг от друга по своей метафизической природе.

Лучшим решением, по мнению теоретиков материалистического подхода к личности, является отказ от менталистских критериев и приравнивание личности не к ментальному, а к физическому объекту. По поводу того, что это будет за объект, в «материалистическом лагере» существуют большие расхождения, однако консенсус состоит в том, что такой объект есть. Питер Инваген пишет по этому поводу, что «материалист, который не отрицает, что я и другие личности существуют, подписывается под тезисом об идентичности себя и *какой-нибудь* материальной вещи»¹². Кандидатов на такую вещь довольно много: головной мозг, тело, организм и др. Чтобы не обсуждать все материалистические теории сразу, остановимся только на одной – анимализме в редакции Эрика Олсона¹³. На наш взгляд, среди материалистических теорий тождества личности эта теория наиболее последовательна и бескомпромиссна. Олсон полагает, что главный фактор выживания личности – это выживание ее организма (животного), самоидентичность которого определяется благодаря сохранению стволовой области мозга (*truncus encerephali*), так как эта область регулирует базовые физиологические потребности тела, такие, как биение сердца, дыхание, сон и прием пищи. Олсон утверждает, что даже при повреждении или удалении у человека коры головного мозга, но сохранении стволовой области человек останется тем же животным, которое будет способно (разумеется, не без помощи других) к продолжению своей биологической жизни. Про людей, находящихся в состоянии «овоща», питание которых осуществляется через специальную трубку, он пишет следующее: «Человеческий овощ кажется тем же самым животным, что и то человеческое существо, которое однажды было рациональным и разумным, так как его биологическая жизнь никогда не прекращалась»¹⁴. Главное отличие Олсона от многих материалистов заключается в том, что он не считает, что нам нужна кора головного мозга для сохранения тождества нашей личности, поэтому его нельзя упрекнуть в латентном ментализме. Ведь если мы подразумеваем, что для тождества личности обязательно нужен целостный головной мозг, мы уступаем менталистам, так как мозг главным образом важен как носитель психологических качеств.

Привлекательность анимализма заключается в том, что он позволяет фиксировать референцию личных местоимений на предмете, который явно и непосредственно связан с нами, а в определении этого предмета анималисты могут обращаться не к метафизическим, а научным критериям. Вопросы о том, что называть организмом и каковы условия его сохранения, анималисты хотели бы полностью отдать на откуп биологам. Последнее обстоятельство анима-

¹² См.: *Inwagen P.* What Do We Refer to When We Say “I”? // *The Blackwell Guide to Metaphysics.* Oxford : Blackwell Publishers, 2002. P. 180.

¹³ Наиболее подробную статью, посвященную анимализму, на русском языке см.: *Чирва Д.В.* Одинокое животное. Биологический подход к тождеству личности // *Вестник Санкт-Петербургского университета.* Серия 6. 2012. № 4.

¹⁴ *Olson E.T.* Was I Ever a Fetus? // *Philosophy and Phenomenological Research.* 1997. № 1. P. 106.



листы всячески подчеркивают, так как оно, по их мнению, переводит проблему тождества личности из разряда проблем метафизических в разряд проблем эмпирических. Однако для принятия своего самого фундаментального решения о том, что я – это мой организм, анималист не может апеллировать к биологии или любой другой науке. А само это решение влечет за собой массу контринтуитивных следствий. Пока мы остановимся только на том простом, что бывают ситуации, когда человеческий организм есть, а личности уже, еще нет или вообще нет. Порок утробного развития анэнцефалия приводит к тому, что плод созревает без коры головного мозга. После рождения он не способен ни к какой мыслительной деятельности, у него отсутствует всякая возможность обладать сознанием, он не чувствует боли. У анэнцефалов бьется сердце, они могут питаться и дышать, с последним, однако, возникают частые перебои. При этом у анэнцефалов имеется стволовая область мозга, как раз та часть, которую Олсон считает главной для сохранения тождества организма и соответственно личности. 95 % матерей принимают решение об аборте, когда узнают о диагнозе. Среди появившихся на свет 55 % уже мертвы, а остальные 45 % рождаются буквально в процессе умирания, который длится от нескольких минут до нескольких дней. Рекордсменом продолжительности стала девочка, появившаяся в США в 1992 г. и умершая спустя 2 года и 171 день. Это стало возможным благодаря религиозному рвению матери, считавшей, что «всякая жизнь священна», и неоднозначному решению суда, из-за которого врачи были вынуждены бесплатно оказывать экстренную медицинскую помощь – искусственно вентилировать легкие анэнцефала каждый раз, когда в этом возникала потребность. Статья профессора анестезиологии, посвященная этому случаю, из которой мы почерпнули перечисленные сведения, имеет говорящее название «Достопримечательный случай бесполезной заботы»¹⁵. Очевидно, что такой организм не подпадает под локковское определение личности. Да и согласно критерию Олсона, перед нами «биография» жизни организма, но не личности. Можно сказать, что для появления и сохранения личности требуется нечто большее, чем появление и сохранение организма.

Получается, что у анималиста тождество личности зависит от фактора, который никак не гарантирует присутствие того, что мы подразумеваем под личностью. Неудивительно, что для Олсона личность – это привходящее свойство организма, а то, что мы называем личным местоимением «я», – это не личность, это организм, который отвечает за тождество личности, но не есть личность. Он пишет: «Эмбрион просто становится личностью так же, как он становится позднее музыкантом или философом»¹⁶. Если личность – привходящее свойство организма, то можно было сказать, что анимализм не приравнивает личность к какому-либо предмету – организму. При этом Олсон утверждает, что референтом личного местоимения «я» будет мой организм, но местоимением «я» как раз и принято называть свою личность. Это ведет к

¹⁵ См.: Doyle D., Baby K. A Landmark Case In Futile Medical Care // Webmed Central Medical Ethics. 2010. № 1. P. 2.

¹⁶ Olson E.T. Op. cit.



парадоксальному выводу о том, что вы необязательно личность, так как, говоря «я» или «Сергей Левин», мы указываем не на свою личность, а на свой организм, который вполне может обойтись без моей личности. Мы согласны с тем, что мой организм может обойтись без моей личности, но я сам не могу обойтись без своей личности как без своего определяющего качества. Да, я могу не быть философом, но я не могу не быть личностью, при этом оставаясь самим собой, так как «моя личность» и «я» имеют один и тот же референт. Анимализм сообщает нам, что за словом «я» стоит совсем не личность, а организм со своими критериями тождества, и, таким образом, эта теория подменяет проблему тождества личности проблемой тождества наиболее подходящего на эту роль материального предмета – организма.

Рассуждения о том, чем является денотат местоимения «я», не вызваны тем, что центральный вопрос для нас – это вопрос о механизмах референции личных местоимений и имен собственных. Начиная с середины XX в. в философии существовали попытки при помощи средств концептуального анализа языка преодолеть классическое разделение на субъект и объект. В предварительных материалах к «Философским исследованиям» Витгенштейн выделяет два типа использования личного местоимения «я» – субъективное и объективное. Первый тип указывает на субъективные переживания, а второй на личность как на конкретное тело, имеющее свои физические характеристики¹⁷. Однако разница в референции не означает, что существуют два самостоятельных предмета, она означает лишь, что перед нами два различных способа использования лингвистических инструментов в повседневной языковой игре.

Специфика употребления местоимения «я» не влечет за собой никаких онтологических следствий, а даже если такие следствия и имелись бы, они выходят за границы нашего исследования. Мы не обсуждаем семантические особенности отсылки к личности в том или ином языке. В разных контекстах «я», как и большинство других слов, может употребляться по-разному. Если Сергей играет сам с собой в шахматы, то его фраза «следующим ходом я съем коня» может быть справедливо интерпретирована как то, что Сергей сейчас совершит некий ход в рамках установленных правил, и «я» будет указывать на его личность как субъекта этого действия. Но также это высказывание может быть интерпретировано так, что «я» относилось к озвучиванию воображаемых мыслей черного слона, который вот-вот встанет на клетку Е5, где до этого был белый конь. Примеры, в которых «я» не является референтом собственной личности, можно множить, но ни один из них ничего не добавляет к пониманию личности, так как «я» – только способ обозначения своей личности, но не сама личность. В конце концов можно вообще обойтись без личных местоимений и всегда называть себя только по имени, как это часто делают маленькие дети. Мы не проясняем, какими способами можно указывать на свою и чужую личность. Наша задача состоит в том, чтобы обнаружить такой онтологи-

¹⁷ См.: *Витгенштейн Л.* Голубая и коричневая книги: предварительные материалы к «Философским исследованиям». Новосибирск, 2008. С. 99–109.



ческий статус личности, который, не отождествляя их ни с ментальными, ни с материальными объектами, позволял бы признать личности реальными сущностями.

Можно ли так решить проблему личности, чтобы она сочетала плюсы как менталистского, так и материалистического подхода? Поиск серединного пути в определении личности вещь не новая¹⁸. Стремление найти теорию, которая обладала бы плюсами как менталистских теорий, так и материалистических, легко объяснить тем, что материалисты хотя и обладают прозрачной онтологией, но говорят о тождестве предметов, которые сами по себе не выглядят личностями и *vice versa*. Мы считаем, что ключом к решению проблемы является отказ от объективации личности в каких-либо единичных или множественных вещах. Ведь наша онтология не обязательно ограничивается только индивидуальными предметами или веществами, она может включать в себя еще свойства, отношения, виды, законы, события, модификации и другие сущности. Некоторые философы уже предлагали альтернативы предметной объективации личности – в начале статьи упоминались концепции И. Гаспарова и Д. Вильямса, мы же предложим считать личностью модификации подходящих материальных предметов.

Прояснить, как существуют модификации предметов вообще и личности, понятия как модификации, в частности, можно, сказав несколько слов о существовании самих предметов. Как пишет П. ван Инваген, общепринятой точкой зрения является то, что в мире существует множество индивидуальных предметов¹⁹. Есть ли в мире что-либо помимо отдельных предметов, к примеру универсалии или пропозиции, это вопросы, о которых спорят метафизики, однако существование множества индивидуальных вещей можно назвать некоторым консенсусом философов друг с другом и со здравым смыслом²⁰. Существование вещей означает, что такие вещи, как коты, ковры и ноутбуки, существуют самостоятельно и могут перемещаться или быть перемещаемы во времени и пространстве. У отдельных вещей могут быть модификации: «Если что-то появляется как прямой и неизбежный результат модификации вещи X, выражаясь иначе, без добавления к X новых частей, тогда мы назовем что-то так появившееся лишь модификацией X. Так, кулак это лишь модификация руки, узел лишь модификация веревки и складка ковра это лишь модификация ковра»²¹. Модификации, как и предметы, занимают место в пространстве и могут влиять на окружающий мир – о складку на ковре вы можете споткнуться и разбить себе нос. Модификации не могут перемещаться отдельно от своих предметов, и они неотделимы от них. Тождество модификации привязано к

¹⁸ Например, можно вспомнить попытку М. Джонсона: *Johnston M. Human Beings // The Journal of Philosophy. 1987. № 2.*

¹⁹ См.: *Inwagen P. Metaphysics. 3rd edition. Boulder : Westview Press, 2009. P. 27.*

²⁰ Конечно, есть и те, кто придерживается альтернативных воззрений, например: «Никаких “предметов” в реальности нет, это мы создаем “предметы”, интерпретируя внешние воздействия с помощью органов чувств и языка» (*Никифоров А.Л. Онтологический статус референтов имен собственных // Эпистемология и философия науки. 2012. № 2. С. 58.*)

²¹ *Inwagen P. Metaphysics. P. 28.*



тождеству какого-то предмета в том смысле, что она может появляться, создаваться, изменяться и исчезать при сохранении предмета, но при уничтожении предмета уничтожается и его модификация. Хотя сам предмет может существовать и без той или иной модификации.

Отнесение личности к классу модификаций организма будет означать, что хотя личность и может быть уничтожена при сохранении организма, для нее невозможно перемещаться в пространстве отдельно от тела и ее нельзя перенести в другое тело. Представим, что у вас на теле есть неглубокая резаная рана, она появилась на вашем теле в результате модификации последнего, но при этом к вашему телу ничего не прибавилось и не убавилось (задеты только верхние слои кожи, поэтому потери крови не было). Согласно определению модификации, рана это модификация, нельзя переместить свою рану другому человеку. Онтологическая вторичность модификации приводит к тому, что критерии тождества личности становятся еще более жесткими. На модификацию накладываются и критерии тождества организма как физического объекта, и свои собственные дополнительные условия выживания. Сохранение живого тела не гарантирует сохранения всех его модификаций – рана со временем может бесследно затянуться, а в вашем организме вследствие болезни и возраста личность может постепенно угаснуть. Никто, даже сумасшедший ученый из далекого будущего, не сможет перенести вашу личность в тело другого человека. Максимум, на что он будет способен, это на воссоздание такой же, но не той же личности (модификации) в теле другого человека. То, что останется в вашем теле при стирании воспоминаний, можно будет назвать вашей личностью, которая просто забыла свою жизнь. Если же наш сумасшедший ученый перестареется и ваше тело утратит не только воспоминания, но и все свои когнитивные способности и организм перестанет воспринимать окружающую действительность, если ученый безвозвратно разрушит субъект опыта, то тогда мы можем сказать, что личность больше не присутствует в этом теле.

Для существования некоторых модификаций необходимо наличие специальных частей в предмете, модификацией которого они являются: для того чтобы у вас была резаная рана руки, у вас должна иметься рука. А так как одним из условий бытия личности считается способность к сознательному опыту, то логично предположить, что для наличия человеческой личности-модификации необходимо, чтобы у тела имелся исправно функционирующий головной мозг. Указание на то, что личности присуща способность к мыслительной деятельности, и при этом на то, что она не есть физическое тело, может вызвать подозрение в дуалистичности нашей концепции. Но мы не постулируем существование сущностей, отдельных или производных от нашего тела, если только читатель не готов также признать, что такая модификация, как режущая поверхность ножа, существует отдельно от самого ножа и состоит из иной субстанции.

Отказ от трактовки личности как некой материальной или ментальной вещи не значит, что мы вслед за элиминативистами полностью исключаем личности из нашей онтологии. Скорее мы стараемся объяснить природу бытия



личности за рамками жесткого номинализма. Если мы согласны включать в нашу онтологию нечто помимо отдельных вещей и частиц, тогда у нас есть возможность относить личности к самым разным метафизическим категориям. Понятие личности может быть отнесено к категории отношений, к категории свойств или, как утверждаем мы, к категории модификаций. Как только мы перестаем объективировать то, что мы называем «я», нам нужно будет пересматривать и условия тождества личности в соответствии с той категорией, к которой мы ее относим. Даже тот, кто не соглашается с нами, что личность это модификация, должен будет признать: у свойств, отношений и модификаций условия сохранения во времени и пространстве отличаются от условий сохранения отдельных материальных предметов. Скажем, условием сохранения некоторых социальных отношений между индивидами – раба и господина – можно назвать системные политико-экономические факторы, но отношения господства и рабства между конкретными индивидами не сводятся к этим факторам и требуют для своего актуального существования наличия индивидов, между которыми эти отношения существуют в действительности.

И если мы приходим к выводу, что личность это модификация нашего организма, то из этого следует, что тождество личности обеспечивается иным набором факторов, чем тождество нашего организма. Как мы писали выше, при анэнцефалии организм может выживать с помощью медицины вообще без наличия у него личности. Но то, что личность в онтологическом смысле вторична относительно организма, не приуменьшает ее значимость для нас или для выживания организма. Все модификации зависимы от своих носителей, но иногда их наличие или отсутствие – единственный критерий, по которому мы оцениваем важность того или иного предмета. Прокол в шине гоночного автомобиля, несмотря на свой незначительный размер, оказывается критичным для нормального функционирования не только колеса, но и всего автомобиля. Наличие же того, что можно назвать личностью, радикально расширяет функциональные возможности организма. Только личность, а не организм или сознание, может вступать в социальные интеракции и нести моральную ответственность за свои поступки. Неслучайно проблема тождества личности всегда переплеталась с этической проблематикой. Если вслед за Парфитом считать, что изменение понятия личности изменяет наши взгляды на этику²², то, конечно, и отнесение личности к классу модификаций организма не может не отразиться на том, как мы решаем вопросы моральной ответственности.

Вернемся к парадигмальному примеру с телепортацией и разберем, как трансформируется представление о тождестве личности и ее ответственности в свете нашей теории по сравнению с теориями менталистов и материалистов. Господин X заходит в телепортатор, где его тело уничтожается, а на планете Марс оно точно воспроизводится так, что все его физические и психологические качества остаются точно такими же. С точки зрения сторонников теории психологической связанности, на Марсе появился тот же самый господин X1.

²² См.: Parfit D. *Reasons and Persons*. Oxford : Clarendon Press, 1984. P. 324–326.



Соответственно он остается морально ответственным за все, что до входа в телепортатор совершил X, так как субъект ответственности не исчез, а лишь переместился в пространстве и эта ситуация ничем не отличается от той, когда он проехал на поезде из Москвы в Санкт-Петербург. Известные затруднения для теории психологической связанности начнутся, если X1 не будет уничтожен и/или копий господина X1 будет сделано больше одной. Материалистов же не касаются трудности с большим количеством копий, так как для них критерием тождества выступает факт сохранения оригинального тела/организма. С точки зрения анималистов, в телепортаторе появится совсем другой организм – одна личность была на Земле уничтожена, а на Марсе появилась такая же, но не та же личность. Анималист и любой материалист скажут, что на Марсе был создан некоторый господин X2 и он не совершал того, что совершал до телепортации X1. А это значит, что анималисту предстоит решить, как поступать X2, исходя из своих представлений о наследовании моральной ответственности, так как, с одной стороны, автоматически переносить ответственность за поступки на того, кто их не совершал, кажется поспешным. С другой стороны, если X1 совершил перед телепортацией серию ужасных преступлений, большинству из нас трудно будет отказаться от своего возмущения и, что бы там ни говорил Парфит о главенстве теории тождества личности над этикой, мы захотим как-то отомстить X2 за злодеяния X1.

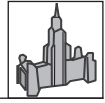
Наша идея о том, что личность это модификация организма, оказывается в этом мысленном эксперименте в одной лодке с анималистской теорией. Как мы уже говорили, конкретная модификация неотделима от модифицируемого предмета. Даже если у двух разных организмов окажется одна и та же модификация, из этого можно заключить лишь то, что у них есть две качественно тождественные, но нумерически нетождественные модификации, подобно тому как при наличии двух одинаково заточенных ножей в вашем распоряжении будут два лезвия, а не одно. Следовательно, как и анималисты, либо мы должны будем признать, что X2 не несет ответственности за прегрешения X1, либо нам придется разрабатывать теорию дистрибуции моральной ответственности для телепортируемых организмов. Кому-то может показаться, что случай с телепортацией слишком абстрактен, чтобы ради этого нужно было думать о правилах наследования моральной ответственности и это есть сколько-нибудь существенный аргумент против анимализма. Плохая новость для анималистов заключается в том, что они оказываются перед необходимостью создания этической теории правил сохранения ответственности и для вполне привычных случаев амнезии, когда личность по их критерию остается той же, а наши моральные интуиции неоднозначно оценивают справедливость наказания человека, который ничего не помнит о себе и прошлом. Хорошая новость для нашей теории заключается в том, что в случаях амнезии мы оказываемся в одной лодке со сторонниками психологического подхода и легко можем сказать, что мозг организма при амнезии претерпевает такие существенные изменения, которые позволяют говорить об утрате им модификации-личности. Наша теория потенциально может избегать парадоксов, возникающих для теории психологической связанности при копировании нашего тела, и наряду с этим мы справляем-



ся со случаями амнезии, столь неоднозначными для анималистов. То, как мы сможем решать, сохранилась ли наша личность в том или ином случае потери памяти, во многом зависит от дальнейшей экспликации понятия «модификация» и установления границ, возможно даже конвенциональных, относительно того, какие именно модификации организма мы признаем личностями и какими бывают их физиологические воплощения.

Личность – это сложная модификация тела, и она может быть расстроена без его уничтожения. У некоторых психически больных случается расстройство личности, притом что их живое тело вполне себе цело и сохранно. Такие расстройства ведут к тому, что личность больше не считается способной полноценно участвовать в моральных и деловых практиках. Всем известны ситуации, когда вследствие расстройства личности человека признавали не подлежащим наказанию, а направляли на лечение. Особенный интерес с точки зрения того, каким образом личность может быть деформирована при наличии здорового во всех других аспектах организма, представляют случаи раздвоения личности. Эти случаи с трудом поддаются объяснению в рамках теорий менталистов и материалистов. Обычно раздвоение личности живописуется как асинхронный процесс, так как в каждый отдельный момент тело контролирует только одна личность, но в разные моменты это могут быть разные личности. Для того чтобы объяснить, как в одном теле могут поочередно находиться управляющие им личности, нам достаточно указать, что некоторые виды модификаций предполагают единичное существование в одном предмете, а некоторые допускают одновременное сосуществование нескольких однотипных модификаций. Так, у руки может быть только один кулак, но несколько ран. И скорее всего личность относится к «множественному» виду модификаций, в одном теле иногда может существовать несколько личностей (субъектов опыта и центров принятия решения), и эти разные центры управления могут поочередно захватывать власть. Сейчас мы не можем описать, как именно личность должна воплощаться в теле, это скорее вопрос нейронаук, но мы можем сказать, что восприятие личности как модификации изменяет наши ожидания относительно такого описания.

Разрешение вопроса о том, стоит ли за некоторым словом нечто реальное, может быть вопросом как научным, так и философским. В частности, вопросы о существовании флогистона или о возможности левитации – это научные вопросы, а вопрос о категориальной принадлежности личности – это вопрос метафизический. В статье мы обратились к понятию личности и попытались показать, что референтом слова «я» стоит признать не какую-либо индивидуальную вещь, например организм, а определенную модификацию этой вещи. Такой подход, с одной стороны, сохраняет в понятии «личность» важные для нас психологические аспекты, без которых оно выхолащивается до неузнаваемости. С другой стороны, для разрешения вопросов о тождестве личности наш подход позволяет применять также привычные онтологические критерии тождества материальных предметов.



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА: К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА¹

Петр Сергеевич Куслий – кандидат философских наук, научный сотрудник сектора социальной эпистемологии Института философии РАН. E-mail: kusliy@yandex.ru

В статье обсуждаются содержательные и методологические проблемы построения и проведения семестрового курса по аналитической философии языка для студентов-философов (магистранты, аспиранты). Затрагиваются особенности российской студенческой аудитории (их подготовка, интересы). В качестве возможного решения проблем, возникающих в двух упомянутых выше направлениях, исследуется идея разработки преподавателем конспектов-хэндаутов и специфических домашних заданий. Предлагается пример такого конспекта-хэндаута, содержащего обсуждение ряда основополагающих метатеоретических ограничений на построение формальных семантических теорий для фрагмента естественного языка: семантика условий истинности, композициональность, функциональный анализ, семантический контекстуализм и др.

Ключевые слова: преподавание философии языка, аналитическая философия, формальная семантика.

A COURSE IN ANALYTIC PHILOSOPHY OF LANGUAGE FOR A RUSSIAN AUDIENCE: ISSUES AND CHALLENGES



Petr Kusliy – candidate of philosophical sciences, a researcher at the Institute of Philosophy, RAS.

The deals with methodological issues of teaching a semester introductory course in philosophy of language to the students with philosophy major in Russia. The author discusses the challenges that an instructor of philosophy of language faces in general and with Russian students in particular.

The general problem for such a course is the broadness of the topic. A more than a hundred year old tradition that influenced almost all parts of contemporary philosophy has to be shrunk into limits of one semester – an impossible objective if one aims to cover or even mention all these topics. The only reasonable stance that is usually taken by instructors is to give their audience a perspective on what can be considered a nucleus of philosophy of language. The question is what exactly is to be treated as such a nucleus. The most popular choice is to give a brief history of the discipline covering the fundamental texts and issues of the classic of analytic philosophy. This however, according to the author, has its shortcomings. The course becomes historical and deprives the students of an attempt to think and discuss issues in philosophy of language themselves. So, it is argued that a course in philosophy of language must have a focus on a particular problematic within the discipline.

The specificity of Russian philosophy students also has its facets that are discussed in the article in their relation to its main issue. Many philosophy students are equipped with sporadic historical philosophical knowledge, they often have general acquaintance with the content of philosophical teachings of different times and epochs but they very often lack competence in logic and theory of argumentation, they are not focused on one particular problem in their research

¹ Подготовлено в рамках проекта ФЦП «Кадры» (соглашение 8259), а также при поддержке РГНФ, проект № 11-03-00608а.



and are often disposed to speculations in their reasoning. The author argues that it is the responsibility of the instructor to deal with such specifics of her audience and, therefore, she needs to present the content of the course taking these specifics into account. The author discusses handouts (not at all popular among instructors in Russia) as one way to overcome the difficulties in dealing with the audience. The advantages of handouts in the courses in philosophy are discussed.

An example of a handout is provided. It deals with some fundamental issues within formal philosophy of language: metatheoretical restrictions on semantic theories. Among others such notions as truth-conditional semantics, model theory, compositionality, function analysis, extensionality and contextuality are discussed.

Key words: teaching philosophy, philosophy in Russia, philosophy of language, semantics.

1. Многоплановый характер темы

Современная аналитическая философия языка в немалой степени представляет собой различные подходы к формальной экспликации значения выражений естественного языка. Иными словами, философские вопросы, связанные с языком, преимущественно относятся к сфере семантики. Это обстоятельство обуславливает укорененность современной философии языка в логико-семантические исследования классиков аналитической философии XX в.: Г. Фреге, Б. Рассела, раннего Л. Витгенштейна, Р. Карнапа, У. Куайна, Д. Дэвидсона, С. Крипке, Д. Льюиса и др.

Уже на этапе своего зарождения и становления аналитическая философия языка начала характеризоваться тем, что не ограничивалась исключительно логико-семантическим направлением. Ее классиками наравне с перечисленными выше считаются и Г. Райл, Дж. Остин, П. Стросон, П. Грайс. С их именами связывается становление так называемой лингвистической философии (философии обыденного языка), которая по своим методам и задачам коренным образом отличалась от логической семантики. При этом философия обыденного языка считается неотъемлемой частью истории аналитической философии, представляющей базу для целого ряда исследуемых ею сегодня проблем.

В настоящее время помимо логики и связываемой с ней семантики для формализованных языков философия языка характеризуется и привлечением в свой исследовательский аппарат аналитических методов и других философских и лингвистических дисциплин, главным образом относящихся к сфере синтаксиса и формальных грамматик (К. Айдукевич, Р. Монтегю, Н. Хомский и его последователи), прагматики (восходящей к работам классиков философии обыденного языка) и когнитивных наук (психолингвистика, нейрофизиология и др.). В более широком аспекте современная аналитическая философия рассматривается как область, в которой задействованы методы социолингвистики, нейроэкономики и других направлений, так или иначе связанных с языкознанием. С новой методологией приходят и новые проблемы, не известные в классической философии языка и логической семантике.

В связи с таким многообразием методов и проблем возникает вопрос о том, как организовать семестровый курс по современной философии языка



для магистрантов или аспирантов философского факультета, чтобы он одновременно мог выполнять несколько функций: (1) служить введением в проблематику для неподготовленных студентов; (2) содержать обсуждение ключевых классических концепций и направлений в философии языка, знакомство с которыми считается минимальным «ликбезом» и должно входить в каждый подобный курс; (3) не ограничиваться исключительно классическими темами, а содержать обсуждение современной проблематики; (4) иметь последовательную внутреннюю структуру, по которой будет разворачиваться его содержание (не быть эклектичным); (5) быть способным дать студентам не только знания-что (т.е. ознакомить их с некоторой информацией о проблематике), но и знания-как (т.е. позволить обрести некоторые компетенции, которые дадут им первичную возможность начать самостоятельно исследовать релевантные вопросы).

2. Историческая перспектива и ее проблемы

Пожалуй, наиболее распространенным подходом к решению пяти перечисленных выше задач в рамках одного, порой небольшого курса становится ориентация на хронологическое, историко-философское повествование. Немалая часть имеющихся отечественных учебников, статей или пособий, ориентированных на обучение аналитической философии вообще и философии языка (считающейся ее ядром или отправной точкой) в частности, являются историко-философскими по методологии изложения либо полностью, либо в своей существенной части. Лекционные курсы по аналитической философии языка, которые читаются на философских факультетах и кафедрах философии, также зачастую представляют собой последовательное изложение концепций наиболее известных классиков этой традиции (Фреге, Рассел, Витгенштейн, Карнап, Куайн, Стросон, Дэвидсон). Такая тенденция во многом понятна и объяснима: в большинстве отечественных вузов курсы по аналитической философии и связанным с ней темам весьма ограничены по количеству часов. За сравнительно короткое время преподаватель должен не только ознакомить студентов с методами анализа, проблемами, обсуждаемыми в этой традиции, но и ознакомить их с содержанием основополагающих текстов. Такая задача зачастую выполнима лишь при обсуждении проблематики классических авторов и произведений, т.е. через историко-философскую перспективу: ведь это одновременно и ознакомление с проблемами, и рассмотрение различных направлений, и знакомство с содержанием конкретных текстов, и некая упорядоченность, к которой при желании может быть добавлено и обретение студентами тех или иных компетенций и практических навыков.

Однако преподавание аналитической философии языка в исторической перспективе имеет и свои недостатки. Начав повествование с последовательно рассмотренных основополагающих текстов, довольно сложно вдруг отказать-



ся от этого формата и перейти к проблемному исследованию. В этом отношении иллюстративна организация учебника «Аналитическая философия» под редакцией М.В. Лебедева, где первые две трети представляют последовательное историческое рассмотрение, а затем начинаются главы по аналитической эпистемологии, теориям истины, референции, пониманию, природе сознания и даже по соотношению аналитической философии и феноменологии. Возникает вопрос: почему именно эти темы, а не какие-то другие дополняют историко-философское изложение? С подобным вопросом сталкивается любой преподаватель, начинающий читать лекции в историко-философском формате. Разумеется, ответ на данный вопрос находится без особых затруднений: каждый читает тот материал, которым владеет лучше. Однако саму проблему с переходом от историко-философской перспективы к проблемной это не снимает.

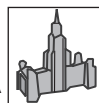
В случае с курсом по аналитической философии языка проблема, казалось бы, выглядит проще: почти вся классика аналитической философии посвящена языковому анализу. Тем не менее эта простота является кажущейся. Чаще всего последовательное обсуждение содержания работ классиков аналитической философии сводится к обсуждению их борьбы с метафизикой. Но при таком подходе обсуждаются логико-онтологические вопросы, которые оказываются мало связанными с непосредственно философско-языковой проблематикой в том виде, в каком ее обсуждал, например, Фреге.

Таким образом, задача, с которой сталкивается преподаватель аналитической философии языка (если он хочет отойти от историко-философской парадигмы), заключается в том, чтобы объединить в рамках единого повествования обсуждение таких различных вопросов, как логическая семантика, дискуссии об онтологии, эпистемологии и философии науки, прагматика, синтаксис. И этот вопрос представляется нетривиальным: в каком плане, скажем, критика П. Стросоном теории дескрипций Б. Рассела или Н. Хомским семантики в целом в пользу автономии синтаксиса может укладываться в единое обсуждение проблематики философии языка?

3. Специфика студенческой аудитории

Современные российские студенты, начинающие изучать аналитическую философию (будь то в бакалавриате или в магистратуре), насколько мне позволяет судить мой собственный опыт и опыт моих коллег, в большинстве случаев оказываются не обладающими теми знаниями и навыками, которые являются необходимым условием для исследования большинства вопросов в современной философии языка и которые они должны были получать с самого начала своего обучения на философском факультете. Речь идет главным образом о базовых компетенциях в логике или, точнее, логической семантике, и теории аргументации.

Для того чтобы заниматься исследованиями в области философии языка и конкретно философской семантики, нет необходимости изначально владеть



глубокими знаниями по логической теории вывода, уметь доказывать теоремы, быть способным обсуждать метатеоретические свойства тех или иных систем вывода. Философская семантика в подавляющем большинстве своих исследований не акцентирует свое внимание на теории вывода и ее проблемах. Необходимая компетентность предполагает знакомство скорее с принципами построения синтаксиса и семантики, записью, стандартно используемой в наиболее известных системах современной символической логики, основными понятиями теории множеств и используемой в ней записи, а также способность отличать лояльную аргументацию от нелояльной. Однако на деле студенты, интересующиеся современной философией языка, как правило, оказываются незнакомы с перечисленными выше темами и не обладают соответствующими компетенциями.

Наконец, студенты часто очень мало читают на иностранных языках и неспособны за сравнительно короткое время понимать тексты в пределах научной статьи. Они не склонны задавать преподавателю вопросы (даже если чего-то не понимают), по-видимому, боясь выглядеть в невыгодном свете перед товарищами, которые якобы все понимают.

Все описанные выше проблемы (широта исследуемой области, сложность отступления от историко-философских методов подачи материала и специфика аудитории) преподаватель не должен рассматривать как недостатки того контекста, который выпал на его долю и в котором ему приходится работать. Это та реальность, с которой все мы имеем дело (и в которой, кстати, сами нередко проходили профессиональное становление, будучи ее частью). Ее следует не оценивать, а рассматривать как отправную точку, т.е. положение дел, исходя из которого следует строить свой курс.

Основное содержание оставшейся части статьи будет посвящено обсуждению вопросов, связанных именно с первыми двумя типами проблем, т.е. способам построения последовательного не историко-философского курса по философии языка. Однако прежде хотелось бы сказать несколько слов о способах работы с аудиторией, которую преподавателю предстоит «с нуля» ввести в проблематику и заинтересовать ею в рамках недлинного лекционного курса и набора семинарских занятий.

4. Изложение материала для неподготовленной аудитории

Преодоление пробелов в базовых знаниях. Не существует никаких особых рецептов для того, чтобы аудиторию, не знакомую с чем-то, сделать с этим чем-то знакомой, кроме как обучить ее этому. Поэтому на возможное незнание аудиторией основ логической семантики и правил аргументации можно всегда отреагировать, посвятив этим вопросам отдельное время. Существует много хороших и доступных учебников и пособий по указанной проблематике. Многие из них снабжены соответствующими приложениями, зна-



комящими читателя с основами теории множеств, логики высказываний и предикатов, интенциональной логики и теории аргументации. Эти приложения нередко содержат даже упражнения, которые читателю предлагается решить.

Предлагать аудитории выполнять упражнения для преподавателя означает необходимость тратить время на проверку, объяснение и обсуждение их решений. По-видимому, дополнительная нагрузка – это не то, к чему стремятся все преподаватели, однако выхода здесь, похоже, нет – без обучения студентов корректному обращению с базовыми теоретическими понятиями современной семантики можно получить студентов, готовых воспроизводить материал или использовать терминологию без их понимания, т.е. не способных дать удовлетворительное определение используемым терминам. Это чаще всего приводит к тому, что наиболее активные студенты начинают наукообразно выражаться и жонглировать понятиями, что может даже произвести впечатление на некомпетентных слушателей.

Вот примеры подобных рассуждений: «Квантификационные переменные “нечто” и “ничто” освобождают от референции к конкретному объекту. Как мне кажется, их можно назвать универсалиями, если, согласно Куайну, соотносить с сущностями вообще»; «Возникает вопрос о том, могут ли несуществующие объекты иметь значение»; «Если мы рассматриваем имена как жесткие десигнаторы (и при этом еще требуем единственности), то приходится присматриваться к денотатам того, о чем говорит другой». Все они демонстрируют недостаточную проработку в рамках курса основополагающих понятий семантики, ибо речь во всех случаях идет о вполне мотивированных студентах, не пропускавших занятия.

Чтобы донести до студенческой аудитории довольно сухое и технически нагруженное содержание лекции по философии языка, преподаватель не должен пренебрегать пояснениями, чтобы студенты могли следить за изложением, используя аппарат, введенный преподавателем или эксплицитно признанный как известный всей аудитории. Бесплезно пояснять сказанное, скажем, через формульную запись на доске, если аудитория не умеет читать формулы. Такое пояснение выглядит иллюстративным лишь формально, а реально дезориентирует слушателей. Поэтому в рамках преподавания курса по аналитической философии языка важно не только быть готовым объяснять (в том числе и не по одному разу) темы, считающиеся простыми (например, теория смысла Фреге, куайновская критика теории смысла и т.д.), но и сложные (основы интенциональной или двухмерной семантики, идея связывания переменной квантором или, скажем, суть понятия сферы действия кванторов).

Отсутствие у студентов старших курсов знаний по основам семантики может быть вызвано не тем, что им на начальных курсах плохо преподавали логику или они ее плохо учили. Часто бывает, что знания, полученные в курсе по логике и теории аргументации, долго остаются ненужными, ибо их использование не требуется для получения высоких оценок по другим курсам, которые студенты посещают большую часть времени. И со временем они эти знания попросту утрачивают, забывая некогда изученный материал. Поэтому важно



обучать так, чтобы знакомство с техническими аспектами семантики не происходило в отрыве от анализа тех философских проблем, которые исследуются в курсе. Так, изучать особенности семантики кванторных выражений типа «все», «никто», «ничто» (и их отличие от семантики выражений, обозначающих индивидуальные объекты) гораздо продуктивнее в тесной связи с теми философскими проблемами, которые пытались разрешить ее разработчики (проблемы логического характера – Б. Рассел, критика феноменологической концепции М. Хайдеггера – Р. Карнап). В работах таких основоположников аналитической философии, как Фреге, Рассел, Карнап и Куайн, подобных примеров можно найти достаточно много. Особенности логико-семантического анализа воспринимаются и усваиваются студентами-философами гораздо проще и быстрее, когда они оказываются связанными с решением той или иной философской проблемы.

Что такое хэндаут. Если исходить из того, что информированность студентов о том, что такое аналитическая философия, может быть минимальной или не вполне корректной, то обязательная часть курса должна содержать помимо изложения общих задач и методов дисциплины еще и обсуждение ее релевантности в рамках общефилософской проблематики, т.е. обсуждение вопроса о том, почему в нашем случае язык является важным для философии объектом исследования, а его формальный анализ продуктивным, с философской точки зрения, методом исследования. Иными словами, до студентов следует доводить не только суть преподаваемого, но и то, почему это может быть нужно и интересно именно им.

Как показывает опыт, излагать материал просто и ясно недостаточно. Нужно удостовериться в том, что он воспринимается аудиторией. Наилучшим способом обеспечить усвоение студентами данного материала, по моим наблюдениям, является написание преподавателем хэндаута и выдача его каждому студенту лично во время лекции. Хэндаут (от англ. handout – то, что раздается вручную) в данном контексте означает практически полный конспект лекции (подробные заметки), написанный самим преподавателем. В хэндауте также есть список необходимых источников для дальнейшего изучения тех или иных тем. Хэндауты вообще оказываются очень важной вещью для более уверенной трансляции преподаваемого материала. Они дают студентам возможность самостоятельно проработать лекции, заменяя традиционный конспект, который может быть неполным и содержать некорректную информацию. Кроме того, он позволяет не писать конспект, как это часто делают студенты на лекциях, затрачивая на это лишние силы и внимание, а сконцентрироваться на содержании излагаемого материала.

Хэндаут является и путеводителем для студента по каждой отдельной лекции. Он позволяет следить за ходом лекции и, подобно презентации в power-point, обеспечивает визуальное сопровождение речи лектора. В сравнении с обычными компьютерными презентациями хэндаут имеет ряд преимуществ. Поскольку он представляет собой несколько листов бумаги, студенты могут делать нужные им пометки прямо в хэндауте. По ходу лекции они могут



самостоятельно возвращаться к нужным именно им местам, забегать вперед и осуществлять иную навигацию по лекции, что невозможно в случае компьютерной презентации.

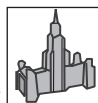
Разработка хэндаутов для лекций – весьма распространенная практика на нефилософских факультетах, принятая как в России, так и в других странах. Возможно, они полезны не для всех философских курсов, однако их пользу для преподавания аналитической философии с ее сложными техническими аспектами нельзя недооценивать. Разумеется, их написание требует от преподавателя больших затрат сил и времени на разработку и проведение курса, что зачастую не вполне совместимо с условиями его работы (большая нагрузка, низкая зарплата, нехватка времени). Однако польза от этого тоже есть: подготовив хэндауты единожды, можно потом читать курс по уже существующим конспектам, внося необходимые изменения по мере надобности.

Мой личный опыт работы с хэндаутами (в качестве как слушателя, так и лектора) в целом позитивный. Единственный негативный аспект, с которым я столкнулся, – это плагиат. Отдельные студенты воспроизводили частично или полностью значительные пассажи из моих хэндаутов (которые являются неопубликованными текстами) в своих работах и докладах даже в рамках курсов, читавшихся мной самим. Могут предположить, что это имело место в их письменных или устных работах по другим курсам. Считаю, однако, что распространение среди студентов собственного неопубликованного текста хоть и чревато подобными неприятными явлениями, в целом оправданно, так как, будучи ориентированным на их мотивированную часть, позволяет преподавателю более эффективным способом реализовывать задачу трансляции знаний и навыков.

О домашних заданиях и семинарах. Материал усваивается особенно продуктивно при интерактивной работе, когда студенты самостоятельно его воспроизводят, отвечая на вопросы, обсуждая и критически оценивая. Именно такой способ может считаться наиболее эффективным для трансляции строгого философского знания, которое, подобно научному знанию, имеет открытый коммуникативный характер. К такому роду философского знания относится аналитическая философия языка.

Интересно, что данный подход к обучению строгой философии проповедовал уже Э. Гуссерль, на философскую концепцию которого, как известно, оказала сильное влияние концепция основоположника аналитической философии Г. Фреге. То, что пишет Гуссерль об обучении феноменологии как научной философии, может быть в полной мере применимо и к обучению аналитической философии: «Нигде научное изучение не является пассивным восприятием чуждых духу материалов, повсюду оно основывается на самостоятельности, на некотором внутреннем воспроизведении со всеми основаниями и следствиями тех идей, которые возникли у творческих умов»².

² Цит. по: Куренной В.А. Уединение университетского философа // Логос. 2007. № 6 (63). С. 66. В указанной статье Куренной проводит реконструкцию этапов феноменологического познания, что весьма актуально для целей нашего исследования.



Чтобы стимулировать подобного рода аналитическую познавательную работу у студентов, от преподавателя требуется достаточно много усилий по разработке соответствующих заданий. По-видимому, одним из основных видов таких заданий являются вопросы к текстам, которые читаются студентами самостоятельно и обсуждаются ими на семинаре. Важно, чтобы эти вопросы выполняли как минимум две функции: стимулировали к более полному и внимательному прочтению текста и способствовали его критической оценке.

Для реализации первой функции приводятся вопросы «по тексту», например: что, согласно автору, значит то-то?, как автор обосновывает такое-то утверждение?; какую проблему он ставит в качестве предмета исследования?; в чем заключается такое-то различие, проводимое автором? Ответы на такого рода вопросы обуславливают более внимательное прочтение студентами текста, фиксацию ими ключевых и второстепенных аспектов аргументации, понимание структуры предлагаемой автором аргументации. Наличие подобных вопросов помогает студентам быстрее и эффективнее прочитывать тексты и усваивать их содержание, что хоть и облегчает их задачу по проработке текста, но снижает количество тех из них, которые приходят на семинар не подготовленными. (Возможность самостоятельной проработки и оценки текстов без помощи преподавателя всегда может быть предоставлена им в рамках заданий по написанию эссе и рефератов, необходимых для отчетности по курсу. Подготовка к семинару не обязательно должна превращаться в задачу по самостоятельному реферированию и оценке текстов.)

Для реализации второй функции можно формулировать вопросы, связанные с критической оценкой текста в целом или отдельных его частей: удастся ли, по-вашему, автору построить убедительную аргументацию и почему?; какие возражения можно привести на такой-то аргумент? и т.д. Разумеется, на подобные вопросы зачастую не будет правильных ответов. Но это не является их недостатком. Здесь можно добавлять и вопросы, предполагающие сравнение концепции, аргументации, исходных посылок автора с другими концепциями, обсуждающимися в рамках курса.

Важный и хорошо зарекомендовавший себя способ привлечь студентов к критическому осмыслению материала – это предложить им подготовить и задать преподавателю вопрос по изучаемому материалу. Поначалу задание, заключающееся не в том, чтобы ответить на вопрос, а в том, чтобы его задать, кажется многим непривычным. Однако именно это способствует втягиванию студентов в самостоятельное освоение материала, а также дает им опыт преодоления своей неготовности задавать вопросы преподавателю. Уже после одного такого задания можно видеть, что студенты начинают более критично относиться к изучаемому материалу, задают вопросы письменно (по электронной почте) уже не в порядке выполнения домашнего задания, а в силу собственной заинтересованности.

Ниже приводится пример одного хэндаута, используемого мной в качестве введения в проблематику.



Логическая семантика: некоторые метатеоретические ограничения и базовые принципы (хэндаут)

Существуют разные теории значения (как философские, так и нефилософские), предлагающие различные подходы к объяснению феномена семантической нагруженности языковых выражений. Соответственно существуют и различные принципы, по которым могут строиться те или иные концепции значения. В нашей сегодняшней лекции рассмотрим некоторые такие принципы, которые считаются важными в философских исследованиях референции (преимущественно в формально ориентированных). При этом не следует считать, что какой-либо из них является раз и навсегда базовым и неотъемлемым: философы обсуждают все из них, в том числе и с критической точки зрения.

Однако прежде чем начать, следует дать некоторые пояснения по поводу той терминологии, которую мы будем использовать.

1. Терминология. В современной русскоязычной литературе по аналитической философии имеют место расхождения в том, что касается перевода таких важных для нас англоязычных терминов, как «значение», «смысл», «суждение», «высказывание». У разных авторов они могут обозначать разные вещи. Это вызвано главным образом расхождениями в терминологии, которую изначально использовали Г. Фреге и Б. Рассел и которая существует и в англоязычном мире, однако и расхождениями в переводах классических текстов на русский язык, сделанных с разных языков, в разные годы разными людьми.

Семантический треугольник Фреге:

значение	← обозначает ←	имя	→ выражает →	смысл
(обозначаемый предмет)				(объективный концепт)

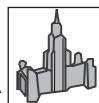
Смысл (Sinn) имени собственного (Фреге так называл все обозначающие выражения) – это способ, с помощью которого задается обозначаемый предмет. Поэтому имя свой смысл выражает, а свое значение (Bedeutung) – обозначает.

У Рассела термин «значение» (meaning) используется для обозначения фрегевского смысла (Sinn). Перевод на русский meaning как смысла (не являющийся неправильным) нередко приводит к путанице.

В англоязычных переводах текстов Фреге «смысл» (Sinn) переводился как sense, meaning, content, intension, а «значение» (Bedeutung) как reference, meaning, denotation, extension. Однако то, что Фреге называл смыслом, зачастую вслед за Расселом обозначали как «meaning». Не следует забывать и о том, что разные философы объясняли эти термины по-разному.

В результате в современном русском употреблении мы имеем следующую ситуацию.

Значение может значить то же, что *смысл* (фрегевский Sinn), но также и *денотат* (фрегевский Bedeutung) или *семантическое содержание* термина (и смысл, и денотат вместе). Также термином *значение* переводится англоязычное value – в смысле *значение переменной* (value of a variable) или в смысле



истинностное значение (truth value), под которыми подразумевается один из тех объектов, по которым может пробегать переменная, или «истина»/«ложь» как семантическая интерпретация предложения. Иногда в избежание путаницы value переводилось как *валентность* (например: *логическая валентность предложения*).

Референция может означать как отношение обозначения (между знаком и объектом), так и сам обозначаемый объект (денотат) или отношение указания (между говорящим и предметом).

Смысл может означать фрегевский Sinn, но также и множество дополнительных коннотаций (в том числе ассоциативных), что уже не имеет ничего общего с подходом Фреге.

Суждение может пониматься как английское judgment и обозначать акт утверждения некоей информации, выражаемой предложением; но оно может пониматься и как proposition, т.е. и саму эту информацию (в терминологии Фреге – мысль, Gedanke) без такого акта (в этом случае чаще говорят *пропозиция* или *высказывание*). Наконец, этот термин может обозначать то, что называлось *суждениями* до того, как стали проводить различие между двумя приведенными выше смыслами.

2. Семантика условий истинности – это общий подход к экспликации значения предложений как условий их истинности. Знать значение предложения S, согласно данному подходу, значит знать, при каких условиях оно истинно. В своем «Трактате» Витгенштейн по этому поводу писал: «4.024 Понимать предложение означает знать, что происходит, если оно истинно. (Следовательно, его можно понимать и не зная, истинно ли оно.)» (перев. М.С. Козловой).

Пример:

(1) У Кати в сумке 10 апельсинов.

Чтобы понимать значение приведенного предложения, не нужно знать, истинно оно или нет, ибо значение (смысл) этого предложения не меняется в результате того, истинно оно или нет: мы не начинаем понимать его иначе. Все, что нужно знать, это то, каким должен быть наш мир (каким условиям он должен соответствовать), чтобы (1) было истинным.

Специфика данного подхода заключается в том, что, эксплицируя значение предложения, он исключает из области значимых (т.е. имеющих отношение к значению предложения) очень многие факторы, которые мы привыкли считать имеющими (или, по крайней мере, способными иметь) отношение к значению (смыслу) предложения. Так,

- достаточно разные миры могут удовлетворять условиям истинности, предлагаемым в (1): сумка может быть пластиковой, кожаной, матерчатой и т.д., апельсины могут быть узбекские, марокканские, испанские, итальянские, они могут лежать на дне сумки, в середине, наверху. Различие всех этих условий совершенно не важно для установления значения (1), если они выполняют основное условие, которое в нем сформулировано;



- наше отношение к описываемому содержанию и его субъективное представление также оказывается нерелевантным. Я могу не любить, например, шелестящие пакеты, кожаные сумки или мандарины и выразить это свое отношение интонацией. Я могу по-разному относиться к Кате (сказать, например, «Катя» или «Екатерина») или представлять ее как подругу, начальницу, соседку или младшую сестренку. Ни мои представления, ни мое отношение, согласно данному подходу, не имеют отношения к значению (1);
- различные способы и цели употребления этого предложения также оказываются нерелевантными для его значения. (1) будет (или, по крайней мере, может быть) истинным, даже если у Кати в сумке на самом деле 20 апельсинов. В коммуникации мы обычно употребляем предложения типа (1), чтобы сообщить о том, что в сумке не более чем 10 апельсинов. Однако подобные факторы, равно как и те разнообразные цели, которые мы можем преследовать, произнося (1), согласно семантике условий истинности, не относятся к значению предложения (1).

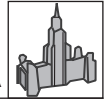
Хотя презентация идеи семантики условий истинности уже представлена в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна, важной фигурой в связи с этим подходом является А. Тарский, который в своих статьях «Понятие истины в языках дедуктивных наук» (1933), «Понятие истины в формализованных языках» (1935), «Семантическая концепция истины и основания семантики» (1944) предложил определение понятия истины для формализованных языков. По своей сути данная концепция сводилась к практически банальной констатации того, что

«Снег бел» истинно, ете снег бел.

Тарский показал, что если предикат «истинно» применяется к предложениям, то эксплицировать понятие истины для конкретного языка L , не впадая при этом в антиномию лжеца, можно лишь в терминах *метаязыка* M , который является «существенно богаче», чем L , ибо содержит в своей области определения выражения языка L , который в свою очередь называется *объектным* языком. Таким образом, исходя из концепции Тарского мы задаем условия истинности для того или иного языка L посредством так называемых определений истинности (или T -предложений), в которых эксплицировано, при каких условиях такое-то или такое-то предложение языка L истинно. Подобные T -предложения должны быть знакомы из курса по логике и конкретно его части, относящейся к семантике первопорядковой логики предикатов. Разработчиком этой семантики был именно Тарский.

Кажущаяся примитивность данного подхода исчезает, если мы рассмотрим ту его значимость, которую он имеет для объяснения одной важной особенности естественного языка: нашей способности понимать предложения, которые мы никогда ранее не слышали.

3. Функциональный анализ (гипотеза Фреге). Различие между семантикой имен (таких, как «Сократ») и выражений с кванторами (таких, как «все



люди») было замечено уже Аристотелем. Однако разрабатывавшаяся им логика, как и развитая на ее основе так называемая традиционная логика, не обладала достаточно мощным аппаратом для того, чтобы наглядно проявить эти различия применительно к теории логического следования, т.е. показать, как эти различия влияют на те выводы, которые мы можем делать на основании тех или иных предложений.

Так, уже в Средние века логиками исследовался обоснованный вывод: *есть некто, кого видят все; следовательно, все видят кого-то*. Обратный вывод при этом будет необоснованным. Однако неспособность представить указанное различие наглядным образом приводило к тому, что Аристотель и некоторые средневековые философы заключали, что существует первопричина всех вещей, из утверждения о том, что у всего есть некоторая причина.

Субъектно-предикатный анализ суждений, присущий классической логике, не позволял также делать такие, казалось бы, явно обоснованные выводы, как: *Коля выше Вани, Ваня выше Тани, следовательно, Коля выше Тани*. В записи классического субъектно-предикатного анализа суждений подобный вывод представляется необоснованным. Также нельзя было сделать обоснованный вывод, например, от предложения *Андрей брат Саши* к предложению *Саша брат Андрея*.

Фреге считается одним из родоначальников современной символической логики. Предложенный им анализ делит все выражения языка на то, что он называл *именами собственными* и *функциональными выражениями*. Имена собственные обозначают объекты в самом широком понимании этого слова (индивидуальные объекты, классы) и поэтому являются самодостаточными в плане своего значения (в терминологии Фреге – насыщенными). Функциональные выражения не являются таковыми и поэтому называются ненасыщенными; сами по себе они содержат пустое место, куда может быть подставлено имя собственное (выступающее в данном случае как аргументное выражение), в сочетании с которым функции обретают свое значение. В реальности им соответствуют также неполные, или ненасыщенные, функции. Выражение, получившееся в результате такого сочетания имени и функционального выражения, тоже является насыщенным.

Примеры:

- «отец Григория»: имя собственное – «Григорий»; функциональное выражение – «отец ____»;
- «Маша поет»: имя собственное – «Маша»; функциональное выражение – «____ поет».

Получившееся в результате сочетания имени и функционального выражения выражение вследствие своей насыщенности само может быть аргументом при сочетании с другими функциями. Таким образом, функциональный анализ Фреге может быть описан как процесс насыщения функциональных выражений именами.



Функции, по Фреге, могут быть n -местными.

Примеры:

- отец Григория поет

[[[отец]_{функция}[Григория]_{имя}]_{имя}[поет]_{функция}]_{имя};

- Аня видит Ваню

[[Аня]_{имя}[видит]_{2-местная функция}[Ваню]_{имя}]_{имя};

- отец Григория поет или Григорий поет

[[[[[отец]_{функция}[Григория]_{имя}]_{имя}[поет]_{функция}]_{имя}или_{функция}[[Григорий]_{имя}[поет]_{функция}]_{имя}]_{имя}].

Выразительные возможности такого подхода оказались куда более значимыми, чем то, что предлагала классическая логика, ибо они позволяли легко объяснять описанные выше сложности. Ключевым преимуществом здесь стал *пошаговый характер* анализа значения предложений.

(2)

Все видят кого-то.

- Существует x такой, что для всех y у видит x .
- Все y таковы, что существует x такой, что y видит x .

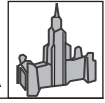
(3)

- Андрей брат Саши: Ras.
- Саша брат Андрея: Rsa.

Пример (3) демонстрирует важный аспект подхода Фреге: он в отличие от анализа, распространенного в предшествующей традиции, не ставит во главу угла выделение грамматического субъекта предложения, которое не позволяет увидеть важное для нас отношение между двумя предложениями (с учетом симметричности отношения *быть братом*). Оба существительных в каждом из этих предложений оказываются в одинаковом статусе как указывающие на объекты, которые связываются некоторым отношением. Таким образом, с появлением функционального анализа различие между логической структурой предложений и их (поверхностной) синтаксической структурой стало проводиться более четко.

4. Принцип композициональности. Одной из упомянутых в лекции 1 удивительных особенностей естественного языка является его способность посредством ограниченного набора слов и правил их сочетания выражать бесконечное множество мыслей. Наиболее распространенным способом объяснения данного феномена служит гипотеза о том, что значение предложения, так же как и значение мысли, является производным от значений тех элементов, из которых оно (она) состоит.

Данная идея тоже восходит к работам Фреге и иногда называется принципом или гипотезой (*conjecture*) Фреге. Так, в статье «Структура мысли» Фреге пишет: «Удивительные вещи совершает язык, выражая с помощью немногих



словом необозримо много мыслей; даже для мысли, которую впервые постиг какой-нибудь обитатель Земли, он находит облачение, благодаря которому ее может понять другой человек, – человек, для которого она совершенно нова. Это было бы невозможно, если бы мы не могли различать в мысли части, которым соответствуют части предложения; но это возможно, и строение предложения становится отражением строения мысли. Разумеется, перенося на мысли отношение между целым и частью, мы, собственно, пользуемся этим уподоблением иносказательно. Тем не менее уподобление это настолько уместно и в целом столь убедительно, что когда оно где-то в чем-то хромает, мы вряд ли это замечаем.

Если взглянуть таким образом на мысли, считая их состоящими из составляющих частей – простых компонентов, и допустить, что им в свою очередь соответствуют простые части предложений, то становится понятно, почему из немногих частей предложений может быть образовано большое многообразие предложений, которым в свою очередь соответствует большое многообразие мыслей»³.

Принцип композициональности в современном виде выглядит так: «Значение составного выражения должно быть полностью детерминировано значениями его составных частей и синтаксическим правилом, посредством которого оно построено»⁴. С этим принципом Фреге связывал идею о постепенном построении значения более сложных выражений из значений более простых. Более того, построенная им логическая теория сама состояла из ограниченного ряда логических констант, с помощью которых составлялось любое предложение языка независимо от его длины и сложности. Фреге рассматривал *не* (как знак для отрицания предложений), *если (...), то* (для материальной импликации), *все* (для универсального обобщения) и *есть* (для отношения тождества). Другие логические константы могли быть определены в терминах этих четырех.

Всем предложениям, сконструированным таким способом, можно придать семантическую интерпретацию просто посредством интерпретации базовых предложений и далее посредством придания семантической параллели пошаговому синтаксическому конструированию.

5. Принцип контекстуальности был сформулирован Фреге в работе «Основоположения арифметики» (1884). Он гласит: «О значении слова нужно спрашивать не в его обособленности, а в контексте предложения».

Необходимо всегда учитывать полное предложение. Только в нем слова обладают подлинным значением»⁵.

Заметим, что этот принцип может быть рассмотрен как не вполне согласующийся с упоминавшимся выше принципом композициональности. Ведь если значение предложения есть результат сочетания значений его элемен-

³ Фреге Г. Логические исследования. Ч. 3. Структура мысли // Г. Фреге. Логика и логическая семантика. М., 2000. С. 356.

⁴ Gamut L.T.F. Logic, Language, and Meaning. Chicago, 1991. P. 26.

⁵ Фреге Г. Основоположения арифметики. Томск, 2000. С. 23, 85.



тов, то как же значения элементов могут быть производными от значения всего предложения? По этому поводу можно сказать лишь то, что тезис контекстуальности был сформулирован Фреге до того, как он провел строгое различие между смыслом и значением, и поэтому его можно рассматривать либо как не связанный с композициональностью (в пользу этого служит по крайней мере то обстоятельство, что в более поздних работах Фреге его уже не упоминает), либо как допускающий сочетание с принципом композициональности.

Принцип контекстуальности сыграл важную роль в становлении аналитической философии: к нему обращался Витгенштейн в своих ранних и поздних работах, он использовался Куайном в его холистском понимании значения (смысла) языковых выражений. Тем не менее этот принцип стоит особняком от тех принципов, которые мы рассмотрели выше, равно как и от принципа экстенциональности, к рассмотрению которого мы сейчас переходим.

6. Принцип экстенциональности и принцип Лейбница. Принцип экстенциональности происходит из математической теории множеств, где ему соответствует утверждение о том, что два множества, состоящие из одних и тех же элементов, равны. В логической семантике с данным принципом также ассоциируется утверждение о том, что выражения, обозначающие один и тот же объект (или класс объектов), могут заменять друг друга внутри того выражения, в которое одно из них входит, без изменения денотата этого выражения.

Иллюстрация:

(4)

Аристотель – последний великий философ античности.

Ученик Платона и учитель Александра – последний великий философ античности.

(5)

$2 + 2 = 4$ и снег бел.

В январе 31 день и снег бел.

Принцип экстенциональности иногда ассоциируется с принципом Лейбница, который гласит: «*тождественные* [термины] суть те, один из которых может быть подставлен вместо другого с сохранением истинности»⁶.

Однако тождественными мы обычно считаем термины, которые обладают общим значением. Здесь может возникнуть вопрос: получается, мы значением в данном случае считаем истинностное значение предложений (истину/ложь), но как это соотносится со сказанным выше о том, что значением предложения мы считаем не истину или ложь, а условия истинности? Не правильнее было бы сказать, что взаимозаменяемы те предложения, у которых одинаковы условия истинности?

⁶ Лейбниц Г.В. Не лишенный изящества опыт абстрактных доказательств // Соч. В 4 т. Т. 3. М., 1984. С. 632.



Чтобы прояснить данный вопрос, необходимо понять различие между *экстенциональной* и *интенциональной* семантикой. На данном этапе мы рассмотрим проблему лишь в первом приближении, что поможет нам более или менее определиться, с чем мы имеем дело.

Обратите внимание, что в примере (5) и первое, и второе предложение являются истинными. Мы подставляем вместо « $2 + 2 = 4$ » предложения «В январе 31 день», но истинность общего предложения от этого никак не страдает. Разумеется, в получившемся составном предложении речь идет не совсем о том, о чем в исходном. Однако истинностное значение – это единственное, что является общим у этих двух взаимозаменяемых предложений, и поэтому вопрос о подстановке одного предложения вместо другого решается именно исходя из их истинностного значения. Заметьте, что сходным образом вопрос решается и при замене единичных терминов «Аристотель» и «ученик Платона и учитель Александра» в примере (4): нам важно лишь то, что эти термины обозначают один и тот же объект.

Поэтому принцип экстенциональности подразумевает взаимозаменяемость выражений с общим экстенсионалом (т.е. общим объемом, денотатом). Соответственно когда говорят о взаимозаменяемости выражений *с общим значением* применительно к принципу экстенциональности, то под значением понимают именно предметное значение (которое в случае предложений представлено их истинностным значением, а не условиями истинности). Таким образом, принцип Лейбница соотносится с принципом экстенциональности, только если мы под тождественными выражениями понимаем экстенционально тождественные выражения.

Описанная взаимозаменяемость выражений на основании общности их экстенсионала (денотата) необходима и для разработанного Фреге и рассмотренного выше функционального анализа и соответственно всей его композициональной семантики. Говоря о конструировании значений сложных выражений на основании значений простых выражений, мы имеем дело именно с обозначаемым ими предметным значением (денотатом). Данный метод представлен в классической логике высказываний, где интерпретацией логических переменных является лишь их денотат (истинностное значение), а также в логике предикатов, где интерпретацией предикатных знаков являются множества индивидов (или множества упорядоченных n -ок индивидов).

Как же быть с нашим исходным пониманием значения предложения как его условий истинности? Во-первых, понимая значение предложения как его условия истинности, мы используем термин «значение» синонимично термину «смысл». Во-вторых, условия истинности предложений (равно как и смыслы (в терминологии Фреге) единичных терминов) становятся важными в рамках *интенциональной* семантики. Это именно тот аспект, который изучает семантический вклад смыслов частей выражений в смысл (и значение) общего предложения.

Примеры (4) и (5) представляют контексты, в которых, как мы уже могли убедиться, различие в смыслах заменяемых выражений не меняет истин-



ностного значения (т.е. денотат) целого предложения. Однако существуют контексты (так называемые *интенциональные*), в которых смыслы оказываются более важными. Их рассмотрение на данном этапе в наши задачи не входит.

7. Теоретико-модельный подход. Говоря об интерпретации тех или иных языковых выражений, мы имеем в виду интерпретацию в рамках теоретико-модельной семантики, когда с определенным исчислением L связывается модель, состоящая из универсума сущностей и интерпретирующей функции, сопоставляющей выражения L с элементами универсума. Вы имели дело с моделями, когда изучали семантику логики предикатов.

8. Принцип семантической невинности звучит так: для всех выражений e и лингвистического контекста c языка L семантическое значение (value) e не меняется с изменением c .

Данный принцип ассоциируется с именем Д. Дэвидсона, который, говоря о проведенном Фреге различии смысла и денотата как двух составляющих семантического содержания языковых выражений, утверждал, что после проведения этого различия очень сложно вернуться к нашей дофрегевской семантической невинности⁷.

Важность данного принципа для наших целей заключается в содержащемся в нем требовании однообразного рассмотрения семантического содержания выражений, в каком бы контексте они ни использовались. Упоминание Фреге здесь не случайно, поскольку именно с его концепцией связывается утверждение о том, что в отдельных контекстах (интенциональных) значением языковых выражений становится их смысл, а не обычное (экстенциональное) значение.

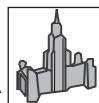
Актуальность принципа семантической невинности для наших исследований станет более явной, когда мы перейдем к анализу конкретных проблем философии языка и тех конкретных решений, которые предлагались разными философами.

Библиографический список

Бирюков Б.В. Готтлоб Фреге: современный взгляд. Научное творчество великого одиночки // Г. Фреге. Логика и логическая семантика. М., 2000. С. 19–41. (Работа наиболее авторитетного отечественного специалиста по Фреге, в рекомендуемой части которой дается обзор дофрегевской логики и также генезиса логической семантики Фреге в ее научном и историческом контексте.)

Суровцев В.А. Автономия логики: источники, генезис и система философии раннего Витгенштейна. Гл. 1, п. 1.1.1–1.1.5. Томск, 2001. С. 23–49. (Изла-

⁷ Davidson D. On Saying That // *Inquiries into Truth and Interpretation*. Oxford, 1984. P. 93–108.



гается суть новой символической логики Фреге и разработанного им подхода к анализу естественного языка посредством его формализации; исследуется природа функционального анализа Фреге, его теория смысла и антипсихологистская программа.)

Тарский А. Семантическая концепция истины и основания семантики // Аналитическая философия: Становление и развитие: антология. М., 1998. С. 90–129. (В статье в популярной форме представлена семантическая концепция истины Тарского, исследованы природа и взаимоотношения объектного языка и метаязыка, рассмотрены другие релевантные проблемы.)

Фреге Г. О смысле и значении // Г. Фреге. Логика и логическая семантика. М., 2000. (Основополагающая работа Фреге по семантике языковых выражений.)



THE LOGIC OF FORBIDDEN COLOURS¹

Elena Dragalina-Chernaya – National Research University Higher School of Economics, Faculty of Philosophy, Department of Ontology, Logic and Epistemology. Professor. E-mail: edragalina@gmail.com



The purpose of this paper is twofold: (1) to clarify Ludwig Wittgenstein's thesis that colours possess logical structures, focusing on his 'puzzle proposition' that "there can be a bluish green but not a reddish green", (2) to compare model-theoretical and game-theoretical approaches to the colour exclusion problem. What is gained, then, is a new game-theoretical framework for the logic of 'forbidden' (e.g., reddish green and bluish yellow) colours. My larger aim is to discuss phenomenological principles of the demarcation of the bounds of logic as formal ontology of abstract objects.

Key words: abstract logic, formal ontology, invariance criterion, meaning postulates, opponent-processing model, 'stabilized-image' experiments, over-defined games, payoff independence, imaginary logic.

Logic *has no* ontology, but logic *is* formal ontology. Logical knowledge of reality is possible since logic deals with formal, metaphysically unchanging features of reality. But what does it mean exactly? How does our formal model of reality depend on more or less sophisticated understanding of logicality?

In this paper I discuss a classical problem of the relations between logic and ontology, more precisely, between abstract logics and formal ontologies. I argue that abstract logics may be considered as formal ontologies in the sense of Edmund Husserl's phenomenology. My proposal is based on the interpretation of the classes of isomorphism as model-theoretic analogues of phenomenological abstract categorical objects. What is gained, then, is a connection between model-theoretical and ontological approaches to different types of formal relations (e.g. psychological relations by Edmund Husserl, ideal relations by Alexius Meinong, internal relations by Ludwig Wittgenstein, logical relations by Alfred Tarski, and metalogical relations by Nikolay Vasiliev). I discuss some principles of the demarcation of the bounds of logic as formal ontology, focusing on the question: "Are the criteria proposed by Husserl, Meinong, Wittgenstein, Tarski, and Vasiliev necessary and sufficient for the demarcation of the bounds of formal relations?" The case-study is the oppositional relations of colours.

Certain hues (for example, green and blue) can combine in experience into a phenomenally composed colour. For a long time it has been accepted that no human observer can have an experience of a colour that is for him phenomenally composed of red and green (or yellow and blue) under normal circumstances. According to the opponent-processing model of colours, not only we never see a reddish green or a yellowish blue but rather it is in principle impossible to have an experience of these

¹ This study comprises research findings from the "Game-theoretical foundations of pragmatics", project № 12-03-00528a carried out within The Russian Foundation for Humanities Academic Fund Program.



colours. Ludwig Wittgenstein claims that colours possess *logical* structures because of their internal relations. As he says in *Remarks on Colour*, “Among the colours: Kinship and Contrast. (And that is logic.)”². Furthermore, Wittgenstein includes into the scope of logic the proposition “there can be a bluish green but not a reddish green”. However the necessity of this proposition has been recently challenged by reports that ‘forbidden’ reddish green and yellowish blue colours *can* be perceived under special artificial laboratory conditions³.

My main concern is to discuss whether these surprising results cast doubt on the Wittgenstein’s thesis about the logical structure of colours. My aim is to interpret these empirical results as evidence for game-theoretical semantics. To argue for this advantage of the game-theoretical approach to the logic of colours I propose the uniform game-theoretical model both for standard opponent perception of colours and for its violations in neuropsychological experiments.

Abstract logics as formal ontologies

One of the attempts to demarcate the bounds of logic is a definition of abstract logic in generalized model theory. An abstract logic consists of a collection of structures closed under isomorphism, a collection of formal expressions, and a relation of satisfaction between the two⁴. This definition does not include any conditions concerning rules of inference. If we accept the principle “No logic without inference” the term ‘model-theoretic language’ seems to be more appropriate than the term ‘abstract logic’. My proposal is to interpret abstract logics as formal ontologies, i.e. as genuine logics at least in phenomenological sense.

The interpretation of logic as formal ontology, i.e. an a priori science of objects in general, goes back to Edmund Husserl. The project of formal ontology has been planned by Husserl already in his *Logical Investigations* (1901), but it has been completely developed only in his later works, especially in *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy* (1913) and in *Formal and Transcendental Logic* (1929).

According to Husserl, logic is two-sided. On the one hand, logic is formal apophantic, the domain of judgment. On the other hand, it is formal ontology, the domain of formal objects. Husserl believed that the transcendental justification of logic is possible only if we postulate a special region of formal categorical objects. This region has to save logic from the ‘specific relativism’ of Immanuel Kant who gave his interpretation of logical structures in terms of universal human abilities. Husserl considered them as structures of some objective area of abstract higher-level objects. What is the nature of these objects? My suggestion is to consider classes (types) of isomorphism as model-theoretic analogues of categorical objects of Husserl’s formal region.

² Wittgenstein 1977. P. 23.

³ See: Crane, Piantanida 1983; Billock, Gleason, Tsou 2001; Billock, Tsou 2010.

⁴ See: Barwise 1983. P. 3.



Any two isomorphic structures represent the same abstract system. We do not know anything about an abstract system except the relations existing between its objects in the system. At the same time, classes of isomorphism are abstract individuals of higher order, i.e. hypostases of structurally invariant properties of models. Thus, formal ontologies do not distinguish between specific individuals in the domain, but they are not Kant's 'empty functions of unity' since they deal with individuals of higher order, i.e. classes of isomorphic structures.

Furthermore, classes of structures closed under isomorphism are generalized quantifiers. A predicate represents a property. So the semantic value of a predicate is a subset of the domain. A quantified expression has as semantic value a set of subsets of the domain. So a quantifier can be considered as second – level property, property of properties⁵. For example, Mostowski's generalized quantifiers are interpreted by classes of subsets of the universe and attribute cardinality properties to the extensions of one-place first-level predicates. Mostowski's infinite quantifier Q^M says that the extension of a suitable predicate has infinite cardinality $Q^M = \{X: X \text{ is infinite}\}$. Mostowski's generalized quantifiers attribute second-order cardinality properties. More precisely, a Mostowski's quantifier is a function associating with every structure a family of subsets of its universe closed under permutations of the universe. Thus, Mostowski's quantifiers perfectly satisfy the permutation invariance criterion by Alfred Tarski⁶.

Invariance criterion for logical notions

In his famous lecture 'What are Logical Notions?' (1966) Tarski proposed to call a notion logical if and only if "it is invariant under all possible one-one transformations of the world onto itself"⁷. According to Tarski-Sher's criterion, it is better to discuss 'isomorphisms' (or 'bijections') and "structures" instead of 'permutations' (or 'transformations') and the 'world'. This criterion is historically traced to Lindström's generalization of Mostowski's approach⁸.

⁵ From phenomenological point of view, generalized quantifiers express so cold psychological properties. For Husserl, psychological properties, unlike physical (as, for example, to be philosopher or to play chess), do not influence on other properties, but exist because of them. Meinong preferred to speak about ideal and real properties. His terminology seems to be more successful because it doesn't presuppose irrelevant association with psychology. Phenomenology doesn't consider psychological properties as psychological phenomena. The point is that psychological (or ideal) properties are second-order properties of ideas or concepts.

⁶ In fact, there is no conceptual necessity to consider quantifiers as second-order *properties*. The obvious challenge here is to generalize this understanding on second-order *relations*. This generalization of quantifiers was proposed by Per Lindström (see: Lindström 1966). His quantifiers are interpreted as second-order relations between first-order relations on the universe. Binary examples of Lindström's quantifiers are: Resher's quantifiers $Q^R = \{\langle X, Y \rangle: X, Y \subseteq U \text{ and } \text{card}(X) < \text{card}(Y)\}$, Hartig's quantifiers $Q^H = \{\langle X, Y \rangle: X, Y \subseteq U \text{ and } \text{card}(X) = \text{card}(Y)\}$, syllogistics quantifiers "All ... are ..." = $\{\langle X, Y \rangle: X, Y \subseteq U \text{ and } X \subseteq Y\}$, "Some ... are ..." = $\{\langle X, Y \rangle: X, Y \subseteq U \text{ and } X \cap Y \neq \emptyset\}$. Tarski's thesis of 'our logic' as 'logic of cardinality' may be fair for the theory of monadic quantification (logic of properties of classes of individuals), but not for the theory of binary quantification (logic of properties of classes of pairs of individuals) (see: Dragalina-Chernaya 2013).

⁷ Tarski 1986. P.149.

⁸ See: Sher 1991.



Felix Klein's famous *Erlangen Program* (1872) proposed the classification of various geometries according to invariants under suitable groups of transformations. Klein suggested that each geometric field can be characterized by the invariance condition satisfied by its notions. We can restrict or increase the transformations taken into account, getting more specific or more general geometrical notions. For example, affine geometry is more general than Euclidean geometry in the sense that it can distinguish fewer objects (for example, all triangles are the same in affine geometry), since its notions are invariant under more general group of transformations. Permutation invariance takes all one-one transformations into account and, as a result, according to Tarski, characterizes the most general notions. For Tarski, the science which studies these notions is logic.

The idea that logic is characterized by an invariance condition, i.e. by the things it does not distinguish between, has a long history. For Kant, for example, general logic "treats of understanding without any regard to difference in the objects to which the understanding may be directed"⁹. For Willard Quine, logic cannot assume any special entities as existing ones. Thus if logic is supposed to be independent of ontology, not only set theory but also second-order logic as 'set theory in sheep's clothing' go beyond the bounds of logic¹⁰.

If we interpret formality of a theory as its invariance under permutations of the universe it means that the theory does not distinguish between individual objects and characterizes only those properties of model which do not depend on its nonstructural transformations. Formal property should be preserved under the arbitrary switching of individual objects. For instance, 'red' and 'green' are non-formal properties, since they distinguish between things which are red and green.

However the standard argument in favor of invariance under permutation, which relies on the generality of logic, may be challenged. Ludwig Wittgenstein, for example, does not consider generality as a defining attribute of logicity: "The mark of a logical proposition is *not* general validity..."¹¹ The general validity of logic might be called essential, in contrast with the accidental general validity of such propositions as 'All men are mortal'¹². Yet, what kind of general validity is essential and, as a result, logical for Wittgenstein?

The colour exclusion problem

According to '*Tractatus Logico-Philosophicus*' (1922), it is logically impossible for two colours to be at one place at the same time. This is because of the 'logical structure of colour'. As Wittgenstein pointed out, "Just as the only necessity that exists is logical necessity, so too the only impossibility that exists is logical

⁹ Kant 1929. A52.

¹⁰ See: Quine 1970.

¹¹ Wittgenstein 1922, 6.1231.

¹² Ibid. 6.1232.



impossibility¹³. <...> For example, the simultaneous presence of two colours at the same place in the visual field is impossible, in fact logically impossible, since it is ruled out by the logical structure of colour (It is clear that the logical product of two elementary propositions can neither be a tautology nor a contradiction. The statement that a point in the visual field has two different colours at the same time is a contradiction.)”¹⁴.

Wittgenstein suggests that colour-ascriptions should be elementary. But, as the concluding remark implies, they cannot be elementary. The point is that the colour ascriptions are logically interdependent, and Wittgenstein tells us that elementary propositions are independent. This is a well-known problem of *colour exclusion*.

In ‘*Some Remarks on Logical Form*’ (1929) Wittgenstein offered a solution to this problem. Here he is interested in examining what he calls the ‘logical structure’ or the ‘logical form’ of the ‘phenomena’. He writes, “we can only arrive at a correct analysis by, what might be called, the logical investigation of the phenomena themselves, i.e., in a certain sense a posteriori, and not by conjecturing about a priori possibilities”¹⁵. A color-incompatibility claim is a tautology and “does not express experience”, however, being result of “logic investigation of the phenomena themselves”, it is “in a certain sense a posteriori”. Wittgenstein said that a proposition “reaches up to reality”, and by this he meant that “the forms of the entities are contained in the form of the proposition which is about these entities. For the sentence, together with the mode of projection which projects reality into the sentence, determines the logical form of the entities”¹⁶. Finally, Wittgenstein came to the conclusion that propositions such as ‘A is red’ should be seen as atomic, but with numbers entering into their logical forms to reflect the degrees of quality involved. If so, atomic propositions which attribute degrees to qualities should be seen in the framework of systems of co-ordinates. He considered the *geometry* of logical space of colour representation as an objective basis for the necessity of the colour-incompatibility claims.

In a conversation recorded by Friedrich Waismann in 1929, Wittgenstein remarks that statements about colour can be represented in geometrical terms by assigning them a position along certain colour axes. He writes, “Every statement about colours can be represented by means of such symbols. If we say that four elementary colours would suffice, I call such symbols of equal status *elements of representation*. These elements of representation are the ‘objects’”¹⁷. In ‘*Philosophical Remarks*’ (1930) Wittgenstein adapts Alois Höfler’s colour-octahedron (1897) based on Ewald Hering’s opponent-processing model of colours¹⁸. The basic colour pairs of this model, i.e. its elements of representation (red – green, blue – yellow, white – black) are situated at opposite points of colour-octa-

¹³ Wittgenstein 1922, 6.375.

¹⁴ Ibid. 6.3751.

¹⁵ Wittgenstein 1929. P. 163.

¹⁶ Ibid. P. 169.

¹⁷ Wittgenstein 1993. P. 43.

¹⁸ See: Wittgenstein 1975. P. 278.



THE LOGIC OF FORBIDDEN COLOURS

hedron axes. Thus, we can define ‘orange’, for instance, as what lies between red and yellow. To say that something is orange, then, is to say that it has a colour between red and yellow (possibly with a number reflecting the degree of the colour involved). The degree of a colour is not its quantity. According to Wittgenstein, “If I say in the ordinary sense that red and yellow make orange, I am not talking here about a quantity of the components. And so, given an orange, I can’t say that yet more red would have made it a redder orange”¹⁹. Wittgenstein proposed to represent the colours by means of a double-cone. As he pointed out, “If we represent the colours by means of a double-cone, instead of an octahedron, there is only one *between* on the colour circle, and red appears on it between blue-red and orange in the same sense as that in which bluered lies between blue and red. And if in fact that is all there is to be said, then a representation by means of a double-cone is adequate, or at least one using a double eight-sided pyramid is”²⁰. Wittgenstein’s double-cone represents the logical structure of colour. This is a grammatical representation, not a psychological or physical one.

If our logic takes into account a spectrum of invariance which preserves several additional structures, for example, a *logical* structure of colour space, we may get various types of logical invariance. Johan van Benthem suggests that the permutation invariance criterion may be viewed as “only one extreme in a spectrum of invariance, involving various kinds of automorphisms on the individual domain”²¹. Therefore, following Wittgenstein we turn back from Tarski’s permutation invariance criterion to Klein’s original program. From the point of view of Klein’s ideology, the logic of colours may be considered as a member of a family of various logics of abstract objects whose notions are invariant for one-one transformations which respect additional formal structures, in particular, the formal relations of colours. The invariance criterion which is generalized in this way is wide enough to include not only one extreme type of invariance (i.e. permutation invariance), but a variety of invariances which respect different types of ordering of the universe.

Yet, what kinds of abstract objects are formal? What does it mean to be a formal abstract object? Gila Sher states that “Speaking in terms of objects we can say that formal objects are not just elements of formal structures, they are themselves formal structures”²². Logic takes certain general laws of formal structures and turns them into general laws of reasoning.

Now the key question is the following: Why did Wittgenstein consider relations between colours to be logical? My main concern is to clarify so cold Wittgenstein’s ‘puzzle proposition’ from ‘*Remarks on Colour*’ that “there can be a bluish green but not a reddish green”.

¹⁹ Ibid. P. 275.

²⁰ Ibid. P. 278.

²¹ Van Benthem 1989. P. 320.

²² Sher 1996. P. 678.



Wittgenstein's 'puzzle proposition': meaning postulates vs mapping functions

In his famous paper '*Reds, Greens, and Logical Analysis*' Hilary Putnam suggests that Wittgenstein's 'puzzle proposition' is analytic, in the sense in which 'analytic' means 'true on the basis of definitions plus logic'. He proposed to define the second-level predicates "Red (F)" (for "F is a shade of red") and "Grn (F)" (for "F is a shade of green"). In defining these predicates we must be restricted, in particular, by the postulate: "Nothing can be classified as both a shade of red and a shade of green (i.e., "that shade of red" and "that shade of green" must never be used as synonyms)"²³. Putnam's approach to color-incompatibility has gained widespread acceptance among recent eminent writers on perception. As Larry Hardin says in '*Color for Philosophers*', "Perhaps not being red is part of the concept of being green. Yet it seems that all a normal human being has to do to have the concept of green is to experience green in an appropriately reflective manner"²⁴.

Nevertheless, the introduction of certain meaning postulates seems to be irrelevant to the exegesis of Wittgenstein's ideas. The meaning postulates expand a family of analytic truths by means of dictionary conventions. On the contrary, for Wittgenstein, any attempt to explain truth of the colour incompatibility claims is misguided, since the question of truth doesn't make sense for *rules* of logical syntax. As he pointed out in the so cold '*Big Typescript*', "The proposition «at one place at one time there is only room for one colour» is of course a masked proposition of grammar. Its negation is not a contradiction; rather it speaks against a rule of our accepted grammar. "Red and green don't go together at the same place" does not mean, they are never actually together, rather it means that it is nonsense to say that they are at the same place at the same time and therefore also nonsense to say they are never at the same place at the same time"²⁵. Wittgenstein writes further in '*Philosophical Remarks*', "Grammatical conventions cannot be justified by describing what is represented. Any such description already presupposes the grammatical rules. That is to say, if anything is to count as nonsense in the grammar which is to be justified, then it cannot at the same time pass for sense in the grammar of the propositions that justify it"²⁶. To sum up, the meaning postulates deal with lexicon, but internal relations of colours concern grammar.

Contrary to the meaning postulates approach, Jaakko Hintikka and Merrill Hintikka proposed to represent the concept of colour "by a function c which maps points in visual space into a color space. Then the respective logical forms of 'this patch is red' and 'this patch is green' would be $c(a) = r$ and $c(a) = g$, where r and g are the two separate objects red and green, respectively. The logical incompatibility of the two color ascriptions is then reflected according to Wittgensteinian principles by

²³ Putnam 1956. P. 216.

²⁴ Hardin 1988. P. 122. See also: Westphal 2005.

²⁵ See: Noë 1994. P. 25.

²⁶ Wittgenstein 1975. P. 55.



the fact that the colors red and green are represented by different names. And if so, the two propositions are logically incompatible in the usual logical notation. Their incompatibility is shown by their logical representation: a function cannot have two different values for the same argument because of its ‘logical form’, i.e., because of its logical type²⁷. For Wittgenstein, as Jaakko Hintikka tells us, “the conceptual incompatibility of color terms can be turned into a logical truth simply by conceptualizing the concept of color as a function mapping points in a visual space into color space²⁸. Thus, “nonlogical analytical truths sometimes turn out to be logical ones when their structure is analyzed properly²⁹.”

My proposal is to generalize Hintikka’s approach on binary colours, e.g., on the phenomenal structure of reddish green or bluish yellow experiences.

‘Forbidden’ binary colours: the opponent-processing model vs. ‘stabilized-image’ experiments

We perceive many colours to be binary. Purple, for example, as a mixture of blue and red. We may see bluish red, but it seems impossible to see a colour that would be described as a ‘reddish green’ or a ‘bluish yellow’. Thus, certain antagonistic pairs of colours seem not to be combined to form a binary colour. According to the opponent-processing model of colours which goes back to Ewald Hering (1892), there are different types of retinal photoreceptors with optimal spectral sensitivity to specific wavelengths (e.g., short, middle or long wavelength receptors). Signals from the cones are assumed to be combined in an opposing fashion to produce opposing signals in retinal ganglion cells. This means that the cells are excited by the presentation of a given colour and inhibited by presence of its antagonist. Red-green and blue-yellow are supposed to be spectrally opposing channels. Thus, it would be impossible for a human observer to perceive both red and green (blue and yellow). The point is that it would presuppose the simultaneous transmission of positive and negative signals in the same channel. As red cancels green and blue cancels yellow, reddish green and bluish yellow are considered to be ‘forbidden’ binary colours by the opponent-processing model.

Perhaps one of the most surprising results in modern neuropsychological literature on colour vision is the report that reddish green and yellowish blue colors *can* be perceived in so called ‘stabilized-image’ experiments. In order to see, the eye needs contrast, which is provided by its very fast movements. If the eye totally lacks contrast for a few seconds then the image will fade out. A stabilized image is an image that is projected on a part of the visual field and which follows the movements of the eye, so that the fading out of the image is restricted only to the stabilized portion of the visual field. This can be done, for example, with special eyetracker. If

²⁷ Hintikka and Hintikka 1983. P. 161.

²⁸ Hintikka 2009. P. 52.

²⁹ Ibid.



an image is stabilized on a part of the retina for a certain time, thus producing a sort of ‘informational hole’, then the brain tends to complete the image by so called *filling in* process using the information of the surround. In ‘stabilized-image’ experiments, the subjects were presented with red and green (or blue and yellow) stripes on a black field, such that the red and green stripes had a common border. The red-green field was stabilized using an eyetracker. This was done in order to provoke a filling-in process in which the information from the non-stabilized parts of the image should be used.

In violation of the classical opponent-processing model, ‘stabilized-image’ experiments have shown that by stabilizing the retinal image between an antagonistic pair of red/green or blue/yellow equiluminant fields the entire region can be perceived simultaneously as both red and green (blue and yellow) or, to be more precise, as a ‘forbidden’ mixture colour whose red and green (blue and yellow) components were as clear as, for example, the green and blue components of aqua.

The first attempt at modeling these opponency violations by Hewitt Crane and Thomas Piantanida was based on the hypothesis that there is an extra stage of cortico-cortical rather than retinocortical visual processing, i.e. a non-opponent filling-in mechanism³⁰. I suggest that the game-theoretical approach allows us to offer the uniform explanation both to standard opponent perception and to its violations in ‘stabilized-image’ experiments.

The logic of colours in game-theoretical perspective

From the very beginning, the opponent-processing model of colours developed in the game-theoretical framework. It suggested that the basis for colour sensations lies in a process of *winner-take-all competition* between red and green (blue and yellow). Now it is clear that this model must take into account the interactions between *teams* of color-labeled cells. As Vincent Billock, Gerald Gleason and Brian Tsou write, “Recent models of cortical color processing suggest that cortical color opponency may not be based on hard-wired wavelength opponency within a single cell but rather on (potentially fragile) interactions between cortical color-sensitive cells”³¹. They assumed that the struggle between red- and green- (or blue- and yellow-) teams is simply blocked by the border synergy of equiluminance and stabilization.

I suppose that there is no need to block the game processing since a variety of game-theoretical independences provides important insights into the theory of opponent-processing. In particular, the border synergy effect may be captured by the game-theoretical notion of *payoff independence*.

Payoff independence logic (PI logic) has developed by Ahti-Veikko Pietarinen and Gabriel Sandu³². They distinguish two types of independences in semantical

³⁰ Crane and Piantanida 1983. P. 1079.

³¹ Billock, Gleason and Tsou 2001. P. 2399.

³² See, for instance, Pietarinen 2006; Pietarinen and Sandu 2009.



THE LOGIC OF FORBIDDEN COLOURS

games: informational independence, i.e. players' ignorance concerning the choices made in the game, and strategical independence that affect players' strategic decisions. Players may lack information concerning the structural meta-properties of the game, including the strategies used in the game, the values of the players' payoff functions, the number of agents in the opponent team or the size of one's own team, etc. PI logic is interested in the strategical independence. It goes back to John Harsanyi's pioneering work on games with incomplete information played by 'Bayesian' players³³.

The main idea of my proposal is the interpretation of opponency violations as payoff independence in 'stabilized-image' games between red/green or blue/yellow teams of cortical color-sensitive cells. In winner-take-all games, the following holds. If there is a winning strategy of the red team then there does not exist a winning strategy of the green team, and vice versa. In 'stabilized-image' games the information exchange between the opponent teams is blocked by the synergy of equi-luminance and stabilization on the cortical strategic meta-level. Consequently, both red and green (blue and yellow) teams have winning strategies in these games. In other words, 'stabilized-image' games are *over-defined*. Thus, the law of non-contradiction fails in the generalized logic of colours allowing the simultaneous perception of antagonistic pairs of colours. In contrast to winner-take-all games, 'stabilized-image' games are non-strictly competitive.

To clarify the interpretation, let me borrow a fanny 'chair analogy' from '*Some Remarks on Logical Form*'. For Wittgenstein, the proposition "Red and green don't go together at the same place at one time" is similar to the propositions "Brown and Jones now sit in this chair". As he says, "For if the proposition contains the form of an entity which it is about, then it is possible that two propositions should collide in this very form. The propositions, "Brown now sits in this chair" and "Jones now sits in this chair" each, in a sense, try to set their subject term on the chair. But the logical product of these propositions will put them both there at once, and this leads to a collision, a mutual exclusion of these terms"³⁴.

Obviously, this 'chair analogy' gives rise to a worry. Wittgenstein seems to speak here about physical, not about visual space. In my point of view, there is no need to worry if we don't consider grammatical rules to be empirical statements. As Wittgenstein pointed out in '*The Blue book*', "We don't say that the man who tells us he feels the visual image two inches behind the bridge of his nose is telling a lie or talking nonsense. But we say that we don't understand the meaning of such a phrase. It combines well-known words, but combines them in a way we don't yet understand. The grammar of this phrase has yet to be explained to us"³⁵. The proposition "A is red and green" has no sense, because internal relations are scaffolding for logical space. Internal relations exist in logical, that is, informational space. So, if red team does not know that green team already has winning strategies, it is logically possible that red and green go together at the same place at one time in

³³ See: Harsanyi 1967.

³⁴ Wittgenstein 1929. P. 169.

³⁵ Wittgenstein 1958b. P. 9.



the informational space. Brown and Jones can sit together in one chair if this chair is a part of the logical space furniture.

On the other hand, the appeal to neuroscience seems to be unsuitable for the interpretation of Wittgensteinian notion of ‘logical space’ since he clearly does not think that the science, and particularly neuroscience, is relevant to the resolution of philosophical problems. In a famous passage from ‘*Philosophical Investigations*’ §109 Wittgenstein stresses the distinction between his methods and those of sciences: “It was true to say that our considerations could not be scientific ones <...> There must not be anything hypothetical in our considerations. We must do away with all explanation, and description alone must take its place. And this description gets its light, that is to say its purpose, from the philosophical problems. These are, of course, not empirical problems; they are solved, rather, by looking into the workings of our language, and that in such a way as to make us recognize those workings: in despite of an urge to misunderstand them. The problems are solved, not by giving new information, but by arranging what we have always known. Philosophy is a battle against the bewitchment of our intelligence by means of language”³⁶. Moreover, Wittgenstein considered psychological concepts to be everyday concepts. As he says in ‘*Remarks on the Philosophy of Psychology*’, “Psychological concepts are just everyday concepts. They are not concepts newly fashioned by science for its own purposes, as are the concepts of physics and chemistry. Psychological concepts are related to those of the exact sciences as the concepts of the science of medicine are to those of old women who spend their time nursing the sick”³⁷. According to Wittgenstein, nothing that science discovers will affect the application of psychological concepts. Thus, neuropsychological data cannot influence the geometry of *our* colour space. Furthermore, he claimed in ‘*Remarks on Colour*’, “But even if there were also people for whom it was natural to use the expressions ‘reddish-green’ or ‘yellowish-blue’ in a consistent manner and who perhaps also exhibit abilities which we lack, we would still not be forced to recognize that they see colours which we do not see. There is, after all, no commonly accepted criterion for what is a colour, unless it is one of our colours”³⁸. Wittgenstein put the question: “But can I describe the practice of people who have a concept, e.g. ‘reddish-green’ that we don’t possess?” In any case I certainly can’t teach this practice to anyone”³⁹. If we ask: “Now to what extent is it a matter of logic rather than psychology that someone can or cannot learn a game?” Wittgenstein thinks it sufficient to reply: “The person who cannot play *this* game does not have *this* concept”⁴⁰. Speaking about ‘logical space’ we deal with logic rather than with psychology. As Wittgenstein says, “When dealing with logic, ‘One cannot imagine that’ means: one doesn’t know what one should imagine here”⁴¹.

³⁶ Wittgenstein 1958a. P. 47.

³⁷ Wittgenstein 1980. P. 12.

³⁸ Wittgenstein 1977. P. 4.

³⁹ Ibid. P. 32.

⁴⁰ Ibid. P. 31.

⁴¹ Ibid. P. 6.



I suppose however that some new neuropsychological experiments may influence our language games, which, in turn, constitute what the colours are. Howard Lovecraft showed in his famous novel *'The Colour Out of Space'* how the experience of the extra-cosmic colour which is impossible in human viewing may destroy our 'form of life'. In fact, our language-games with colours are historically changeable; and neuropsychological experiments may contribute to our phenomenal history of colours. It is possible, for example, that tomorrow the invention of special glasses with a built-in eyetracker will make reddish green and bluish yellow new common colours of our everyday 'form of life'.

The imaginary logic of 'forbidden' colours

Furthermore, I suggest that PI logic of 'forbidden' colours may confirm Nikolay Vasiliev's project of imaginary logic. Vasiliev classified all judgments into judgments on facts and judgments on concepts. He called the logic of concepts 'imaginary', taking the term from Lobachevski's definition of his geometry. As Aristotelian logic (like Euclidean geometry) concerns the real world, so Vasiliev's imaginary logic (like Lobachevski's geometry) concerns imaginary worlds. Logical structures are divided into the two levels: of metalogic, the level of necessary laws which cannot be eliminated without distracting the logic itself, and of ontology, which includes laws depending on some specific properties of the object investigated. First level is connected with epistemological commitments and second level depends on ontological commitments. According to Vasiliev, the universally valid law of excluded self-contradiction, which tells us that 'no proposition can be simultaneously true and false', belongs to the level of metalogic, but the law of excluded contradiction, which Vasiliev formulated as 'no object can have a predicate which contradicts it', belongs to the level of ontology and therefore its validity depends on the characteristics of the objects being investigated. As Vasiliev says, the law of excluded contradiction is empirical and real, i.e. it is the reduced formula comprising the uncountable facts, like that red is incompatible with dark blue, white, black, etc.; the silence is incompatible with noise, rest with movement, etc.⁴².

Thus, we can reject the 'empirical' law of excluded contradiction, and, as a result, the law of colour incompatibility, because the opposite is not unthinkable. For Vasiliev, contradictions do not occur in the world of facts but only in the world of concepts. However, if we would be able to perceive, for example, red and green together at the same place at one time, we can reject the law of excluded contradiction in our empirical world of facts. If we interpret the oppositional relation of red and green as a kind of independent negation, the perception of reddish green in 'stabilized-image' experiments gives us an empirical example of the violation of empirical law of excluded contradiction.

⁴² См.: Васильев 1989. С. 67.



Literature

- Vasilyev H.A.* (1989). *Воображаемая логика. Избранные труды.* М. : Наука.
- Barwise, J.* (1985). *Model-Theoretic Logic: Background and Aims* // Barwise J. and S. Feferman (eds.) *Model-Theoretic Logic.* Berlin : Springer-Verlag. P. 3-23.
- Billock, V.A., Gleason, G.A. and Tsou, B.H.* (2001) Perception of Forbidden Colors in Retinally Stabilized Equiluminant Images: an Indication of Softwired Cortical Color Opponency? // *J. of Optical Society of America.* Vol. 18, № 10. P. 2398–2403.
- Billock, V.A. and Tsou, B.H.* (2010) Seeing Forbidden Colors // *Scientific American.* Vol. 302, № 2. P. 72–77.
- Beaney, M.* (2009) Wittgenstein on Language: From Simples to Samples // *The Oxford Handbook of Philosophy of Language.* N.Y. : Oxford University Press Inc. P. 40–59.
- Clark, A.* (1985) Qualia and the Psychophysiological Explanation of Color Perception // *Synthese.* Vol. 65, № 3. P. 377–405.
- Crane, H.D. and Piantanida, T.P.* (1983) On Seeing Reddish Green and Yellowish Blue // *Science.* Vol. 221. P. 1078–1080.
- Dragalina-Chernaya, E.* (2013). *Model-Theoretic Languages as Formal Ontologies* // From the ALWS archives: A selection of papers from the International Wittgenstein Symposia in Kirchberg am Wechsel <<http://wab.uib.no/agora-alws/>>. Republication by the Wittgenstein Archives at the University of Bergen, 2013. Original publication in: *Papers of the 32st IWS: Language and World* (eds. Volker A. Munz, Klaus Puhl, Joseph Wang). Kirchberg am Wechsel: ALWS 2009. P. 78–80.
- Hardin, L.* (1988) *Color for Philosophers,* Hackett, Indianapolis and Cambridge MA.
- Harsanyi, J.* (1967) Games with Incomplete Information Played by ‘Bayesian’ players. Part I: The Basic Model // *Management Science,* Vol. 14. P. 159–182.
- Hintikka, J. and Hintikka, M.B.* (1983) Some Remarks on (Wittgensteinian) Logical Form // *Synthese.* Vol. 56, № 2. P. 155–170.
- Hintikka, J. and Sandu, G.* (1989) Informational Independence as a Semantical Phenomenon // Fenstad J.E. et al. (eds). *Logic, Methodology and Philosophy of Science.* Vol. 8. Amsterdam : Elsevier. P. 571–589.
- Hintikka, J.* (2009) Logical Versus Nonlogical Concepts: An Untenable Dualism? // Rahman S. et al. (eds). *Logic, Epistemology and the Unity of Science.* Springer. P. 51–56.
- Horst, S.* (2005) Modeling, Localization and the Explanation of Phenomenal Properties: Philosophy and the Cognitive Sciences at the Beginning of the Millennium// *Synthese.* Vol. 147, № 3. P. 477–513.
- Husserl, E.* (1969) *Formal and Transcendental Logic.* Dordrecht : Kluwer Academic Publishers.
- Kant, I.* (1929) *Critique of Pure Reason,* Tr. N. Kemp Smith, L. : Macmillan.
- Lindström, P.* (1966) First Order Predicate Logic with Generalized Quantifiers // *Theoria.* Vol. 32, P. 186–195.



Mulligan, K. (1991) Colors, Corners and Complexity; Mejnong & Wittgenstein on some Internal Relations // B.C. van Fraassen et al. (eds). Existence and Explanation: Essays in Honor of Karel Lambert. The University of Western Ontario Series in Philosophy of Science Dordrecht: Kluwer. P. 77–101.

Noë, R. (1994) Wittgenstein, Phenomenology and What It Makes Sense to Say // Philosophy and Phenomenological Research. Vol. 54, № 1. P. 1–42.

Putnam, H. (1956) Reds, Greens, and Logical Analysis // The Philosophical Review. Vol. 65, № 2. P. 206–217.

Pietarinen, A.V. (2006) Independence-Friendly Logic and Games of Information // J. van Benthem et al. (eds). The Age of Alternative Logics: Assessing Philosophy of Logic and Mathematics Today. Springer. P. 243–259.

Pietarinen, A.V. and Sandu, G. (2009) IF Logic, Game-Theoretical Semantics, and the Philosophy of Science // Rahman S. et al. (eds). Logic, Epistemology and the Unity of Science. Springer. P. 105–138.

Quine, W.v.O. (1970) The Philosophy of Logic. Harvard Univ. Press.

Sher, G. (1991) The Bounds of Logic: A Generalized Viewpoint. Cambridge : MIT.

Sher, G. (1996) Did Tarski Commit “Tarski’s Fallacy”? // The Journal of Symbolic Logic. Vol. 61, № 2. P. 653–686.

Tarski, A. (1986) What are Logical Notions? // History and Philosophy of Logic. Vol. 7. P. 143–154.

Van Benthem, J. (1989) Logical Constants Across Varying Types // Notre Dame Journal of Formal Logic. Vol. 30. P. 315–342.

Westphal, J. (2005) Conflicting Appearances, Necessity and the Irreducibility of Propositions about Colours // Proceedings of the Aristotelian Society, New Series. Vol. 105. P. 219–235.

Wittgenstein, L. (1922) Tractatus Logico-Philosophicus, London : Routledge & Kegan Paul.

Wittgenstein, L. (1929) Some Remarks on Logical Form // Proceedings of the Aristotelian Society. Vol. 9 (Supplemental). P. 162–171.

Wittgenstein, L. (1958a). Philosophical Investigations. Oxford : Basil Blackwell.

Wittgenstein, L. (1958b) The Blue and Brown Books. Oxford : Blackwell.

Wittgenstein, L. (1993) Conversations Recorded by Friedrich Waismann // Ludwig Wittgenstein: Philosophical Occasions 1912–1951. Indianapolis : Hackett. P. 162–171.

Wittgenstein, L. (1975) Philosophical Remarks. Oxford : Blackwell.

Wittgenstein, L. (1977) Remarks on Colour. Oxford : Blackwell.

Wittgenstein, L. (1980) Remarks on the Philosophy of Psychology. Vol. II. Oxford : Blackwell.



ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ПОДЛИННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ (ОБ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКЕ В ПСИХОЛОГИИ)¹

Надежда Александровна Касавина – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН.
E-mail: kasavina.na@yandex.ru

Статья посвящена методологическим трансформациям в психологии и психотерапии в их отношении к экзистенциальной философии. Охарактеризованы некоторые черты феноменологического метода в экзистенциальной психологии. Описываются переживания аутентичности и неаутентичности человеческого бытия, неизбежные проблемы его формирования (содержание психотерапевтического процесса) для демонстрации того, как происходит их концептуализация в контексте экзистенциальной философии. Особые формы работы с личностью в экзистенциальной психотерапии, использующей специфические экзистенциалы или их совокупности, показывает, что психологическая практика нуждается в философской концептуализации для схватывания таких фундаментальных компонентов сознания, как переживание, смысл, ценность, жизнь. Пример альянса экзистенциальной психотерапии с философией представляет равноправную альтернативу натуралистическим трендам в психологии.

Ключевые слова: экзистенция, психология, психотерапия, феноменология, понимание, аутентичность бытия, роль философии, тревога.

TOWARDS THE AUTHENTICITY OF HUMAN BEING (ON THE EXISTENTIAL DYNAMICS IN PSYCHOLOGY)



Nadezhda Kasavina – PhD, Senior Researcher at the Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences

The article dwells on some methodological transformations in psychology and psychotherapy in their relation to the ideas of existential philosophy. The certain features of phenomenological method in existential psychology are characterized. The experience of authenticity and inauthenticity of human existence, inevitable tensions of its formation (content of psychotherapeutic process) are described in order to demonstrate a way of conceptualizing in terms of existential philosophy. Specific forms of dealing with personality in existential psychotherapy using particular existentials or their sets shows that psychological practice requires philosophical conceptualization for grasping the fundamental constituents of the human mind like as experience, meaning, value, and life. The case of alliance of existential psychotherapy with philosophy presents an equal alternative to the naturalistic psychological trends.

Key words: existence, psychology, psychotherapy, phenomenology, understanding, authenticity of being, role of philosophy, anxiety.

¹ Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 11-03-00295а.



Методологический поворот в психологии

В данной статье пойдет речь о некоторых методологических трансформациях в психологии и психотерапии в их связи с идеями, выдвигаемыми в рамках экзистенциальной философии.

Институционализация науки (в XIX в. связанная с парадигмой естествознания) почти всегда связана с формированием какой-то определяющей школы (как позитивизм в социологии или психоанализ в психологии), которая выделяет и особым образом исследует новую проблемную область. Впоследствии ее идеи, разумеется, пересматриваются, дополняются, что дает начало новым школам и направлениям.

В ранних школах психологии (классическом психоанализе, бихевиоризме) действовал «принцип гомеостаза», сформировавшийся в физиологии и ориентирующий на управление человеческим поведением. С этим принципом были связаны исследования инстинктов как движущей силы поведения, уровней сознания, неврозов, защитных механизмов эго, возможностей контроля поведения посредством стимулов и проч.

Наличие методологического кризиса и необходимость «поворота к человеку» в психологии были обнаружены философами еще в конце XIX – начале XX в. в работах Ф. Brentano, В. Дильтея, Э. Шпрангера, К. Ясперса, Л. Бинсвангера. Они обосновали автономность «психологии наук о духе» по отношению к «естественно-научной», или «понимающей», психологии по отношению к «объясняющей».

В XX в. этот методологический призыв был воспринят в гуманистической психологии, логотерапии, феноменологической психологии и психиатрии, экзистенциальной психологии – в направлениях, границы которых весьма условны и сформировались постепенно. Тем не менее они укладываются в общее гуманистическое «движение к личности» в психологии, отдающей приоритет опыту, поиску смысла жизни и актуализации возможностей развития человека.

Общей методологической основой этих направлений являются феноменология Э. Гуссерля, а впоследствии М. Хайдеггера и М. Мерло-Понти, герменевтика, экзистенциальная философия. Если позитивистская социология и экспериментальная психология сводили социально-культурные процессы к физическим и биологическим закономерностям, то здесь на первый план выступает нередуцируемый экзистенциальный смысл жизни человека и происходящих с ним событий.

Экзистенциальный анализ, одно из первых направлений этого поворота в психологии, возникает как попытка переосмыслить психоанализ в связи с данными направлениями западной философии XX в. и теми понятиями и идеями, которые были разработаны в ее рамках. Согласно А. Лэнгле, «экзистенциальный анализ стремится мобилизовать способность человека принимать решения (К. Ясперс), основанную на активном доступе к эмоциональности (М. Ше-



лер) в диалогическом обмене (М. Бубер) с внешними и внутренними ситуационными данностями (В. Франкл)»².

Экзистенциальная психология внесла немалый вклад в понимание человека и экзистенциального опыта как непрерывного процесса существования, проявляющегося в отношениях личности с миром, где духовное измерение выступает приоритетным по сравнению с физическим и социальным. Экзистенциальный контекст существования человека становится ключом к пониманию способа его жизни, в том числе и различных невротических отклонений в личностном развитии.

Знание о человеке и его развитии стало более широким и контекстным. Ясперс, размышляя о том, какими должны быть социология и психология как универсальные науки о духе, каким должен быть их характер как «просветляющего экзистенцию мышления», указывает, что если психология ограниченно изучает только феномены сознания в их отделенности от биологической и духовной действительности, она теряется точно так же, как и социология, если изучает общественные отношения в их чистой формальности. Согласно Ясперсу, только если науки захватывают биологическое и духовное в их взаимосвязи, они получают некоторое значимое знание³.

Гуманистическое движение в психологии, частью которого является экзистенциальная психология, обратилось к изучению целостных проявлений психики человека как субъекта бытия. В.В. Знаков замечает, что предметом исследования в этой области психологической науки являются не единичные психические процессы или свойства, а целостные смысловые образования, выражающие ценностное отношение субъекта к миру. Основной акцент здесь делается на анализе ценностных аспектов бытия, имеющих для человека не только конкретно-ситуативный, но и более общий экзистенциальный смысл. Экзистенциальный план исследования психической реальности отражается в направленности ученых на исследование вариантов порождения *опыта*, имеющего смысл для субъекта⁴.

Своеобразный синтез экзистенциальной философии и психологии разворачивается не только вследствие осознанной необходимости трансформации последней, но и отчасти потому, что в рамках самой философии разрабатываются способы ее влияния на научную практику. Это является важной формой существования экзистенциализма с конца XX в. и по сегодняшний день.

В отношении развития и психоанализа, и экзистенциальной философии во второй половине XX в. А.М. Руткевич, в частности, пишет: «Если сегодня ждать нового взлета экзистенциализма как философской теории не приходится, то именно психология и психиатрия наряду с теологией оказались на Запа-

² Лэнгле А. Терапевтический случай нахождения собственного Я (применение метода персонального экзистенциального анализа) // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2005. Т. 2, № 2. С. 82.

³ См.: Ясперс К. Философия. Кн. 1. Философское ориентирование в мире. М., 2012. С. 225–231.

⁴ См.: Знаков В.В. Экзистенциальный опыт субъекта как проблема психологии человеческого бытия // Субъектный подход в психологии; под ред. А.Л. Журавлева, В.В. Знакова, З.И. Рябикиной, Е.А. Сергиенко. М., 2009. С. 211–225.



де теми областями, где эта философия укоренилась довольно прочно и откуда она продолжает оказывать свое влияние»⁵. Действительно, экзистенциальная психология является в социально-гуманитарных науках наиболее близкой преемницей духа и отдельных идей экзистенциальной философии. Экзистенциальное направление в психологии некоторые авторы рассматривают как приложение философских концепций к психологии и психотерапии⁶. Причем в ряде случаев имеет место признание того, что экзистенциальная философия обозначила проблемы существования человека, а их практическое решение, помимо личных усилий конкретного человека, отведено системам профессиональной практической работы, в частности, образования и психотерапии. Так, П. Седжвик, характеризуя подход Р. Лэнга, пишет о том, что экзистенциальная философия с ее трагичностью и нечеткостью была поставлена на службу конкретной, социально важной цели понимания психически больного⁷.

Позже не только в рамках социально-гуманитарных наук, но и в самой философии осуществляются поиски решения поставленных экзистенциализмом методологических проблем. Так, О. Больнов (на которого, в частности, оказали влияние идеи Шпрангера), считая экзистенциализм только выражением кризиса современности, а не его результатом или разрешением, говорит о необходимости осмысленного поиска его преодоления. Согласно Больнову, здесь скорее всего необходима новая, принципиально отличная от экзистенциалистской, постановка вопросов, так как «трудно прокрасться мимо экзистенциализма и делать вид, как будто его вовсе не существует, трудно и оставаться в его рамках и преднамеренно упорствовать в нем...»⁸. Больнов призывает к преодолению экзистенциализма, называя задачу решающей для современной философии.

Этот призыв можно соотносить с проблемой переосмысления и преодоления психоанализа, что в XX в. осуществляет целый ряд авторов в области как психологии, так и философии. В философском пространстве XX в. следует выделить фигуру П. Рикёра, который, испытав влияние Ж.П. Сартра, предпринимает попытку переосмыслить психоанализ с позиций экзистенциальной феноменологии.

Рикёр пытается сочетать персонализм с лингвистикой, сформулировав свою археологию и телеологию субъекта⁹ – проект, который уже в 1970-х гг. поддержит сам М. Фуко. Он не случайно использует термин Рикёра «герменевтика субъекта», выстраивая свою концепцию самоконституирующегося субъекта. Рикёр, весьма близкий экзистенциализму и посвятивший одну из своих работ столпам экзистенциальной философии – Г. Марселю и К. Яспер-

⁵ Руткевич А.М. От Фрейда к Хайдеггеру: критический очерк экзистенциального психоанализа. М., 1985. С. 5.

⁶ См.: Лэнгле А., Орлов А.Б., Шумский В.Б. Экзистенциальный анализ и клиентоцентрированная психотерапия: сходство и различие // Вопросы психологии. 2007. № 6. С. 21–36.

⁷ См.: Sedgwick P.R.D. Laing: Self, Symptom and Society. N.Y., 1971. P. 4.

⁸ Больнов О. Новая укрывость. Проблема преодоления экзистенциализма. Введение // Философская мысль. 2012. № 1. С. 138.

⁹ См.: Ricoeur P. De l'interprétation. Essai sur S. Freud. P., 1965.



су¹⁰, развивая идеи З. Фрейда, пополняет список экзистенциальных переживаний «желанием» (которое совпадает с его более знаменитым концептом воли), в котором он видит условие человечности. Приглашенный на заседание Французского философского общества в январе 1966 г. с целью раскрыть содержание своей недавно вышедшей книги о Фрейде, Рикер делает доклад на тему «Философская интерпретация Фрейда»¹¹, где излагает свою теорию субъекта. Он представляет мысль Фрейда развивающейся последовательно в три системы, первая из которых – механицистская, с центральным понятием психического аппарата, вторая, хронологически сменяющая первую, опирается на конфликт между желанием и культурой, а третья, заключительная, касается основ экзистенции, создавая драму жизни и смерти с появлением концепции влечения к смерти¹². Эти идеи внесли свой вклад в экзистенциальное переосмысление психоанализа.

В свое время достаточно подробно влияние феноменологии, герменевтики, экзистенциальной философии на психологию рассмотрено Руткевичем в широко цитируемой российскими авторами работе¹³. Влияние Гуссерля и Хайдеггера показано им через целый ряд значимых фигур. Среди них Л. Бинсвангер, который трансформировал «экзистенциальную аналитику» Хайдеггера в экзистенциальный анализ; Р. Мэй, стремившийся совместить реформированный психоанализ Фрейда с идеями С. Кьеркегора, прочитанного сквозь призму идей Хайдеггера, Тиллиха и Бинсвангера; Лэнг, испытавший влияние «экзистенциального психоанализа» Сартра; М. Босс, который ориентировался на онтологию Хайдеггера; В. Франкл, который следует за Гуссерлем и Шелером в критике психологизма и в обосновании феноменологического «усмотрения сущностей» в логотерапии. Мы сосредоточимся на дальнейшем развитии экзистенциального подхода в психологии и обратимся к более поздним авторам (Дж. Бьюдженталь, Э. ван Дорцен, А. Лэнгле, Э. Спинелли), продолжившим синтез феноменологии, экзистенциальной философии, психологии и психотерапии.

Особенности экзистенциальной психологии

Экзистенциальная психология обладает рядом признаков, которые в отдельности сближают ее с феноменологической психологией, гештальттерапией, клиент-центрированной психотерапией, культурно-исторической психологией, нарративным подходом и другими направлениями. Как отмечает Ле-

¹⁰ См.: *Dufrenne M., Ricoeur P.* Karl Jaspers et la philosophie de l'existence, P., 1947; *Ricoeur P.* Gariel Marcell et Karl Jaspers. Philosophie du mystère et philosophie du paradoxe. P., 1948.

¹¹ См.: *Ricoeur P.* Une interpretation philosophique de Freud // Bulletin de la société française de philosophie. 1966. Jan. P. 73–107.

¹² См.: Анализ текстов на французском языке подготовлен с участием А.С. Игнатенко в рамках гранта № МК-1838.2012.6 Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых (рук. Н.А. Касавина).

¹³ См.: *Руткевич А.М.* Указ. соч.



онтьев, нет, пожалуй, ни одного абсолютно специфического признака, который был бы присущ только экзистенциальному взгляду на мир. Для экзистенциального подхода специфична только их уникальная комбинация¹⁴. Рассмотрим некоторые особенности феноменологического понимания в экзистенциальной психологии (аспект метода), представления о подлинности и неподлинности существования человека, неизбежной напряженности его становления (аспект содержания психотерапевтического процесса), что демонстрирует способ концептуализации в ее рамках тех категорий и представлений, которые разрабатывались экзистенциальной философией.

Понимание в экзистенциальной психологии

Новая смысловая направленность психологии сопровождалась поиском адекватных методов познания субъективности человека. К XX в. в психологии, как и в социологии, разворачивается поиск новых способов понимания, что выражает общую тенденцию исследования субъективности в философии и социально-гуманитарных науках. Понимающая парадигма является важным моментом экзистенциального подхода в психологии в отличие от объяснения, свойственного психоанализу и бихевиоризму, когда каждый конкретный случай интерпретируется при помощи некоторой общей теории или закономерности. Понимающая парадигма, напротив, стремится постичь субъективный и каждый раз уникальный смысл переживаний и суждений конкретного человека¹⁵.

На более полном и детальном изучении субъективных переживаний личности сосредоточилась прежде всего феноменологическая психология, идеи которой позже были переосмыслены в рамках экзистенциальной психологии¹⁶. Свою роль в закреплении феноменологического подхода в психологии и психиатрии сыграл К. Ясперс. Его книга (и докторская диссертация) содержала отдельную часть, посвященную феноменологическому описанию различных психических расстройств (галлюцинаций, бреда и др.)¹⁷. Поздний Бинсвангер, Мэй, Лэнг, Я.Х. Ван ден Берг и др. в рамках экзистенциального подхода переориентировали феноменологию с анализа структур сознания на понимание различных способов бытия человека в мире¹⁸. Лэнг обращается к опыту больного, его взгляду на мир и переживанию им самого себя, к описа-

¹⁴ Леонтьев Д.А. Восхождение к экзистенциальному миропониманию // Третья Всероссийская научно-практическая конференция по экзистенциальной психологии: материалы сообщений; под ред. Д.А. Леонтьева. М., 2007. С. 3–12.

¹⁵ См.: Лэнгле А., Орлов А.Б., Шумский В.Б. Указ. соч.

¹⁶ См.: Улановский А.М. Феноменологический метод в психологии, психиатрии и психотерапии // Методология и история психологии. 2007. Т. 2, вып. 1. С. 130–150.

¹⁷ См.: Ясперс К. Общая психопатология. М., 1997.

¹⁸ См.: Бинсвангер Л. Бытие-в-мире. М., 1999; Лэнг Р. Расколотое Я. СПб., 1995; Мэй Р. Происхождение экзистенциальной психологии // Экзистенциальная психология. Экзистенция. М., 2001; Berg Y.H. van den. The Phenomenological Approach to Psychiatry: An Introduction to Recent Phenomenological Psychopathology. Springfield: Charles C. Thomas, 1955.



нию целостности человеческого бытия; руководствуясь проектом Ясперса, связывает особенности экзистенциально-феноменологического подхода с категорией «бытие-в-мире»: «Экзистенциальная феноменология пытается изобразить природу переживания личностью своего мира и самое себя. Это попытка не столько описать частности переживания человека, сколько поставить частные переживания в контекст всего его бытия-в-его-мире»¹⁹. В стремлении к целостности, к реконструкции бытия пациента в его мире более всего заметно влияние экзистенциально-феноменологической позиции.

Важным отличительным моментом традиционного феноменологического анализа от экзистенциального анализа является исследование биографии, а не только непосредственных переживаний человека. В качестве примера выступает исследование биографии, проводимое Бинсвангером с опорой на интерпретативные психоаналитические методы.

Процесс понимания предстает в экзистенциальной психотерапии как создание смыслового поля между миром психотерапевта и миром пациента. Помимо открытости по отношению к пациенту исследователь, как отмечает Лэнгле, верит также своим эмоциям, которые возникают в ответ на впечатление. Его задача – не пропустить впечатления и дать ему время для развития. Лэнгле отмечает роль самопознания и самопонимания, говоря о важности хорошего знания собственных эмоциональных проблем, страхов, желаний, чтобы не ошибиться в сущности познаваемого²⁰.

Мы подходим к важной и универсальной для психотерапии проблеме противостояния принципа редукции и вопроса раскрытия. Терапевт должен найти баланс между объективностью, «заключением в скобки» собственного личностного опыта и глубокой эмоциональной включенностью, человечностью. Здесь в своем особом варианте проявляется тенденция к очищению знания от субъективности, которая свойственна классической философии. Характерно, что она сохраняется в поисках новых способов познания в неклассической философии и социально-гуманитарных науках и обретает актуальность в связи с новым синтезом классики и неклассики в период развития постнеклассической науки.

Вопрос раскрытия – сложная проблема психотерапии. Насколько опыт психотерапевта подлежит обзору для пациента? Согласно Дж. Бьюдженталю, терапевт должен быть «будильником» для пациента, «кем-то большим, чем просто превосходным, зеркально отражающим слушателем»²¹. Эти слова соответствуют представлению об экзистенции как отношении, конституирующим элементом которого является диалог – основа «пробуждения» пациента к личностному росту.

¹⁹ Лэнг Р. Указ. соч. С. 7.

²⁰ См.: Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности : сборник статей. М., 2008. – // <http://childpsy.ru/lib/books/id/22997.php#raz>.

²¹ Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. СПб.: Питер, 2001. С. 95.



Э. Спинелли посвящает категории раскрытия главу своей книги²². Аргументы против раскрытия связаны с тем, что оно является вторжением, затрудняющим проекцию внутреннего мира пациента, саму психотерапевтическую процедуру. И одновременно, как пишет Спинелли, в психотерапии выбор экзистенциального подхода требует рассматривать психотерапевтический процесс как межличностную встречу. Проблему раскрытия он решает через фокусировки диалога в процессе встречи, три из которых особенно существенны для исследования и прояснения: «я-фокусированная» сфера (мой текущий опыт самого себя, проживающего эту встречу), «ты-фокусированная» сфера (мой опыт «другого», находящегося в отношениях со мной), «мы-фокусированная» сфера (мой опыт «нас», находящихся в отношениях друг с другом). Большой интерес представляет «мы-фокусированный» уровень, к которому следует отнести более традиционный для феноменологического понимания этап деструкции. На этом этапе терапевт подвергает свое впечатление сомнению и в виде обратной связи предъявляет его пациенту для перепроверки и подтверждения либо опровержения.

Значимость указанного этапа психотерапевтического процесса отмечает Э. ван Дорцен на примере сессий с пациенткой Лаурой²³. После проведенных встреч и последующего обмена с клиентом письменными заключениями ван Дорцен была организована заключительная дискуссия, которая, по замечанию самой Лауры, имела для нее самое большое значение во всей пройденной терапии. Они обсудили письменное заключение каждой, перечитали записи терапевта, содержащие множество деталей, пациентка предложила много мелких поправок к отчету, после чего одобрила последний. Лаура особенно оценила эту работу в сотрудничестве и то, что терапевт показала себя человеком, способным критиковать себя. По мнению самой ван Дорцен, они сделали больше работы при составлении отчета, чем при проведении самих сессий.

По словам ван Дорцен, ей «совершенно ясно теперь, что экзистенциальная работа действительно является процессом честности и искренности. Она позволяет каждому бросить вызов жизни. Она о движении психотерапии от изолированных и романтизированных трансферных отношений призывает к участию, в котором взаимность будет использована для сосредоточения настолько четко, насколько это возможно на конкретных переживаниях клиентом реальности»²⁴.

Этот пример помимо всего подтверждает принцип доверия пациенту в процессе помощи ему при поиске собственного направления в жизни с использованием значимых переживаний, в осмыслении собственных целей и намерений и отношения к жизни вообще.

²² См.: Спинелли Э. Зеркало и молоток. М., 2009. С. 47.

²³ Дорцен Э. ван. Случай исследования // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. 2003. № 2–3.

²⁴ Там же.



Духовное измерение терапии

Влияние феноменологии и герменевтики на психотерапию обнаруживается в оформлении особой методологии понимания и процесса экзистенциального анализа. Влияние же экзистенциальной философии проявляется в том смысловом содержании, которое способствует упорядочению и осмыслению личностью своего собственного бытия и которое направляет терапевта в работе с пациентом.

Экзистенциальная психология и психотерапия сосредоточены на духовном измерении жизни человека и связанных с ним категориях. В их числе выступают жизнь, смерть, выбор, решение, ответственность, свобода, смысл, онтологическая тревога и вина, подлинность и неподлинность существования и др. Они составляют картину бытия, которая представлена в форме универсальных дихотомий, проблем человеческого существования и возможностей их разрешения.

Согласно экзистенциальному подходу в психотерапии, базисный конфликт и связанное с ним развитие человека обусловлены конфронтацией индивида с данностями существования, его фундаментальными экзистенциальными проблемами – конечными, глубинными факторами, являющимися неотъемлемой, неизбежной составляющей бытия человека в мире (И. Ялом). С.Л. Братченко предлагает свести эти проблемы к четырем главным «узлам». Каждый из них содержит антиномии-полярности, в пространстве которых, собственно, человеку и надлежит делать экзистенциальные выборы. Это проблемы жизни и смерти; детерминизма, свободы и ответственности; смысла и его утраты; общения и одиночества²⁵. Возникновение психических нарушений связывается с неспособностью человека решать для себя фундаментальные проблемы, проживать свое духовное измерение и достигать экзистенции. Так, центральная идея книги ван Дорцен состоит в том, что многие проблемы человеческого становления возникают не вследствие патологии личности, а как результат «сущностных парадоксов человеческого существования»²⁶. Подход ван Дорцен соответствует важнейшему признаку экзистенциального подхода в психотерапии – признанию принципиальной непредсказуемости и изменчивости развития, высокой толерантности к неопределенности²⁷. Он является прямым следствием из экзистенциальной философии, представители которой склонны рассматривать личностный кризис как открытие новых возможностей. Так, немецкий экзистенциальный философ Больнов утверждал, что жизнь, существование и кризис составляют одно целое. Кризис есть толчок к изменению опыта, решение, когда индивид должен выбрать между различными возможностями

²⁵ Братченко С.Л. Экзистенциальная психология глубинного общения. Уроки Джеймса Бьюджентала. М., 2001.

²⁶ Дорцен Э. ван. Практическое экзистенциальное консультирование и психотерапия. М., 2007.

²⁷ См.: Леонтьев Д.А. Указ. соч.



ми²⁸. В этой связи экзистенциальная психотерапия прямо не претендует на изменение личности; в центре – трансформация понимания личностью процесса конкретной жизни, противоречий и парадоксов повседневности, поиск и осуществление реальных жизненных возможностей. Важно осознать, что многие проблемы человеческой жизни, если не большинство, не относятся к числу легко разрешимых или вообще разрешимых²⁹. Цель психотерапевта заключается в том, чтобы научить пациента находить согласие в ситуации неизбежно-го как внутреннего, так и внешнего конфликта, приходиться к ощущению подлинности существования.

О подлинности человеческого существования и противостоящих ей переживаний хотелось бы сказать отдельно, так как в этом в большой степени проявляется роль экзистенциальной философии в формировании содержания экзистенциальной психотерапии.

Фундаментальная тревога, тоска, беспокойство рассматриваются как фундаментальные переживания, приходящие в жизнь человека спонтанно, независимо от его усилий. Ни один человек не свободен от этих переживаний, и ни один не может навсегда избавиться от них. Однако посредством этих переживаний человек открывает возможности собственного бытия. Они есть ключ к подлинности, *которая в отличие от тревоги и страха не приходит сама, ее нужно установить*. Человеку не хватает его самого, он «вынужден» выстраивать самого себя и такие отношения с миром, чтобы достигать в них того, что называется автономностью (А. Маслоу), аутентичностью, подлинностью, экзистенциальной идентичностью (Бьюдженталь), исполненной экзистенцией (Лэнгле), т.е. некоего состояния личностной гармонии. На этом примере представлений о подлинности человеческого существования и связанных с ними категорий можно также проследить, каким образом осуществляются шаги к прояснению терминологии экзистенциальной философии для практической работы в рамках экзистенциального подхода. Например, Лэнгле выделяет четыре фундаментальные мотивационные силы, которые представляют собой основные условия для осуществления исполненной экзистенции: отношения человека с окружающим миром, с жизнью, с самим собой и с будущим³⁰. В соответствии с этими условиями «исполненная экзистенция» имеет свою основу в принятии реальности; во внимательном обращении с отношениями и ценностями; в уважении индивидуальности (как своей, так и других); в согласовании со смыслом, с тем, что должно быть.

Важность изучения неподлинности бытия человека для самой институционализации психологии как эмпирической науки показывает Ясперс: «Если психологию и социологию понимают как знание о подлинном бытии че-

²⁸ См.: Bollnow O. *Krise und neuer Anfang*. Heidelberg, 1966; *Existenzphilosophie und Pädagogik*. Stuttgart, 1959.

²⁹ См.: Спинелли Э. Указ. соч. С. 21–22.

³⁰ См.: Лэнгле А. Фундаментальные мотивации человеческой экзистенции как действенная структура экзистенциально-аналитической терапии // *Психотерапия*. 2004. № 4. С. 41–48.



ловека, то они утрачивают характер эмпирических наук; выступив за рамки присущего им в ходе ориентирования в мире познавательного напряжения, они становятся смертельными врагами философии. Они поставляют тогда соблазнительные оправдания, потому что целокупность существования, видимо, не только мнится (*gemeint*), но и всецело находится тогда под контролем познания (*im Griff der Erkenntnis ist*). Нужно признать уклонением от возможной свободы и непониманием границ возможного для науки, если сегодня полагают возможным находить окончательную истину о бытии в таких формулах, из которых, скажем, марксистская и психоаналитическая формулы оказались более всех пригодными для искоренения человеческого достоинства, имеющего свой источник в самобытии из свободы (*Selbstsein aus Freiheit*)³¹.

Значимость неподлинности существования в развитии человека показывает, в частности, ван Дорцен в контексте идей Хайдеггера. Тревога есть осознание человеком потенциальности своего бытия. Тревога проявляет для человека даже не столько его подлинность либо не-подлинность, сколько самую возможность их обеих. Она показывает человеку фундаментальное бытие в мире. Человек тревожится потому, что он внутренне не завершен, он не в безопасности, он не сущностен³². Кроме того, человек испытывает страх небытия. И только проходя через этот страх, человек может прочувствовать экзистенцию – непрерывность своего бытия, неосязаемого, но постоянно присутствующего Я, которое боится, упорствует и возникает из небытия. Такие личностные изменения описывает Бюдженаль на примере сессий с Ларри³³.

В результате личностного развития человек не должен стремиться к избавлению от такого страха или тревоги, тем более что избавиться от них невозможно. Он должен прийти к большему. Спинелли отмечает, что «психотерапия важна не только в том смысле, чтобы найти способы жить с неопределенностью и неизвестностью, с которыми мы сталкиваемся, но и чтобы эти данности жизни могли восприниматься как ободряющие и приносящие радость, а не только как пугающие и причиняющие боль»³⁴. Это в некоторой степени согласуется с идеей преодоления экзистенциализма, выдвинутой Больновом, и необходимостью выхода личности на пути развития к новому доверию бытию. Эти взгляды являются также примером отношения к человеку как неповторимой целостности, в которой даже нарушения заслуживают отношения к ним как к ценности.

Ван Дорцен, рассуждая в унисон со Спинелли, подчеркивает ценность личностных нарушений, говоря о том, что «люди ровно настолько являются

³¹ Ясперс К. Философия. Кн. 1. Философское ориентирование в мире. М., 2012. С. 231–232.

³² См.: *Deurzen E. van. Everyday Mysteries*. L. : Routledge, 1997; *Deurzen E. van. Paradox and Passion in Psychotherapy*. Chichester : Wiley and Sons, 1998.

³³ См.: *Бюдженаль Дж.* Наука быть живым: диалоги между терапевтом и пациентами в гуманистической терапии. М., 1998.

³⁴ Спинелли Э. Указ. соч. С. 24.



самими собой, насколько они провалились»³⁵. Эта мысль выражает стремление психотерапевта найти основания для внутреннего согласия с жизнью, которые обретены личностью в своем неподлинном измерении. Начинать психотерапию, согласно ван Дорцен, необходимо с осмысления того, как же личность может быть самой собой в этом неподлинном существовании, которое прежде всего и должно быть осознано и понято. Однако в этой мысли, напоминающей концепцию утешения для неудачника, просматривается еще и отголосок классической теории познания, утверждающей одну истину в противовес многим заблуждениям. Как и истина может быть разная, так и одна подлинность, которую все открывают по-своему, отличается от другой. Подлинность нуждается в не меньшем внимании, чем неподлинность. Видимо, достижение подлинности – дело всей жизни. Сверхзадача по вполне понятным причинам не может рассматриваться как прямая цель психотерапии, хотя последняя, разумеется, призвана помочь людям научиться жить с чувством, которое Лэнгле называет внутренним согласием.

Роль рефлексивного сознания

В достижении подлинности ключевая роль принадлежит рефлексивному сознанию, которое акцентирует экзистенциальный подход.

Важнейшим пунктом экзистенциально-аналитической работы, по Лэнгле, является соотнесение персонального становления с заданностями и условиями экзистенции. На этом уровне осуществляется работа с тем содержанием, которое понимается в экзистенциальном анализе как фундамент человеческой экзистенции и которое способствует созидательному переосмыслению человеком своей личной истории. Актуальный период жизни, а также прошлая или будущая биография непосредственно увязываются с этим содержанием, что по-новому вводит человека в отношения с жизнью, с самим собой, проясняет для него смысловые ориентиры существования.

Благодаря рефлексивному сознанию человек оказывается способным занимать по отношению к происходящим с ним событиям и собственным переживаниям позицию, позволяющую ему достигать ощущения внутренней свободы. Причем устанавливать дистанцию по отношению к чувствам как важнейшей сфере экзистенции человека, включаться в процесс смысловой обработки переживания может быть особенно важно при выработке зрелого отношения к ситуации.

Без рефлексивного сознания достижение тех самых подлинности и аутентичности, о которых мы читаем в работах по психотерапии, малодоступно в силу фрагментарности и случайности повседневной жизни. Устойчивое ощущение подлинности требует длительных усилий, позволяющих рассмотреть ее в эпизодах каждодневного бытия.

³⁵ *Deurzen E. van. Everyday Mysteries.*



К середине XX в. психотерапевтическое мышление шло по пути все большего признания человека как активного субъекта и главного источника собственного развития, признания ценности внутреннего мира личности и различных проявлений ее многогранной жизни, открытия новых возможностей личностного роста. Проблематика «духовного» оказывается в центре размышлений и практики. В противовес естественно-научному подходу, редуцирующему человека к некоей простой совокупности психических процессов, физиологических и социальных функций, возникла необходимость представлений о собственно человеческом, духовном в человеке (свободе, достоинстве, способности к самодетерминации, уникальности, аутентичности, целостности), о том, что к тому времени уже получило обоснование в философии экзистенциализма с точки зрения содержания, а в феноменологии – с точки зрения метода.

Связь конкретных технологий работы с личностью в экзистенциальной психотерапии с определенными экзистенциалами или их совокупностями показывает потребность психологической практики в философских концептуализациях таких фундаментальных составляющих сознания и психики, как переживание, смысл, ценность, жизнь. И хотя данный метод строится на основе «теории» (точнее, картины мира человека), которая не является теорией в естественно-научном смысле, она допускает эмпирическую и операциональную интерпретацию и обеспечивает соответствующие психотехники. Этому соответствует новый стиль научно-психологического мышления, ориентирующий на ценность индивидуального, субъективного, экзистенциального опыта, причем этой ориентации соответствует и новое понимание научности, способов теоретизации и отношений теории и опыта, теории и практики. Таким образом, на примере экзистенциальной психотерапии в ее взаимоотношении с философией обнаруживается равноправная альтернатива «сциентистским» психологическим трендам, которые более не могут претендовать на монополию в науке.



НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В МЕДИЦИНЕ XVII В.

Андрей Михайлович Сточик – академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ «НИИ истории медицины» РАМН.
Сергей Наркизович Затравкин – доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом ФГБУ «НИИ истории медицины» РАМН.
 E-mail: zatravkine@mail.ru

В статье представлены результаты исследования, основанного на применении к анализу истории медицины XVII в. концепции структуры и динамики научного познания, разработанной В.С. Степиным. Научная революция в медицине XVII в., носящая глобально дисциплинарный характер, изменила все основания медицинской науки периода галенизма. Ее механизмом послужила «парадигмальная прививка» возникших в астрономии новых методологических установок научного познания. Решающую роль в переносе этих установок в медицину сыграли ученики и последователи Г. Галилея – С. Санторио и У. Гарвей. Пересмотр философских оснований медицинской науки и возникновение новой картины исследуемой реальности в медицине обеспечили труды Р. Декарта. Широкое распространение в медицине картезианских идей кинетической механики связано с разработкой и внедрением ятрофизических учений (Дж. Борели, Л. Беллини) и учений корпускулярной ятрохимии (Ф. Сильвий и др.).

Ключевые слова: научная революция, основания науки, картина исследуемой реальности, медицина, Гален, Галилей, Гарвей, Декарт, ятрофизика, ятрохимия.

THE SCIENTIFIC REVOLUTION IN THE XVIIth-CENTURY MEDICINE

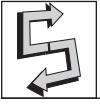


The article presents the results of the studies based on the application of the concept of the structure and dynamics of scientific knowledge developed by V.S. Stepin to the analysis of the history of the 17th-century medicine. The scientific revolution in the 17th-century medicine was of a globally-disciplinary nature and involved changes in all of the bases of the medical science of the galenism period. Its mechanism was a «paradigm inoculation» of new methodological principles of scientific knowledge originated from astronomy. The crucial role in the transmission of these statements into medicine was allotted to Galileo`s disciples and followers – S. Santorio and W. Harvey. The works by Descartes provided the revision of philosophical foundations of medical science and the emergence of a new picture of reality in the XVIIth-century medicine. The adoption of Cartesian ideas of kinetic mechanics and their wide-spread occurrence in medicine were connected with the development and implementation of iatrophysical teachings (G. Borelli, L. Bellini) and the teachings of the corpuscular iatrochemistry (F. Sylvius and others).

Key words: scientific revolution, the foundations of science, the picture of reality, medicine, Galen, Galileo, Harvey, Descartes, iatrophysics, iatrochemistry.

Andrey Stochik – academician of RAMS (Russian Academy of Medical Sciences), MD, professor, director of Scientific-Research Institute of the History of Medicine Russian Academy of Medical Sciences.

Sergey Zatravkin – MD, professor, head of the department of the History of Medicine Scientific-Research Institute of the History of Medicine Russian Academy of Medical Sciences.



В литературе сложилась традиция рассматривать научные революции в естествознании Нового и Новейшего времени главным образом на материалах астрономии, физики, химии, геологии, биологии, не принимая в расчет преобразований, происходивших в медицине. В существующих публикациях, посвященных разработке проблем научных революций в естествознании, о медицине либо не упоминается вовсе, либо сообщается, что та или иная научная революция оказала определенное влияние на ее развитие.

Вместе с тем выполненный нами анализ значительной совокупности известных историко-медицинских материалов позволяет утверждать, что медицина не только испытывала на себе последствия научных революций в других отраслях естествознания, но и, представляя собой самостоятельную сферу научно-практической деятельности, сама неоднократно переживала научные революции.

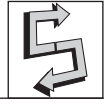
Анализ проводился на основании разработанных В.С. Степиным представлений о научных революциях как периодах истории науки, когда меняются все (глобальные революции) или некоторые (локальные революции) компоненты ее оснований (идеалы и нормы исследования, научная картина мира, философские основания), а механизмами таких изменений могут служить как внутридисциплинарные кризисы, так и «парадигмальные прививки», заключающиеся в переносе представлений специальной научной картины мира, идеалов и норм исследования из одной научной дисциплины в другую¹.

К началу XVII в. медицина уже давно представляла собой самостоятельную науку. Еще во II в. римский врач и философ Гален сформулировал ее философские основания, обосновал и внедрил принципиально новые для медицины того времени идеалы и нормы исследовательской деятельности, разработал первую единую теорию медицины и заложил основы картины исследуемой реальности. Неслучайно один из его наиболее авторитетных последователей арабский врач и философ Ибн Сина прямо указывал: «Я утверждаю: медицина – наука; наука, познающая тело человека, поскольку оно здорово или утрачивает здоровье... Медицина разделяется на теорию и практику... Каждая из двух частей медицины – не что иное, как наука, но одна из них – это наука об основах медицины, а другая – наука о том, как ее применять... изложение сущности некоей процедуры»².

Философские основания медицинской науки представляли собой выборку из идей Аристотеля, Гиппократов, Платона и ряда других греческих философов, адаптированных Галеном к потребностям медицины. Онтологическими основаниями служили представления о том, что тело человека создано Богом-творцом (Демидургом) из четырех «элементов-качеств» по высшему разумному плану для заранее предначертанной цели, каковой является служение мировой душе (мировой пневме), использующей тело в качестве орудия

¹ См.: *Степин В.С.* Становление научной теории. Минск, 1976; *Он же.* Научные революции как «точки» бифуркации в развитии знания // Научные революции в динамике культуры. Минск, 1987; *Он же.* Теоретическое знание. М., 2003; *Степин В.С., Кузнецова Л.Ф.* Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. М., 1994.

² *Абу Али Ибн Сина.* Канон врачебной науки. Кн. I. М., 1981. С. 5.



для реализации своих потребностей³. Мировая душа растворена в окружающем воздухе, попадает в тело при каждом вдохе и благодаря присущим ей силам (пульсирующей, чувствующей, притягивающей, задерживающей, изменяющей, изгоняющей, производительной и др.) управляет всеми процессами жизнедеятельности.

Эпистемологическими и методологическими основаниями медицинской науки периода галенизма служили логика и теория познания Аристотеля. Гален вслед за Аристотелем полагал, что отправной точкой познания является опыт. Методами опытного познания Галену служили прямое наблюдение (анатомические, анатомо-физиологические и сравнительно-анатомические исследования, наблюдения у постели больного), воспоминания о прошлых наблюдениях и эксперимент (экспериментально-физиологические исследования)⁴. Однако любые факты и умозаключения, полученные в ходе проведения эмпирических исследований, «находились ниже порога науки» и могли служить лишь началом научного познания. Само же научное познание предусматривало обязательное исследование сущности фактов, которое применительно к предмету изучения медицины состояло в выявлении причин наблюдаемых «вещей». Основным методом такого познания служил дедуктивно-аксиоматический метод, с помощью которого из установленных Галеном «аксиом» в строгом соответствии с законами логики выводились суждения о причинах «вещей».

Познавательным идеалом служила единственная во времена Галена научная теория – евклидова геометрия, по образу которой Гален разработал первую единую теорию медицины. Эта теория подобно евклидовой геометрии включала собственный аксиоматический аппарат, служивший основой для выведения доказательств, обосновывала знание путем демонстрации этих доказательств и вводила жесткую структуру построения медицинского знания, которое разделялось на несколько соподчиненных «слоев». Способ изложения знания, также заимствованный у Евклида, чрезвычайно напоминает изложение теорем: дано (совокупность «чувственных впечатлений») – требуется доказать (причинные отношения наблюдаемых «вещей») – доказательство (цепь умозаключений, соответствующих нормативам логического следования).

Аксиоматическим аппаратом постулировались четыре основных положения. Первое: обязательным условием жизни является поступление в человеческий организм элементов-качеств и мировой пневмы. Второе: основным источником элементов-качеств служит потребляемая пища, которая, попадая в желудок, «изменяется» до питательного сока – хилуса. Хилус всасывается по

³ Благодаря таким онтологическим основаниям медицинская наука не вступила в противоречие с системой христианских верований, что в свою очередь позволило ей сохраниться и продолжить развитие, в том числе и в период Средневековья.

⁴ С помощью наблюдений фиксировались отдельные факты, описывались внешние свойства объектов наблюдения («вещей») и делались индуктивные умозаключения. Эксперимент использовался исключительно как средство, позволявшее совершить выбор из нескольких существовавших мнений, и фактически служил лишь одним из приемов полемической дискуссии с работами предшественников и современников.



системе сосудов воротной вены в печень, где «сбраживается» до образования четырех основных соков тела – крови, флегмы, желтой и черной желчи. Эти соки, отличающиеся друг от друга по составу первичных элементов, оттекают от печени по венам к плотным частям тела и усваиваются ими без остатка.

Третье: в теле человека элементы-качества смешиваются не до «абсолютной середины между их взаимно противоположными качествами», а образуют «справедливое распределение» (натуру), которое является индивидуальным для каждого сока и органа и определяется их предназначением⁵. Четвертое: мировая душа (мировая пневма), попадая в человеческий организм с вдыхаемым воздухом, превращается в три отдельные пневмы (жизненную, животную и растительную). Жизненная пневма образуется в сердце и обеспечивает жизнеспособность органов, растительная – в печени и обеспечивает питание и рост организма, животная – в желудочках мозга и обеспечивает формирование ощущений, осуществление мышечных движений и высшие когнитивные функции (память, сознание, мышление). Для каждой пневмы существует отдельная система сосудов (трубочек). Жизненная пневма находится в артериальной системе и ее центральном органе – сердце; растительная – в венозной, центром которой служит печень; животная – в системе нервных трубочек, центром которой являются желудочки мозга.

Эти аксиомы врачи должны были «представлять себе только по сущности, безусловно утверждая... их существование». Любые попытки «доказать существование элементов, натур и того, что за ними следует» считались ошибкой⁶.

Второй слой медицинского знания формировали результаты рационального осмысления «чувственных впечатлений» об устройстве и механизмах функционирования человеческого тела и составляющих его органов в здоровом состоянии (анатомия и физиология). Гален был первым, кто поместил анатомию и физиологию в основание теории медицины. Совокупность фактов и научных суждений этого слоя определяла научное знание о здоровье и одновременно служила основой для формирования представления о болезни как состоянии, противоположном здоровью.

Третий слой медицинского знания образовывали результаты рационального осмысления чувственных впечатлений, полученных в ходе наблюдений над человеческим телом в больном состоянии (патология). Причем для выведения научных суждений о причинах, проявлениях, признаках, родах, периодах, названиях болезней использовался не только аксиоматический аппарат, но и знания из анатомии и физиологии.

Наконец, четвертый и самый верхний слой знания содержал обоснование и «изложение сущности» подходов к диагностике, лечению и предупреждению болезненных состояний тела. Здесь при формировании окончательных суждений врач помимо аксиоматического аппарата был обязан опираться на знания анатомии, физиологии и патологии.

⁵ Так, в нервах преобладающим качеством является сухость, в костях – холодность, в мышцах – теплота.

⁶ *Абу Али Ибн Сина*. Указ. соч. С. 8.



Медицинские знания описывались Галеном и его последователями не как жесткие предписания для врачебной практики, а как описание устройства и механизмов функционирования человеческого тела «самого по себе», на основе которых предлагались и обосновывались «рецепты» возможного практического изменения состояний тела. Идеалом описания служил такой медицинский трактат, после прочтения которого любой человек мог «приобрести знания научные и знания практические, хотя бы сам никогда не практиковал»⁷.

В результате в начале XVII в. в медицине функционировала следующая картина исследуемой реальности. Тело человека представляет собой орудие «мировой души» («мировой пневмы»), которая управляет им благодаря присущим ей силам. Само тело состоит из соков и органов, которые в свою очередь являются результатом смешения четырех элементов-качеств. Последние благодаря присущим им «противоположным качествам» находятся в постоянном диалектическом взаимодействии и в норме уравнивают друг друга.

Свободное движение пневм и уравниженность внутренних качеств элементов считались обязательными условиями здоровья. Болезнь рассматривалась как состояние, противоположное здоровью, возникавшее вследствие нарушения циркуляции пневм и/или утраты уравниженности внутренних качеств, которые получили наименование ближайших причин болезни. Возникновение ближайших причин считалось результатом одновременного воздействия на организм человека двух групп отдаленных причин – внешних (случайных) и внутренних (предрасполагающих). К внешним причинам относили разнообразные факторы окружающей среды (температура воздуха, инсоляция, влажность, непогода, погрешности в диете и др.), механически действующие вредности, яды, миазмы. Внутренние причины включали в себя предрасположенности к болезням, зависящие от темперамента, возраста, пола, телосложения, наследственных и врожденных факторов, а также образа жизни человека, его привычек, режима труда и отдыха.

Диагностика осуществлялась на основании сбора внешних проявлений болезненного состояния (симптомов), на основании которых путем умозрительных рассуждений врач определял ближайшую причину болезни – то или иное нарушение в «циркуляции пневм» и/или «качество внутреннего страдания»⁸.

Подходы к лечению основывались на необходимости устранения ближайших причин болезненных состояний. Основными лечебными приемами по восстановлению свободной циркуляции в теле пневмы служили массаж, фи-

⁷ Абу Али Ибн Сина. Указ. соч. С. 6.

⁸ Например, головная боль, прекращение потоотделения, обложенный язык, отсутствие жажды являлись внешними проявлениями «болезней холодности» (возникавших в результате переверса «холода» над всеми остальными качествами), ... потливость, жажда, повышение температуры и учащенный пульс – «болезней теплоты». Гален и его последователи не стремились «называть болезни по имени» и не ставили перед собой задачи выделять и описывать отдельные заболевания. Исключение делалось лишь для наиболее часто встречающихся устойчивых сочетаний симптомов и признаков («перемежающаяся лихорадка», «чахотка», «оспа», «проказа», «водянка» и др.), которых в рассматриваемый период было выделено несколько десятков.



зическая и дыхательная гимнастика, «очистительные», «отвлекающие», «опорожняющие» процедуры – кровопускания, назначение слабительных, рвотных, потогонных средств. Восстановление «уравновешенности» внутренних качеств осуществлялось главным образом средствами лекарственной терапии, которые благодаря собственным «качествам» могли возмещать недостающие внутренние качества и устранять избыток противоположных качеств. Болезни холода следовало лечить лекарствами, основным качеством которых была теплота, теплоты – средствами, способными охлаждать, сухость можно было умерить только влагой и т.д.

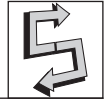
О качествах, присущих тем или иным лекарственным средствам, судили по их вкусу, запаху, внешнему виду и т.д. Лекарственным сырьем служили природные материалы растительного, животного и минерального происхождения. Кроме лекарственной терапии важная роль в восстановлении уравновешенности внутренних качеств отводилась устранению «погрешностей» в режимах труда и отдыха, сна и бодрствования, пищевом рационе.

Названные выше подходы и методы лечения в полной мере распространялись и на группу «болезней нарушения непрерывности», к которым относились: раны, язвы (нагноившиеся раны), переломы, кровотечения, растяжения и разрывы мышц и связок, вывихи и т.п.

Считалось, что «когда нарушение непрерывности происходит в органе с хорошей (уравновешенной) натурой, то он быстро снова становится годным, если же это происходит в органе с дурной натурой, он не поддается лечению»⁹. При этом «основное» лечение могло дополняться и рядом простейших хирургических манипуляций, таких, как остановка кровотечения с помощью наложения лигатуры или «скручивания» поврежденного сосуда, вскрытие гнойников, очистка ран от грязи и попавших в нее посторонних предметов, прижигание ран раскаленным железом или кипящим маслом, вправление вывихов, вытяжение и наложение шины при переломах. В исключительных случаях могли производиться операции камнесечения, ампутации конечностей, трепанации черепа, глубокие разрезы для извлечения попавших в тело посторонних предметов. Однако врачи крайне неохотно шли на собственно оперативные вмешательства, поскольку опыт свидетельствовал об их чрезвычайной опасности для жизни пациента.

Сложившиеся в рамках галеновской картины исследуемой реальности лечебно-профилактические подходы и технологии позволяли врачам оказывать действенную помощь при целом ряде, выражаясь современным языком, пограничных и функциональных расстройств сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, мочеполовой, пищеварительной систем, купировать разнообразные болевые синдромы и др. Эти успехи поддерживали веру врачей в справедливость существовавших представлений и способствовали их жизнеспособности. Правда, наряду с достоинствами имелись и серьезные недостатки. Самым существенным из них являлась практически полная беспомощность

⁹ Цит. по: Ковнер С. История древней медицины. Вып. 3. Медицина от смерти Гипократа до Галена включительно. Киев, 1888. С. 964.



лечебно-профилактических технологий в решении проблем предотвращения и борьбы с непрекращавшимися эпидемиями, наводившими ужас и уносившими сотни тысяч жизней.

В эпоху Возрождения именно эта беспомощность послужила главным мотивом для критики в адрес учения Галена. Наибольший размах эта критика приобрела в XVI в., когда были даже предприняты попытки отказаться от его использования. Самой известной из таких попыток стало учение Парацельса. Взяв за основу положения герметических учений, алхимии и астрологии, Парацельс разработал принципиально новую теорию медицины, тесно увязавшую основные жизненные явления и состояния человеческого организма (здоровье, болезнь) с химическим составом тела и действием на него различных оккультных сил.

Как показали исследования известного отечественного историка биохимии и фармации А.Н. Шамина, учение Парацельса на протяжении большей части XVI в. не оказывало сколько-нибудь существенного влияния на массовое врачебное сознание. В плане доступности для врачей труды Парацельса и его первых последователей были не в состоянии конкурировать с постоянно переиздававшимися оригинальными работами Ибн Сины, Галена, а также многочисленными комментариями к ним¹⁰. Например, «Канон врачебной науки» был переиздан столько раз, что его суммарный тираж уступал только Библии, а познакомиться с ним можно было в любой университетской библиотеке. Немаловажную роль играло и крайне негативное отношение к идеям Парацельса подавляющего большинства университетских профессоров¹¹, осуществлявших воспроизводство носителей медицинского знания исключительно на основе канонических источников.

Проникновение в медицину парацельсианских идей стало результатом усилий тех его последователей, которые попытались интегрировать некоторые из них в учение Галена¹². А. Либавий, А. Сала, Р. Миндерер, А. Минсхит, Д. Зеннерт подготовили и опубликовали алхимические и медицинские руководства, в которых попытались объяснить ряд процессов жизнедеятельности и возникновение некоторых заболеваний нарушением течения химических процессов в теле человека, а также представили обоснования целесообразности применения химических средств для лечения болезней.

«Алхимия» А. Либавия, руководства по практической медицине Д. Зеннерта и Р. Миндерера, около 20 отдельных публикаций А. Сала получили ши-

¹⁰ См.: Шамин А.Н. История биологической химии. Истоки науки. М., 1990.

¹¹ Выражением этого отношения могут служить слова известного клинициста начала XIX в. профессора Й. Франка: «Многие по обычаю того времени привязаны были к астрологии, магии и алхимии и таким образом приготовили путь Парацельсу, мужу пылкого ума, но необразованному и великому поносителю греческих писателей. Учение Парацельса почти ничего другого не содержит, как только одни по указанным причинам заблуждения ума человеческого» (Франк Й. Всеобщая практическая медицина; пер. с лат. Кн. I, ч. 1. М., 1825. С. XIII).

¹² Франк Й. Указ. соч. С. XIV; Gelman Z.E. Angelo Sala, an iatrochemist of the late Renaissance // *Ambix*. 1994. № 41 (3). P. 142–160; Debus A. Andreas Libavius and the Transformation of Alchemy: Separating Chemical Cultures with Polemical Fire // *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*. 2008. № 63 (2). P. 258–260; Minderer R. De calcantho seu vitriolo, eiusque qualitate, virtute, ac viribus, nec non Medicinis ex eo parandis, *Disquisitio Iatrochymica*. Augsberg, 1617.



рокую известность в медицинском мире, многократно переиздавались и определили формирование особого направления в медицине конца XVI – первой половины XVII в., получившего название медицинской алхимии (алхимической ятрохимии).

Однако благодаря изначальной посылке упомянутых авторов возникшее учение не преследовало цели ниспровержения греческих и арабских авторитетов; единственным значимым для медицины последствием его возникновения стало появление в арсенале врачей крайне опасных для жизни и здоровья пациентов спагирических лекарственных средств на основе серы, ртути, мышьяка, сурьмы и др.

Таким образом, ко времени начала первой глобальной научной революции галенизм оставался властителем умов и именно его основные положения стали предметом пересмотра и опровержений в ходе научной революции в медицине XVII в.

Дисциплинарная глобальная научная революция стала результатом «парадигмальной прививки» новых методологических установок научного познания, возникших в астрономии, главным образом благодаря трудам Г. Галилея. Суть этих установок состояла в том, что для исследования конкретного явления природы должен быть создан некий идеальный мир, в котором это явление было бы предельно освобождено от посторонних влияний. Этот идеальный мир является в дальнейшем объектом математического описания, а сделанные выводы сверяются с результатами эксперимента, условия которого максимально приближены к идеальным. Опытная проверка служила высшим критерием «всего пути открытия».

Внедрение в медицину нового методологического подхода связано с деятельностью учеников и последователей Г. Галилея – профессора Падуанского университета С. Санторио и английского врача У. Гарвея.

Санторио поставил перед собой задачу математического описания феноменов здоровья и болезни. Для этого он изобрел множество измерительных приборов (водный и ртутный термометры, гигрометр, пульсимер, «камеру» для измерения показателей обмена веществ и др.), с помощью которых предпринял попытку определить количественные параметры основных соков организма и натур различных органов в здоровом состоянии. Исходя из идеи о том, что при болезни происходят изменения в соках и натурах органов, он постарался определить количество возможных сочетаний таких изменений. Санторио насчитал 80 085 различных вариантов болезненных состояний, а затем, используя те же измерительные приборы, постарался получить экспериментальные подтверждения своих вычислений¹³. Ему не удалось добиться сколь-

¹³ См.: *Grmek M.D.* L'Introduction de l'expérience quantitative dans les sciences biologiques. P., 1962.



ко-нибудь существенных результатов, но попытка использования нового подхода не осталась незамеченной. Труд Санторио «*Ars de statica medicina*» (1614) выдержал 30 изданий, был переведен на многие европейские языки, а его автор справедливо считается одним из основоположников количественного метода изучения в медицине.

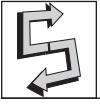
В отличие от Санторио Гарвей для внедрения новых методологических установок избрал более частную проблему, но добился подлинно революционных результатов. Он также начал с математических операций. Измерив объем крови, находящейся в левом желудочке сердца подопытного животного, он умножил его на количество сердечных сокращений за определенный промежуток времени и обнаружил, что за полчаса сердце «выбрасывает» крови больше, чем ее содержится во всем организме. Объяснить этот факт с позиций учения Галена, предусматривавшего полное усвоение крови органами тела, было практически невозможно. Тогда Гарвей решился на тотальную ревизию всех известных к тому времени фактических данных о движении крови, которая привела его к сенсационной научной гипотезе. «Я задал себе вопрос, не имеет ли кровь кругового движения»¹⁴. Для проверки этой гипотезы он воспользовался применявшимся еще Галеном, но основательно забытым к началу XVII в. методом вивисекций. Перевязывая и затем вскрывая средние и крупные сосуды, он установил, что при перевязке вен кровь скапливается дистальнее места наложения лигатуры, а проксимальная часть сосуда остается пустой. При перевязке артерий наблюдалась прямо противоположная картина.

Полученные Гарвеем результаты однозначно свидетельствовали в пользу того, что по венам кровь движется только центростремительно, а по артериям центробежно. Сопоставив эти факты с данными анатомов о строении клапанов сердца и вен, Гарвей пришел к выводу о том, что кровь из артерий попадает в вены, а из вен – снова в артерии и, таким образом, в организме человека она движется по кругу, а точнее, по двум замкнутым кругам – малому («через легкие») и большому («через весь организм»). Доказательством существования малого круга стали его опыты по перевязке легочной артерии, в ходе которых наблюдалось переполнение кровью правого сердца и полное отсутствие крови в системе легочной вены и в левом сердце. Последнее доказывало непроницаемость сердечной перегородки и наличие только «легочного пути» попадания крови в левый желудочек.

Что же касается причины, заставляющей кровь циркулировать в единой системе сосудов, то «теоретические соображения и опыты» привели Гарвея к заключению, что этой причиной служат не пневмы, а сокращения сердца. Подобно тому как сначала Коперник, а затем Галилей «остановили» Солнце, сделав его центром макрокосма, Гарвей объединил две прежде изолированные сосудистые системы в одну и поставил в ее центр сердце, прямо и вряд ли случайно назвав его солнцем микрокосма¹⁵.

¹⁴ Гарвей В. Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных. М., 1948. С. 57.

¹⁵ Там же. С. 7.



В окончательном виде учение Гарвея о кровообращении было опубликовано в 1628 г. и нанесло первый сокрушительный удар по гегемонии галенизма. Гарвей не просто выявил несколько ошибок в системе рассуждений своего великого предшественника, а впервые представил фактические доказательства ошибочности святой святых галеновской теории – ее аксиоматического аппарата.

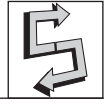
Реакция врачебного сообщества на такие опровержения оказалась крайне негативной. В 1620–1630-х гг. с доводами У. Гарвея согласились буквально единицы, среди которых был великий французский философ, математик и естествоиспытатель Р. Декарт. В 1637 г. вышли в свет его знаменитые «Рассуждения о методе», в которых он, опираясь на результаты исследований Гарвея, доказывавших принципиальную возможность протекания важнейших физиологических процессов без деятельного участия души (пневм), предпринял попытку пересмотра философских оснований медицинской науки и заложил основы новой картины исследуемой реальности в медицине.

В картине мира живой природы Декарта не было ничего, кроме механического перемещения частиц, лишенных каких бы то ни было особых качеств. Единственной причиной всякого движения той или иной частицы считалось только механическое воздействие на нее другой частицы. Душа и тело человека были лишены общих свойств, противопоставлены друг другу, а сфера прежнего влияния души ограничена только мышлением (сознанием) и волей. Все разнообразие многочисленных проявлений жизнедеятельности поставлено в зависимость исключительно от особенностей анатомического устройства человеческого тела¹⁶. Само тело – главный предмет изучения медицины – признано простым механическим устройством, не имеющим принципиальных отличий от машин, построенных самим человеком, что в свою очередь открывало неограниченные возможности для разработки медицинских проблем методами экспериментально-математического естествознания.

Причиной механического движения частиц, составлявших человеческое тело («главной пружиной и основанием всех движений»), а следовательно, и самой жизни Декарт назвал работу сердца. Эта работа состояла не в мышечных сокращениях его стенок, как полагал Гарвей, а в воздействии на кровь теплоты сердца, что приводило к ее стремительному расширению. «Эта теплота способна, как только капля крови войдет в полость сердца, вызвать быстрое набухание и расширение, как это бывает вообще, когда какая-нибудь жидкость капля за каплей падает в горячий сосуд»¹⁷. А поскольку после «расширения» крови требуется больше пространства, она «выходит» в артерии и возвращается обратно по венам.

¹⁶ «Я хочу, – писал Декарт в 1649 г. в работе «Описание человеческого тела», раскрывавшей основные положения, высказанные им в «Рассуждении о методе», – чтобы все считали, что все функции происходят в этой машине совершенно естественно из одного только расположения ее органов, ни больше ни меньше, как это происходит при движении часов или какого-либо другого автомата, зависящего от расположения его гирь и колес».

¹⁷ Декарт Р. Рассуждение о методе // Соч. В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 278.



Декарт полностью согласился с мнением Гарвея о том, что кровь не потребляется без остатка частями тела, а питает их за счет частиц пищи, поступающей в кровь из желудка и кишечника. Желудочно-кишечный тракт Декарт рассматривал как трубку с множеством мелких отверстий.

Обязательным условием эффективной работы сердца ученый считал существенное сгущение и охлаждение крови перед ее поступлением в сердце. Эту важнейшую задачу решали легкие, охлаждавшие и сгущавшие поступающую в левый желудочек сердца кровь с помощью вдыхаемого воздуха. «Без этого, поступая в левую полость сердца, кровь не могла бы служить там пищей огня»¹⁸.

При выбросе «нагретой и разжиженной крови» из сердца «самые подвижные и быстрые частицы крови» начинали двигаться по «самым прямым линиям», которыми являлись сонные и позвоночные артерии, и таким путем поступали в головной мозг, где «образовывали как бы тончайший воздух, или ветер, называемый животными духами». Эти духи, во-первых, расширяли мозг, «делая его вместительнее общего чувства, воображения и памяти», а во-вторых, «расходились из мозга» по полым трубочкам нервов, обеспечивая получение «внешних чувств» и мышечные движения. Отдельно заметим, что животные духи Декарта принципиально отличались от животной пневмы Галена, поскольку представляли собой частицы крови самого организма.

Для объяснения механизма мышечных движений тела Декарт выдвинул принцип автоматической «отражательной» деятельности мозга. Согласно этому принципу, получившему в дальнейшем название рефлекторного, всякая мышечная активность организма является «отражением внешних раздражений» (стимулов) и осуществляется посредством головного мозга. Схематически процесс «отражения» представлялся Декарту следующим образом. Внешние раздражения воздействуют на периферические окончания нервных «нитей», расположенных внутри нервных «трубок». Нервные нити, натягиваясь, открывают клапаны отверстий, ведущих из мозга в нервы, по каналам которых животные духи устремляются в соответствующие мышцы, те в результате надуваются, осуществляя двигательный акт. Как справедливо отмечали крупнейшие физиологи конца XIX–XX вв., добившиеся признания приоритета Декарта в разработке идеи рефлекса, это была «законченная схема отношений между стимулом и ответом», включавшая все необходимые компоненты будущей рефлекторной дуги.

«Рассуждения о методе» сразу же привлекли к себе внимание врачебного сообщества, а высказанный в них принципиально новый взгляд на устройство и механизмы жизнедеятельности человеческого организма положил начало формированию альтернативной картины исследуемой реальности в медицине.

Период параллельного функционирования прежней галеновской и новой картезианской картин реальности продолжался недолго. Уже в конце 1640-х – начале 1650-х гг. были получены данные, вынудившие врачебное

¹⁸ Декарт Р. Указ. соч. С. 281.



сообщество признать ошибочность всего аксиоматического аппарата единой теории медицины Галена. Решающую роль в этом сыграли анатомические и экспериментальные исследования Ж. Пеке (1647, 1651–1653), И. ван Хорна (1647, 1650), О. Рудбека (1650) и Т. Бартолина (1652–1654), доказавших, что хилус, всасываясь из кишечника, не поступает в печень. Ими была обнаружена специальная система сосудов и органов, получившая название лимфатической, обеспечивающая поступление хилуса из кишечника непосредственно в кровяное русло. Печень, таким образом, автоматически лишалась прежнего статуса главного органа «творения» четырех соков человеческого тела – крови, флегмы, черной и желтой желчи, что позволило Бартолину даже написать специальную главу «О погребении печени» и посвятить ей надгробную эпитафию¹⁹.

С этого времени методологические установки экспериментально-математического естествознания и картезианский взгляд на человеческий организм как механическое устройство, основные проявления жизнедеятельности которого определяются только устройством этого механизма, начали стремительно завоевывать в медицине всеобщее признание. Выражением этого признания прежде всего следует считать значительный рост числа оригинальных исследовательских разработок в области анатомии и физиологии человеческого организма. Никогда прежде медицина не переживала такого количества открытий в этих областях. Другим важнейшим следствием признания идей Декарта послужило возникновение первых медицинских теорий, призванных объяснить как обнаруживаемые анатомо-физиологические феномены, так и сущность болезней человека исключительно на основе картезианских принципов кинетической механики. Во второй половине XVII в. наибольшее признание и распространение получили теоретические системы корпускулярной ятрохимии и ятрофизики.

В историко-медицинской литературе сложилась традиция противопоставлять эти системы друг другу и уделять внимание исключительно существовавшим расхождениям во взглядах и непримиримой борьбе их сторонников. Однако в действительности между ними не существовало фундаментальных различий. Обе системы основывались на представлении об организме человека как совокупности множества перемещающихся во времени и пространстве неделимых бескачественных частиц. Что же касается научной полемики между сторонниками корпускулярной ятрохимии и ятрофизики, то ее предметом был лишь вопрос о том, в каких средах – жидких или плотных – движутся частицы.

Ятрохимики (Ф. Сильвий, Т. Уиллис, Р. де Граф, О. Тахений, Г. Ведель, М. Эттмюллер и др.) настаивали на приоритетном значении жидких сред. Создатель первой целостной теории корпускулярной ятрохимии профессор Лейденского университета Сильвий связывал основные проявления жизнедеятельности с происходящими в жидких средах процессами «брожения» (разъединения частиц) и «эффervesценции» (слияния частиц). Так,

¹⁹ См.: *Менье Л.* История медицины ; пер. с франц. М., 1926. С. 127.



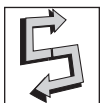
он считал, что рост и развитие организма происходит за счет слияния частиц в ходе эффервесценции крови, а пищеварение представляет собой процесс брожения и заключается в разложении пищевых веществ на составляющие их частицы под влиянием «ферментативного» действия секретов пищеварительных желез²⁰. Конечными продуктами любых реакций брожения являлись две категории частиц – кислые и щелочные. Причем кислотность или щелочность означала не особые свойства частиц, а лишь их форму. Считалось, что кислотные частицы имели «острие», а щелочные – «полости», и именно этим объяснялись причины образования солей при взаимодействии кислот и щелочей. Если количества возникавших кислых и щелочных продуктов уравнивали друг друга, организм находился в состоянии здоровья. Нарушение равновесных соотношений в ту или другую сторону приводило к образованию «едкостей» кислотного либо щелочного характера, которые вызывали изменения крови, желчи, лимфы и обуславливали возникновение болезней.

Ятрофизики (Дж. Борели, Л. Беллини) отводили основополагающую роль в жизнедеятельности движению частиц в плотных частях организма. Они видели в пищеварении лишь процесс механического растирания и термической обработки пищи стенками желудочно-кишечного тракта, а пищеварительные железы считали своеобразными ситами, через которые просеивались частицы крови, необходимые для облегчения прохождения пищи в желудок и кишечник. Всасывание хилуса объяснялось давлением стенок сокращающейся кишки, а питание, рост и развитие организма – результатом механического воздействия кровяного давления, выдавливавшего частицы из крови в плотные части тела. Артерии и вены сравнивались с гидравлическими трубками, сердце – с нагнетательным насосом, грудная клетка – с кузнечными мехами, кости и мышцы – с рычагами и т.п. Здоровье считалось состоянием «правильного течения всех физико-механических процессов»; расстройство хотя бы одного из них приводило к болезни.

Таким образом, несмотря на множество частных различий, обе ведущие медицинские теории второй половины XVII в. постулировали сходные взгляды на здоровье и болезнь. Они рассматривали здоровье как состояние беспрепятственного движения частиц, составлявших человеческое тело, а любые нарушения этих движений считали ближайшей причиной болезней. Прежней взгляд на болезнь как результат нарушения циркуляции пневмы и/или утраты уравновешенности внутренних качеств навсегда ушел в прошлое.

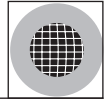
Основной задачей врача у постели больного стало скорейшее восстановление нормального движения частиц. Лечебные практики приобрели крайне агрессивный характер. Ятрофизики настаивали на применении сильнодействующих потогонных, возбуждающих и наркотических средств. Ятрохимики смело использовали высокотоксичные средства минерального происхожде-

²⁰См.: Шамин А.Н. Указ. соч.



ния: нитрат серебра (ляпис), сульфаты, ртутные соли – каломель и сулему, препараты сурьмы.

Простые и наглядные объяснения сложнейших физиологических и патологических процессов сделали обе теории крайне привлекательными для врачей, что в свою очередь способствовало их широкому распространению. Ятрохимия получила большее признание в северных странах Европы, где еще сохранялись сильные алхимические традиции, ятрофизика – на юге. Распространение ятрофизических и ятрохимических учений ознаменовало окончательное утверждение в медицине картины исследуемой реальности, основанной на кинетической механике Декарта, успешное функционирование которой продолжалось до середины 1690-х гг., когда четко обозначился внутридисциплинарный кризис, преодоление которого привело к следующей научной революции в медицине.



ВЗАИМОСВЯЗЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НАУКИ¹

Ирина Васильевна Черникова – доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии и методологии науки философского факультета Томского государственного университета, профессор Томского политехнического университета.
E-mail: chernic@mail.tsu.ru

В статье рассматриваются механизмы взаимодействия фундаментального знания и технонауки, которую называют современной формой сотрудничества науки и технологий. Показано, что важная особенность технонауки заключается в том, что ее объекты являются не предметной реальностью в картезианской дуалистической картине мира, а так называемыми «человекокоразмерными» социально-практически конструируемыми объектами. Примером технонауки современности являются NBIC-технологии. В статье предпринята попытка выявить и проанализировать философские основания технонауки – онтологические, гносеологические, аксиологические.

Ключевые слова: технонаука, фундаментальная наука, конвергентные технологии, философские основания технонауки, саморазвивающиеся системы, эволюционный конструктивизм, «постчеловек», этика ответственности.

COOPERATION BETWEEN THE FUNDAMENTAL KNOWLEDGE AND TECHNOLOGICAL PROJECTS OF SCIENCE

Irina V. Chernikova – doctor of philosophical sciences, professor, department of philosophy and methodology of science (chair)

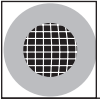
The mechanisms of cooperation between fundamental knowledge and technoscience (that is called a contemporary form of science and technology interaction) are covered in the paper. It is highlighted that the essential peculiarity of technoscience is that its' objects are not substantive reality in Cartesian dualistic worldview, but so called "human dimension" objects socially and practically constructed. NBIC technologies can serve as an example of the contemporary technoscience. The paper attempts to reveal and analyze the philosophical basis of technoscience: ontological, gnoseological and axiological.

Key words: techoscience, fundamental science, converging technologies, philosophic basis of techoscience, selfdeveloping systems, evolutionary constructivism, "posthuman", responsibility ethics.



Качественно новый этап в развитии науки, обозначаемый термином «технонаука», представляет собой формирование новой парадигмы научно-технического развития. Изменения в современной науке связаны с переориентацией научной деятельности с познавательной на проективно-конструктивную. Наука постепенно интегрируется в организованную по новым принципам систему взаимодействия науки и технологии. Этот феномен обозначается термином «технонаука». В ней технологическая эффек-

¹ Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант № 11-06-000-49а.



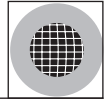
тивность вместо истины, знание как проекты действия, а модель познания – конструирование. Важнейшим примером технонауки могут служить так называемые NBIC-технологии. Особенность технонауки в том, что ее объекты – это не предметная реальность в картезианской дуалистической картине мира, а так называемые человекоразмерные объекты. Главной чертой технонауки является высокая социально-практическая ориентированность. Технонаука – это не техническая наука, а новая форма организации науки, интегрирующая в себе многие аспекты как естествознания и техники, так и гуманитарного познания.

Поворот к науке нового типа зафиксирован исследователями. Например, Б. Латур утверждал, что термин «технонаука» передает специфику науки нашего времени. Б. Барнс также связывал технонауку с современной формой научности: «Термин “технонаука” ныне широко применяется в академических кругах и относится к деятельности, в рамках которой наука и технология образуют своего рода смесь или же гибрид... технонауку следует понимать как специфически современное явление»². Однако новая парадигма еще находится в стадии становления. В современной философии науки это специфическое явление также пока недостаточно исследовано, в частности не получили должного осмысления философские основания технонауки. Актуальны вопросы: если ранее в науке выделяли фундаментальные и прикладные исследования, то сохраняется ли это с появлением технонауки? Имеем ли мы сегодня три формы научных исследований или одну синтетическую? Справедливо ли опасение, что появление технонауки влечет все большее подчинение знания власти, коммерциализацию науки, потерю значимости фундаментальных исследований?

Прежнее деление наук на фундаментальные и прикладные основано на установке онтологического реализма и принятии истинности как высшей ценности науки. Характеризуя различие между фундаментальным и прикладным исследованием, Б.И. Пружинин отмечал, что для первого поиски истинного знания являются самодовлеющей целью, в то время как для второго истина является ценностью инструментальной, а самодовлеющей ценностью – технологическая эффективность. Логика развития прикладной науки задается извне, поэтому «прикладная наука не способна сама развиваться как наука, ибо не способна обеспечить преемственность в развитии знания... Прикладное знание всегда является потенциально уникальным и фрагментарным»³. Думается, с таким различием фундаментального и прикладного знания можно согласиться. Тогда принять точку зрения, что технонауку следует считать прикладным знанием, все равно что прийти к выводу о конце науки, поскольку, встав на этот путь, мы прерываем развитие. Уже поэтому неверно рассматривать технонауку как чисто прикладное знание. Далее выскажем еще допол-

² Barnes B. Elusive Memories of Technoscience // Perspectives on Science: Historical, Philosophical, Social. 2005. Vol. 13, № 2: Technoscientific Productivity. P. 143.

³ Пружинин Б.И. Прикладное и фундаментальное в этосе современной науки // Философия науки. М., 2005. Вып. 11. С. 117.



нительные аргументы, подтверждающие, что современные технологии опираются на фундаментальное знание и сами являются механизмом получения новых фундаментальных знаний.

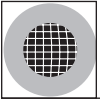
Есть и другое мнение, суть которого в том, что с появлением технонауки теряется смысл разделения наук на прикладные и фундаментальные. Оно весьма распространено среди представителей социальных исследований науки. Исходя из их утверждений, наука нового типа стремится не к получению истины, а к воплощению пользующихся спросом технологий, «объективность современной науки лежит в ее эффективной технической действенности. Она все больше и больше обнаруживается в физико-технической продуктивности и креативности. Технонауки сами создают те реальности, которые изучают»⁴. Такая позиция близка методологическому окказимизму и прагматизму, она строится на антиреализме и поэтому не приемлема для естественно-научного мировоззрения, ориентированного реалистически.

Общие представления о технонауке, разделяемые представителями различных школ философии науки, заключаются в том, что для нее характерна неразрывная связь собственно исследовательской деятельности с практикой создания инновационных технологий. Фундаментальности она противопоставляет прирост нового знания, но при этом возникает новое понимание знания. Технонаука формирует такую модель взаимодействия знания и общества, в которой знание социально-практически обусловлено, производство знаний обеспечивается компьютеризацией науки, сращиванием науки и производства. Можно говорить об изменении установок научного поиска, направленность исследований определяется не столько углублением в познание природы, сколько контекстом приложений. Как отмечает Б.Г. Юдин, с появлением технонауки изменилось сложившееся соотношение науки и технологии. Если прежде это соотношение понималось как технологическое приложение ранее выработанного научного знания, то «теперь сама деятельность по получению такого знания “встраивается” в процессы создания и совершенствования тех или иных технологий... регулятивом научной деятельности становится не получение знания, так или иначе претендующего на истинность, а получение эффекта, который может быть воплощен в пользующуюся спросом технологию»⁵.

Насколько обосновано мнение о том, что фундаментальная наука не участвует в современных проектах технонауки? На историко-научном материале, на конкретных примерах реальной практики науки от Галилея до нанотехнонауки показано, что «для инженерной деятельности требуются не только краткосрочные исследования, направленные на решение специальных задач, но и широкая долговременная программа фундаментальных исследований... В то же время современные фундаментальные исследования более тесно связаны с

⁴ Цит. по: *Ключарев Г.А.* Технонаука в междисциплинарном и общенаучном контексте // Незыбкость нелинейного мира. М., 2012. С. 232.

⁵ *Юдин Б.Г.* Общество знания, диалог культур и перспективы человека // Человек в мире знания: к 80-летию Владислава Александровича Лекторского. М., 2012. С. 281.



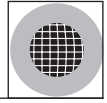
приложениями, чем это было раньше. Для современного этапа научно-технического развития характерно использование методов фундаментальных исследований для решения прикладных проблем»⁶. С нашей точки зрения ответ на поставленный вопрос о характере взаимосвязи фундаментальной науки и технoнауки опирается на анализ философских оснований технoнауки, выявление специфики нового образа исследований, обозначаемых термином «технонаука». Рассмотрим онтологические, эпистемологические и аксиологические основания технoнауки.

Анализируя *онтологические* основания технoнауки, прежде всего отметим, что предметом исследований становятся не объекты, а сложные комплексы, включающие человека. Такие квазиобъекты В.С. Степин назвал человеко-размерными и, обосновывая постнеклассическую научную рациональность, выделил в качестве первого критерия тип осваиваемых системных объектов. Классическая рациональность была ориентирована преимущественно на освоение малых (простых) систем, образцом которых являются механические системы, неклассическая – больших (сложных саморегулирующихся) систем, постнеклассическая – сложных саморазвивающихся систем⁷. Саморазвивающиеся системы – наиболее сложный тип системной организации, включающий взаимодействие системы и среды и самореферентные отношения. Такого рода системы функционируют как автопоэтические системы.

В.С. Швырев в одной из своих последних работ подчеркивал, что именно постнеклассическая рациональность сталкивается с иным типом предметности (не объектным). Классическая научность отличается установкой на рассмотрение природного мира самого по себе (объектность рассмотрения), элиминацией всего субъективного («расколдовывание мира», по М. Веберу). Предмет научного познания рассматривается как система объектных связей, сохраняется строгая дихотомия вещества и существа, отход от которой оценивается как отказ от научности. В неклассической научности предметом научной рефлексии становятся средства и предпосылки исследования, т.е. предметом исследования выступает не изолированный объект, а его взаимодействие с другим объектом, являющимся средством исследования. Поэтому не только классическая, но и неклассическая научность имеет дело с фиксацией свойств и зависимостей объектов. Постнеклассическую научность Швырев соотносит с этапом, обозначаемым термином «технонаука», здесь трудно говорить о познании как о моделировании существующей вне человека «естественной» реальности. Картина мира, с которой имеет дело технонаука, является не объектной, но затрагивает человеческий мир. Она выходит за рамки узкого технологизма (построение инженерно-технических конструкций), поскольку обусловливает изменение связанного с ней проектно-конструктивного сознания. В отличие от классической и неклассической «постнеклассическая рацио-

⁶ Горохов В.Г. *Философия и история науки*. Дубна, 2012. С. 166.

⁷ См.: Степин В.С. *Теоретическое знание*. М., 2000; *Он же*. *Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения* // *Постнеклассика: философия, наука, культура*. СПб., 2009. С. 250–251.



нальность не является чисто познавательной рациональностью, претендующей на моделирование реальности “как она есть”, она выступает как форма социально-гуманитарной проектно-конструктивной рациональности»⁸.

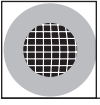
Итак, в онтологическом аспекте философских оснований разрабатываются новые смыслы категориальной сетки саморазвивающихся систем. Для характеристики реальности, понимаемой как процесс-система, особую важность приобретает идея глобального эволюционизма, переосмысливается понимание времени и топологии пространства. Традиционное деление предметов на искусственные и естественные теряет смысл, поскольку созданные мыслящим субъектом конструкции рассматриваются как опредмечивание познавательной деятельности, которая в свою очередь понимается как естественно-исторический процесс-система. Сегодня, когда научное познание трансформируется в технонауку, человек конструирует не только видимый мир, который в классической рациональности мы называем объективным миром. Теперь этот естественный мир наполняется искусственными созданиями биотехнологий, нанотехнологий. Грань между искусственным и естественным стирается. Наш познавательный аппарат, который формировался в процессе эволюции естественного мира, теперь, под влиянием технонауки, трансформируется с учетом эволюции естественно-искусственного мира. Природные комплексы, включающие человека, недостаточно рассматривать в рамках привычной дихотомии естественное–искусственное. Особенность этих конструкций в том, что в них не моделируется объектная реальность, а конструируется ее новый фрагмент, в котором проявляется взаимопроникающее единство природного и человеческого мира.

В *эпистемологическом* аспекте философские основания технонауки разрабатываются в подходах, где анализируется социокультурная обусловленность познания, в конструктивистских трактовках познания. Когнитивной практикой, обеспечивающей адекватное познание такого рода реальности, является, как было показано автором, эволюционная эпистемология⁹. Познавательная деятельность в контексте эволюционной эпистемологии трактуется как жизнедеятельность, здесь также стирается разноразность онтологического и гносеологического подходов, субъектно-объектный дуализм. С позиций традиционной философии науки технология рассматривалась как продолжение и приложение науки. Сегодня выделяют два основных подхода: фундаменталистский, претендующий на познание независимой от сознания реальности, и конструктивистский. Конструктивизм многообразен по форме (социальный, радикальный, эпистемологический), но во всех версиях его противопоставляют реализму на том основании, что в конструктивизме вектор исследования знания смещен от «знания что» к «знанию как».

В.А. Лекторский, опираясь на эволюционную эпистемологию и когнитивные науки, убедительно обосновал позицию, названную им конструктивный

⁸ Швырев В.С. О соотношении познавательной и проективно-конструктивной функций в классической и современной науке // Познание, понимание, конструирование. М., 2008. С. 45.

⁹ См.: Черникова И.В. Постнеклассическая наука и философия процесса. Томск, 2007. С. 35–50.



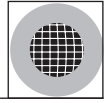
реализм, согласно которой снимается противостояние реализма и конструктивизма¹⁰. Конструктивный реализм – это не просто важное дополнение богатого спектра конструктивистских эпистемологических моделей, а принципиальная для научного мировоззрения позиция. Важно понимать, что конструктивизм как когнитивная практика вполне совместим с реалистическим мировоззрением. В дополнение к аргументам В.А. Лекторского заметим, что такое совмещение возможно и в случае эволюционного конструктивизма, если в основание мировидения заложена идея глобального эволюционизма. Поясним сказанное. Эволюционная эпистемология описывает познание как процесс конструирования, но вопрос в том, кто конструирует и по каким законам? Например, сторонники социального конструктивизма трактуют знание как функцию лингвистических конвенций, утвердившихся в культурных традициях и стандартах научного дискурса. Но это лишь одна сторона медали. Вторая сторона раскрывается в эволюционной эпистемологии и на основе онтологии, построенной на идеях глобального эволюционизма, системности. В этом ракурсе коммуникативный уровень взаимодействий понимается не как фундаментальный, а как эволюционно обусловленный. Познание трактуется как «проживание», совместная деятельность.

Эволюционный конструктивизм основывается на установке реализма, исходит из того, что мышление не открывает объекты и не создает их, а скорее извлекает из реальности то, что соотносимо с его деятельностью. При таком подходе круг «мир находится в мозгу, а мозг в мире» преобразуется в эволюционную спираль. Близкую позицию развивает Д. Деннет, применяя функционалистский подход не только к трактовке сознания, но и к познанию, понимая его как конструирование в соответствии с законами и запретами эволюции, как инжиниринг знания. В его трактовке познание это одновременно и метафизика, которую называют «метафизикой дизайна».

В эволюционном конструктивизме такие понятия, как «реальность», «субъект», «объект», «знание», «познание», обретают новый смысл. То, что мы называем объективной реальностью, – не внешняя реальность, по отношению к которой субъект, ее познающий, занимает внешнюю позицию. Это реальность, в которой теряются дуализмы материи и сознания, субъекта и объекта, внешнего и внутреннего. Эта реальность – процесс, в котором человек с его когнитивным аппаратом и нормами деятельности является звеном и участником. При таком подходе реальность не внешняя данность и не внутренняя, не ментальная конструкция, это реальность, образующаяся на границе, на пересечении внутреннего и внешнего. Субъект и объект не противостоят друг другу, а дополняют, доопределяют друг друга (образ, представленный гравюрой Эшера «Рисующие руки»).

Таким образом, характеризуя эпистемологическую практику технонауки как конструктивистскую (в форме конструктивного реализма или эволюционного конструктивизма), понимаем, что технологические исследования нельзя

¹⁰ См.: Лекторский В.А. Дискуссия антиреализма и реализма в современной эпистемологии // Познание, понимание, конструирование. М., 2008. С. 24–27.



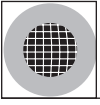
сводить к выполнению бизнес-заказов. Смысл технологий определяется наличием знаний о соответствующих процессах, возможностью контролировать эти процессы. Технологические конструкции являются искусственным замещением того, что сама природа в данных условиях создать не может, но это не означает, что человек отменяет законы природы и по своему замыслу конструирует реальность.

Эволюционный конструктивизм опирается на холистическую онтологию, в которой мир единая гармоничная целостность. Такое представление о мире как космосе, гармонии было в античной Греции. А.Ф. Лосев так рисует образ античного космоса: «Космос, природа есть театральная сцена. А люди – актеры, которые появляются на этой сцене, играют свою роль и уходят. Откуда они приходят? С Неба, ведь люди – эманация космоса, и уходят туда же и там растворяются как капли в море. А Земля – это сцена, где они исполняют свою роль. Какую же пьесу разыгрывают эти актеры? Сам космос сочиняет драмы и комедии, которые мы исполняем. Философу достаточно знать только одно: что он актер и больше ничего»¹¹. Так и исследователю, занимающемуся инновационными технологиями, необходимо экологическое самосознание, знание фундаментальных законов и этика ответственности.

Примеров из реальной практики науки, демонстрирующих, что современные технологии опираются на фундаментальное знание и сами являются механизмом получения новых фундаментальных знаний, немало. Стоит вспомнить событие 2012 г. с открытием бозона Хиггса с помощью Большого адронного коллайдера, воплощающего собой сложнейшую технологическую конструкцию. Любые научные исследования сегодня немыслимы без информационных технологий как совокупности знаний, связанных с технологиями обработки данных, моделированием с помощью вычислительной техники. Принципиально важно, что новые свойства частицы вписываются в ту картину, которая предсказана стандартной моделью. Другой пример приведем из области нанонауки. С помощью нанотехнологий стало возможным осуществлять направленный перенос генов в определенные виды клеток с помощью наночастиц, которые выполняют роль транспорта, своего рода самонаводящейся боеголовки. Соединяя наночастицы с медикаментами, ищут новые средства терапии. Нанотехнологии включают фундаментальные физико-химические и биологические исследования, в основе которых изучение возможности манипуляций материалами на атомном или молекулярном уровне.

Третий пример связан с применением когнитивных технологий в поисках фундаментальной теории сознания. С появлением в конце XX в. методов трехмерного картирования мозга на первый план выдвинулись методологии и задачи когнитивной нейронауки. Это такие задачи, как выявление закономерностей эволюционного и онтогенетического развития систем мозга, их связи с феноменами сознания и познавательной активности. Современный этап развития когнитивной науки называют нейросетевым или коннекционистским. Исследование познания здесь не сводится к тому, что происходит в мозгу, а

¹¹ Лосев А.Ф. Держание духа. М., 1988. С. 168.



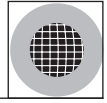
включает постоянное взаимодействие организма и его окружения. Когнитивная система рассматривается как включающая в себя мозг, тело, внешнее окружение. Сознание не отождествляется с мозгом, а когнитивные процессы понимаются не как изолированные процессы внутри носителя, а как результат взаимодействия системы и среды.

На основе теории, предложенной нобелевским лауреатом Дж. Эдельманом и Дж. Тонони, мозг является местом коммуникативного взаимодействия конкурирующих групп нейронов, в результате которого в нем формируется «динамическое ядро», действующее как новый параметр порядка, «функциональный кластер», обеспечивающий самоорганизацию. В связи с расшифровкой генома человека вырос интерес к поиску генетических основ отдельных когнитивных функций и индивидуальных различий. Происходит сближение когнитивных исследований с теми разделами нейрофизиологии, которые изучают аффективно-мотивационные аспекты поведения. Одновременно когнитивная лингвистика стремится использовать язык в качестве окна в структуры мозга. Согласно коннекционистской модели, в основании функционирования нейронных сетей мозга лежит не абстрактное логическое мышление, а распознавание паттернов. Эдельман и Тонони пришли к выводу: «Мышление протекает в рамках синтезированных паттернов, а не логики, и поэтому в своем действии оно всегда может выходить за пределы синтаксических или механических отношений»¹². В частности, изучение нейрофизиологических процессов в мозгу человека показало, что скорость перемещения потенциала действия вдоль нервного волокна и время синаптической передачи не обеспечивают реально существующее быстрое действие механизмов мышления и памяти, т.е. процессы мышления и памяти происходят на долю секунды быстрее, чем передача нервных импульсов. Пока рано говорить о фундаментальной теории сознания, но средствами нейронауки и когнитивных технологий сегодня исследуется работа мозга одной из сложнейших из известных структур.

Главное, что мы хотели подчеркнуть, обратившись к эпистемологическим основаниям технонауки: конструктивизм как когнитивная практика вполне совместим с реалистическим мировоззрением, что дает основания отстаивать право науки на открытие. Для того чтобы открыть нечто реально существующее, исследователь должен предполагать его характеристики, чтобы знать где искать. Эти характеристики формулируются (конструируются) с помощью теории, но сам реальный объект не конструируется. Технонаука не только является средством получения полезного знания, но и способствует изучению природы, поиску фундаментальных законов.

Аксиологический аспект философских оснований технонауки имеет особое значение. Риски технонауки и социально-экологические последствия технологических катастроф обусловили необходимость введения социально-гуманитарной экспертизы как особого типа деятельности. После черныбыльской катастрофы и аварии на Фукусиме проблемы ядерной безопасности обсужда-

¹² Цит. по: Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М., 2010. С. 47.



ются как проблемы глобального мира¹³. Однако не менее важным аспектом проблемы безопасности являются риски манипуляций с природой человека. Ранее уже указывалось, что термин «технонаука» наиболее часто используется для обозначения NBIC-технологий. Последние, став реальностью нашего времени, размывают прежде устойчивые физические и концептуальные границы между одушевленным и неодушевленным, искусственным и естественным, материальным и идеальным. Происходит постепенный сдвиг от картезианской онтологии с ее жестким противопоставлением субъекта и объекта к новой онтологической модели с размытыми границами. Латур определяет всех нас в качестве участников совместного экспериментального предприятия с непредсказуемым результатом. Мы – одновременно и действующие лица, и объекты воздействия научных и технологических практик, которые представляют собой сложные процессы «взаимонастройки» людей и «вещей», обнаруживающие интеграцию природы и культуры¹⁴.

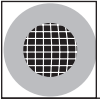
NBIC-технологии это междисциплинарный проект, направленный на разработку новых обучающих систем, на создание нанобиопроцессоров, способных взаимодействовать с человеческим организмом напрямую, на улучшение когнитивных способностей человека. Специальные программы социального развития на основе NBIC-технологий были приняты в Америке и Европе. Это американская программа «Конвергирующие технологии для улучшения человеческих способностей» (Converging Technologies for Improving Human Performances, 2002) и программа Евросоюза «Конвергирующие технологии для европейского общества знаний» (Converging Technologies for European Knowledge Society). Цель этих программ – улучшение качества жизни. Однако NBIC-технологии не просто очередное научно-техническое совершенствование, они «взрывают» жизненный мир человека вплоть до трансформации самой природы человека, его идентичности. NBIC-конвергенции открывают перед человечеством возможности собственной эволюции как осознанно направляемого процесса трансформации природы человека.

Современная наука переходит к новому этапу в познании человека, который в буквальном смысле может быть назван конструированием человека¹⁵. Его социальные последствия активно обсуждаются. С одной стороны, биотехнологии позволяют продлить жизнь человека, с другой – возникает масса проблем. Например, как будет обстоять дело с трудоустройством молодых при резком увеличении слоя работоспособного пожилого населения? Как скажет-

¹³ О социально-экологических последствиях современной технонауки и проблеме ядерной безопасности как глобальной проблеме современности можно прочесть в специальной рубрике журнала «Философские науки», посвященной гуманитарной экспертизе. См.: Нерешенные проблемы глобального мира. Ядерная безопасность // Философские науки. 2012. № 3. С. 107–131; *Горохов В.Г.* Жизнь в условиях технологических рисков // Философские науки. 2012. № 2. С. 82–87; *Горохов В.Г., Шерц К.* Социально-экологические последствия развития техники // Философские науки. 2011. № 6. С. 49–63; *Горохов В.Г.* До и после Чернобыля. Технологический оптимизм и социальный пессимизм // Философские науки. 2011. № 6. С. 25–34.

¹⁴ См.: *Латур Б.* Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб., 2008.

¹⁵ См.: *Черникова И.В., Черникова Д.В.* Проблема природы человека в свете NBIC-технологий // Известия ТПУ. 2010. Т. 316, № 6. С. 88–93.

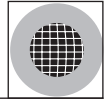


ся еще больший рост антропогенной нагрузки на биосферу? Чем может обернуться уменьшающееся эволюционное разнообразие при направленном улучшении генофонда? Биотехнологии создают генно-модифицированные продукты, а их использование, даже просто существование оказывает влияние на естественную природу, например через переопыление, и возникающие трансформации в геноме живых организмов могут иметь необратимый характер. Немало тревоги вызывает и применение нанотехнологий, например стремительно распространяющиеся радиоидентификаторы – электронные устройства, состоящие из микросхемы (чипа) и антенны, связывают с ограничением личных и гражданских свобод. С одной стороны, такие устройства могут быть полезны в уходе за людьми, страдающими потерей памяти, применяться при чипировании домашних животных. С другой стороны, опасаются, что найдутся пастухи для «человеческого стада». А если их внедрить в мозг, то они смогут регистрировать сигналы, передаваемые нейронами, т.е. позволят читать наши мысли без нашего ведома.

Когнитивные технологии создают возможность контролировать эмоции, создавать удовольствие без конкретной личностной активности, управлять мышлением человека. Это далеко не все проблемные моменты, возникающие вследствие вмешательства в естественную эволюцию живого. Пока никто не может даже приблизительно оценить те последствия, которые повлечет за собой размножение живой материи, в частности человечества.

Сегодня, когда научное познание трансформируется в технонауку, человек конструирует не только видимый мир, который в классической рациональности мы называем объективным миром. Этот естественный мир наполняется искусственными созданиями био- и нанотехнологий. Наш познавательный аппарат, который формировался в процессе эволюции естественного мира, теперь трансформируется с учетом эволюции естественно-искусственного мира, под влиянием технонауки. По оценкам экспертов, к 2030–2040 гг. возможно создание полных компьютерных симуляций человеческого мозга, а еще раньше получают широкое распространение технологии виртуальной реальности. Однако неясно, будет ли и каким образом эволюционно закреплена соответствующая система этических норм и запретов как регуляторов нового этапа цивилизационного развития. Достаточно ли быстро (для адекватной адаптации) будет эволюционировать наш когнитивный аппарат?

Обозначим философские вопросы, актуализируемые применением когнитивных технологий. Будучи направленными на совершенствование познавательных возможностей (улучшение памяти, избавление от когнитивных расстройств и т.п.), они не трансформируют природу человека и в этих границах их применение вполне оправданно. Сложнее оценить последствия возможного конструирования в духовно-нравственной сфере. Обратим внимание на опасный характер разрыва между прогрессом в области научного знания и технологий и отсутствием сколько-нибудь сравнимого нравственного прогресса. Между тем есть научные данные, свидетельствующие, что система ценностей присуща человеку на генетическом уровне. Так, американский нейробиолог Эдельман установил, что система отбора мозга работает только при



наличии врожденной ценностной ориентации, что в нервных системах ценности устанавливаются в процессе эволюции. Исследователи утверждают, что в мозге человека имеются определенные наследственные химические структуры, связанные с системой ценностей, и изменение этой системы под воздействием обучения позволяет человеку выполнять действия, которые не могут выполнять другие животные. Быть человеком значит обладать гибкой системой ценностей, которая может изменяться под воздействием обучения¹⁶.

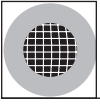
Перед обществом стоит проблема: кем станет человек? Останется ли присущая ему человеческая природа неизменной константой, не поддающейся влиянию, или произойдет ее трансформация? Ведь научно-технический прогресс привел нас к таким достижениям, которые ранее считались утопичными. Перед нами открывается перспектива становления постчеловеческого будущего, постчеловеческой реальности и постчеловеческой цивилизации. Если прежде технологии были направлены на улучшение качества жизни, то теперь NBIC-технологии приоткрывают завесу тайны на пути к изменению человеческой природы. Согласно прогнозу Ф. Фукуямы, человечество переходит на новую фазу истории, мы движемся в направлении к нашему постчеловеческому будущему.

С одной стороны, NBIC-конвергенции рассматриваются как основа социального прогресса, как концепция управления развитием технауки (проект совершенствования человеческих возможностей на основе методологии саморазвития и сложности). Конвергентные технологии соотносят с ноосферным проектом В.И. Вернадского. С другой стороны, инициатива NBIC стала новым стимулом для активизации трансгуманизма (Н. Бостром, Р. Курцвейль, В. Уиндж, Х. Арентд и др.). Трансгуманисты считают, что многочисленные научные разработки, ведущие к изменению человеческой природы, служат во благо, так как они способствуют открытию новых границ и возможностей для человека. Подавляющее большинство философов дает резко отрицательную оценку идеям трансгуманизма. В частности, В.А. Лекторский указывает, что изменение человеческой телесности может привести к необратимым изменениям, поскольку наша культура, нравственность основаны на присущих человеку возможностях и особенностях, включая любовь, достоинство, свободу, смертность. «Переход к “постчеловеку” – это не ликвидация смерти, а, наоборот, коллективное самоубийство человечества, ибо “постчеловек” и есть убийца человека»¹⁷. Как видим, этическая проблематика, которой сторонилась классическая наука, оказалась самой существенной в обсуждении перспектив современной науки, поскольку на кону перспективы самого человека, его судьба.

Почти полвека назад известный философ Х. Йонас писал об этике ответственности. Словно предвидя ситуацию с трансформацией человеческой природы, которая тогда еще себя не проявила, он отмечал: «Лишь заранее предска-

¹⁶ См.: Харгиттаи И. Откровенная наука: беседы с корифеями биохимии и медицинской химии. М., 2006. С. 197.

¹⁷ Лекторский В.А. Философия, познание, культура. М., 2012. С. 169.



зываемая деформация человека помогает нам прийти к понятию человека, которое следует от нее оградить, и мы нуждаемся в угрозе человеческому образу, причем вполне специфической угрозе, чтобы, ее устранившись, заручиться подлинным человеческим образом. Пока опасность не известна, мы не знаем, что и зачем нужно защищать: знание об этом возникает, вопреки всякой логике и методологии, на основе вопроса «от чего?». Вопрос этот возникает первым и научает нас посредством предшествующего знанию протеста со стороны чувства видеть ту ценность, объект которой нас так затрагивает. Мы знаем, что стоит на кону, лишь когда знаем, что оно стоит на кону»¹⁸.

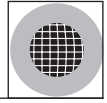
Важнейшей составляющей этики ответственности Йонаса является принцип «эвристики страха». Страх за будущее человечества, перед возможным изменением сущности и облика человека становится главным ценностно-образующим принципом. Как образно выражается Йонас, сама предполагаемая опасность должна служить компасом новой этике. Человечество не может позволить себе рисковать, когда на карту поставлено его существование. Поэтому страх становится необходимым элементом ответственности и даже источником долженствования. В его свете должна произойти переоценка всех ценностей предшествующей этики. Принцип этики будущего, отмечает Йонас, «находится не в самой этике как учении о деянии, но в метафизике как учении о бытии, частью которого является идея человека»¹⁹. Необычна сама постановка вопроса, существует ли цель в объективном, материальном мире или только в субъективном, психическом? Йонас ради этики расширяет онтологическое местопребывание цели, обосновывая имманентность целей в бытии. В его учении смысл жизни – жизнь, у человека отсутствует право на самоубийство и на убийство другого. Лишь в определенных крайних случаях исключение из этого правила оказывается нравственно оправданным. Между тем деяния современных технологий ставят под угрозу существование будущих поколений. Мы не можем предположить согласия от будущего человечества на небытие или обезчеловеченность. Сохранение человечества, его природной идентичности должно быть безусловным и может рассматриваться как категорический императив. «Имеется безусловная обязанность человечества существовать, которую не следует смешивать с условной обязанностью существовать отдельного человека. Можно рассуждать об индивидуальном праве на самоубийство; право на самоубийство человечества обсуждению не подлежит»²⁰.

Нравственность как специфический тип регуляции отношений людей, направленный на их гуманизацию через стремление к идеально-должному, может быть понята как специфический для уровня эволюции человека параметр порядка (термин синергетики), фактор эволюции на уровне социальности. Согласно эволюционно-синергетическим представлениям, создание более

¹⁸ Йонас Х. Принцип ответственности. Опыт этики для технологической цивилизации. М., 2004. С. 80.

¹⁹ Там же. С. 105.

²⁰ Там же. С. 95.



сложных структур можно рассматривать как процесс восхождения и децентрализации. Принципы запрета, ограничения, которые задают направленность, канализируют развитие, служат механизмами самоорганизации. На уровне человека одним из таких принципов является нравственность, которая существует в двух планах – общечеловеческом и личностном.

Известно, что ход эволюционных процессов убыстряется по мере восхождения от космогенеза к социогенезу. На каждом витке спирали универсальной эволюции действуют не только общие, но и специфические законы. Одним из законов, управляющих социогенезом, является закон технико-гуманитарного баланса, согласно которому мощность технологического воздействия должна уравновешиваться более действенными принципами контроля.

Вопрос в том, как успеть изменить негативные стороны природы человека, если по оценкам специалистов, моделирующих цивилизационные процессы, необратимые изменения могут произойти менее чем за 100 лет (Н.Н. Моисеев). Духовные практики восточной культуры, которая, по Юнгу, интровертна (вектор развития направлен внутрь), нацеленные на самосовершенствование, не являются образом жизни в экстравертной западной культуре (вектор развития направлен вовне). Так есть ли будущее у человека и с чем связывать надежды и деятельность? Задача ученых и философов состоит в том, чтобы NBIC-технологии, которые сформировались в ходе развития науки, стали для человека не новым средством «покорения» и «овладения», а технологией закрепления в природе человека тех свойств, которые необходимы для обретения динамического равновесия между наделенным интеллектом субъектом и Универсумом.



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ВЗГЛЯДОВ Н.Г. ДЕБОЛЬСКОГО

Ирина Григорьевна Ребещенкова – доктор философских наук, профессор кафедры философии Национального минерально-сырьевого университета «Горный». E-mail: irinagr@rambler.ru

Многогранное и богатое теоретическое наследие Н.Г. Дебольского (1842–1918) – русского мыслителя (философа, психолога, педагога-теоретика и практика) – пока еще недостаточно известно, недостаточно изучено и адекватно не оценено. Статья представляет собой одну из попыток восполнить этот пробел. В ней прослеживается эволюция взглядов Дебольского в 1870-е гг. на методологические и философские проблемы психологии – активно формировавшейся в то время новой науки. Рассматриваются его обсуждение и оценки работ отечественных и зарубежных психологов и педагогов: К.Д. Кавелина, К.Д. Ушинского, В. Вундта, Г. Спенсера. Особое внимание уделяется обсуждению таких методологических вопросов психологии, носивших дискуссионный характер, как вопросы ее научности и критериев этой научности, ее соотношения с философией (метафизикой) и естествознанием (физиологией), ее метода, предмета, структуры, задач и практического приложения. Кроме того, особо выделено понимание Дебольским основного объекта психологии – души. В статье делается вывод о вкладе ученого в эту науку, в разработку ее методологии и истории.

Ключевые слова: психология, методологические и философские проблемы, метод, душа, внутренний и внешний миры.

METHODOLOGICAL AND PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF PSYCHOLOGY IN THE SYSTEM OF VIEWS OF N.G. DEBOLSKY

Irina Rebeschekova – doctor of philosophy, Professor of the Department of Philosophy of National University of mineral resources «Mining». E-mail: irinagr@rambler.ru

Multifaceted and rich theoretical heritage of N.G. Debolsky (1842–1918) – Russian philosopher, psychologist, educator – not yet sufficiently known, poorly understood and has not been adequately assessed. This article presents one of the recent attempts to fill this gap. It examines the evolution of Debolsky's views in 1870 years on the methodological and philosophical problems of psychology. In this context, considers its evaluation activities of such psychologists and educators as: K.D. Kavelin, K.D. Ushinsky, W. Wundt and G. Spencer. Particular attention is paid to Debolsky's discussion such methodological issues of psychology as questions about its scientific, its relationship with the philosophy (metaphysics) and natural science, its method, the object, structure, objectives and practical application. In addition, special emphasis Debolsky's understanding the soul and its description of its main features. The article concludes his contribution to the psychology, the development its methodology and its history.

Key words: psychology, methodological and philosophical problems of psychology, the method, the soul, the inner and outer worlds.

Многогранное и богатое по содержанию теоретическое наследие Н.Г. Дебольского (1842–1918) – русского философа, психолога, педагога-теоретика и практика –





пока еще нельзя считать хорошо известным и тем более глубоко изученным и адекватно оцененным. Между тем его вклад в осмысление основополагающих проблем философии (особенно онтологии, теории познания и науки, этики, эстетики), психологии, педагогики не только значителен, но и актуален. Его многочисленные труды, представляющие собой в ряде случаев отклики (в форме рецензий, обзоров, критических замечаний и т.п.) на сочинения его современников по фундаментальным и насущным вопросам указанных отраслей знания, являются для нас богатым источником сведений о состоянии и степени их развития во второй половине XIX – начале XX в. и об основных этапах их формирования в России и в Западной Европе.

Философские и методологические проблемы психологии находились в орбите исследовательского внимания Дебольского преимущественно в 1870-х гг. – времени его работы в должностях воспитателя Первой петербургской гимназии и инспектора школ Русского технического общества, а также сотрудничества с такими издававшимися в Петербурге известными и авторитетными журналами, как «Педагогический сборник», «Семья и школа», «Педагогический музей», «Воспитание и обучение».

Психология, интенсивно обретавшая статус науки, занимала в творчестве Дебольского такое большое и серьезное место, что его с полным правом можно поставить в ряд с зарубежными и отечественными исследователями, которые профессионально разрабатывали в прошлом и разрабатывают в настоящее время ее теорию и методы. В числе рассмотренных Дебольским вопросов психологии в первую очередь были вопросы о ее научности и критериях этой научности, о ее соотношении с философией (метафизикой) и одновременно с естествознанием, о ее методе, предмете, структуре, задачах и практическом приложении. Особое значение в то время имело предпринятое им уточнение категориального аппарата этой молодой науки.

Одним из первых обращений Дебольского к психологии была его рецензия на вышедшую в Санкт-Петербурге в 1872 г. книгу «Задачи психологии. Соображения о методах и программе психологических исследований» К.Д. Кавелина¹. Эта книга, в которой затрагивался ряд фундаментальных вопросов психологии – о сущности психического, о ее предмете и методах как самостоятельной положительной науки, путях ее построения, – вызвала оживленную полемику. Главными оппонентами автора выступили И.М. Сеченов и Ю.Ф. Самарин, причем если первый указывал на несостоятельность тезисов и выводов Кавелина с точки зрения биологической, то второй упрекал его за игнорирование истин божественного откровения². К числу тех, кто обсуждал резонансную кавелинскую книгу, присоединился и Дебольский.

В своем сочинении Кавелин обосновывал необходимость разработки психологии тем, что для дальнейшего развития нравственности обществу надо дать знания о психических явлениях и законах деятельности души. Он утверждал: в

¹ См.: Дебольский Н.Г. Русская психологическая литература. «Задачи психологии» К. Кавелина // Педагогический сборник. 1872. № 10. С. 910–943.

² См.: Ярошевский М.Г. Сеченов и мировая психологическая мысль. М., 1981.



психологии должны соединиться физиология и философия, так как по отдельности они не могут объяснить всей сложности человеческой природы. Говоря о том, что психику нельзя свести к физиологии (последняя – лишь условие возникновения психических явлений), Кавелин доказывал, что психическое несводимо к материальному и оно, следовательно, не может подчиняться материальным законам, в том числе закону причинности. С его точки зрения, душа есть живая психическая реальность, вырабатывающая под влиянием окружающего материального мира особый нравственный порядок – образец для преобразования этого мира. Не отрицая необходимости физиологических исследований психического, Кавелин выступил против понимания психологии только как естественной науки, доказывая необходимость ее связи с философией.

Дебольский полагал то, что обращение Кавелина к психологии было обусловлено его размышлениями о традиционно философских проблемах, главным образом о соотношении материального и духовного и о той единственной «почве», на которой они соединяются, – о человеке. Именно психология, по мнению Кавелина, может решить задачи, оказавшиеся непосильными ни для философии, ни для естествознания, – «снять покров тайны, покрывающий человека». В этой связи он утверждал о том, что в основу новейшей психологии как науки должны лечь два принципа: единства человеческой природы и единства внешнего и внутреннего миров человека.

Таким образом, в фокусе внимания Дебольского вслед за Кавелиным оказались методологические проблемы психологии именно как науки в ее отношении к философии как к метафизике, а также соотношение их фундаментальных принципов.

Дебольский в своей рецензии сначала признал Кавелина адептом позитивизма – мыслителем, явно выступающим против метафизики и признающим психологию положительной наукой. Но затем он показал его непоследовательность, проявившуюся в том, что позитивизм утверждался им только на словах, а на деле он не избавился от влияния метафизики, поскольку, настроиваясь на изложение основ научной психологии, в действительности излагал основы именно того, чего сознательно стремился избежать, – философии (метафизики) духа. При этом возник вопрос: почему Кавелин называл психологию положительной наукой при ее явно метафизическом характере? Причина этого, по мнению рецензента, заключалась в недостаточной определенности и смешении используемых им терминов, таких, как «материализм», «причинность», «самодеятельность», «необходимость», «реализм», «свобода» и др. Кроме того, Дебольский обнаружил у Кавелина ошибку, которая заключалась в том, что вопросы, которыми занимается философия, были отнесены к психологии, что в свою очередь означало: психология как положительная наука должна занять место философии.

В результате позитивистского решения проблемы соотношения философии и психологии обострились два принципиальных и актуальных для того времени вопроса. Первый: что такое психология: философская система или положительная наука? Второй: если традиционно философские вопросы о душе будут рассматриваться в психологии, то что же в таком случае останется для философии?



Во взглядах Кавелина Дебольский обнаружил не только смешение перечисленных выше философских по сути понятий, их неопределенность, но и существенное противоречие: считая источником нравственных начал (кроме религии) философию, содержащую безусловное знание, он отрицал возможность существования такого рода знания, а значит, и философии как претензии на обладание абсолютным знанием.

Но прав ли был Кавелин, полагая, что положительное (научное) знание исключает знание безусловное (философское)? По мнению Дебольского, не прав, поскольку отрицание философии во имя положительной науки не вытекает из самого характера последней. Оно, это отрицание, может рассматриваться только в качестве реакции против чрезмерных притязаний философии, которая, не довольствуясь собственной задачей – исканием верховного и безусловного принципа, – старается вопреки опыту вывести из него все содержание науки.

В результате анализа взглядов Кавелина на природу психологии именно как на науку и на соотношение ее и философии, Дебольский сделал вывод: книга «Задачи психологии. Соображения о методах и программе психологических исследований» вопреки лежащему на поверхности мнению о позитивистском характере психологии на самом деле была реакцией на позитивизм³. Дебольский «уловил» существенную характеристику психологии как науки, придающую ей специфичность: она исподволь (как и сам позитивизм в качестве мировоззренческой системы) содержит метафизические «включения», безусловно, выходящие за границы естествознания – человеческую душу.

Рецензия Дебольского на книгу Кавелина была показателем его интереса к психологии и ее проблемам. Вместе с тем в ней было сформулировано его собственное понимание последних и ее отношения к философии (метафизике), из «лона» которой она вышла и которая составляет ее фундамент. Он затронул не частные, а принципиальные вопросы – о статусе психологии в общей совокупности знаний того времени и ее отношениях с философией (метафизикой), из «лона» которой она вышла и которая составляет ее фундамент. На трудности и неоднозначность решений этих вопросов указывают выявленные противоречия и парадоксы кавелинских взглядов.

Еще одним стимулом для размышлений Дебольского о методологических проблемах психологии, о ее самоопределении, границах, отношениях не только с философией (метафизикой), но и с естествознанием стала известная книга К.Д. Ушинского⁴.

К указанному сочинению Ушинского Дебольский обращался дважды⁵. В первой из статей он еще раз затрагивал вопрос о соотношении психологии и

³ Дебольский Н.Г. Указ. соч. С. 940.

⁴ См.: Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. В 2 т. СПб., 1868–1869.

⁵ См.: Дебольский Н.Г. Несколько разъяснительных замечаний на психологическую часть сочинения К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания» // Педагогический сборник. 1873. № 1. С. 17–26; № 3; *Он же*. Опыт разрешения некоторых психологических вопросов (по поводу сочинения Ушинского «Человек как предмет воспитания») // Семья и школа. 1874. № 11. С. 273–302; 1875. № 2. С. 77–107; № 3. С. 149–162.



естествознания (главным образом – физиологии). При этом он справедливо отмечал, что психология – это наука, постоянно колеблющаяся между двумя полюсами: физиологией, полагающей психику отправлением нервной системы, и метафизикой, стремящейся придать ей онтологический характер.

Притязания метафизики в целом относительно психологии в частности были, как известно, отвергнуты еще И. Кантом в результате критики ее классических форм, связанных, кстати сказать, с религией (с одним из ее основных понятий – душой). Вследствие этого психология примкнула к первому полюсу – физиологии. Трудность заключалась в том, что задача защиты самостоятельности психологии по отношению к естествознанию (при признании невозможности вывода психических явлений из физиологических процессов) была не только не решена, но и, наоборот, обострилась.

Определению места психологии в кругу наук способствует помимо выявления и дефиниции ее предмета обоснование ее метода – способа изучения такого специфического и сложного объекта, каким является внутренний мир человека – душа. Если отвергнуть возможность и правомерность применения объективного метода в исследовании души, т.е. физиологического наблюдения, или не считать его адекватным, то тогда возникает вопрос о том, чем его заменить. Заменить его приходится наблюдением самой души над своей собственной жизнью, т.е. самонаблюдением. В таком случае было бы последовательно сделать следующее разграничение: наблюдение – это метод естествознания, а самонаблюдение – метод психологии. Но это влечет за собой комплекс новых непростых вопросов: существует ли в человеке способность прямо наблюдать свои собственные душевные состояния? Или же его внутреннее восприятие есть только субъективное восприятие внутреннего состояния организма? Существуют ли душевные состояния как нечто особое от состояния организма или же они, эти состояния, не различаются между собой, а отличие состоит только в способе их восприятия?

Если самый источник психологических знаний резко не отделен от источников других знаний, то между наблюдением в естествознании и самонаблюдением нельзя установить никакого принципиального различия. Однако надо признать, что результаты внутреннего самонаблюдения отличаются от результатов внешнего наблюдения. Первые носят субъективный характер, т.е. существуют только лишь для одного воспринимающего организма, а вторые объективны, т.е. существуют для всех организмов, одаренных способностью к восприятию. В результате рассмотрения сущности психологии и ее метода Дебольским были сделаны выводы о том, что, во-первых, она как учение о субъективном мире отделена от прочих отделов естествознания как учений об объективном мире, и, во-вторых, поскольку субъективные (душевные) состояния обусловлены объективными внешними состояниями, постольку задача научной психологии состоит в определении лежащих в их основе объективных (физиологических) состояний. Дебольский ставил успех развития психологии в зависимость от определения ее места в системе знаний и того своеобразия, которое отличает психические явления от других явлений. Тогда если психология – наука о душе, то логично заключить, что ее место в ряду



прочих наук определяется тем местом, которое занимают душевные явления в ряду всех остальных явлений.

Душа, по словам русского мыслителя, замыкает собой ряд биологических явлений. Если же принять это положение, то первая точка зрения, подлежащая фиксации и анализу, – это точка зрения *объективной* психологии, представители которой отвергают как качественное различие этих явлений, так и различие методов физиологического и психологического исследований. При этом надо учитывать то важное обстоятельство, обычно не учитываемое в объективной психологии, что при переходе от физиологических явлений к психологическим мы встречаемся с их различием не столько в количестве, сколько в качестве. Что касается метода изучения этих явлений, то следует признать: наблюдение психических явлений не может носить объективный характер, поскольку человек наблюдает их в самом себе, т.е. метод психологии состоит в самонаблюдении. А признание правомерности этого метода приводит к субъективной психологии, которая, как и объективная, тоже имеет недостатки, но уже другого рода.

Во-первых, самонаблюдение открывает субъекту лишь его собственные состояния; душевные состояния других людей он может изучить путем внешнего, объективного опыта – через движения. Во-вторых, субъект для себя служит предметом внешнего опыта: наряду с явлениями, которые он воспринимает в себе только сам, он находит и внешние, объективные явления, доступные постороннему наблюдению, составляющие его тело. Итак, с одной стороны, психические явления обусловлены физиологически, связаны с определенными органами и изменения в этих органах ведут за собой психические изменения; с другой стороны, физиологические явления обусловлены психическими явлениями.

Далее взаимодействие психологии и физиологии Дебольский анализировал в связи с выходом в свет в Германии в 1873–1874 гг. новаторской для того времени работы В. Вундта, вдохновленного идеями основоположников психофизиологии и психофизики Э. Вебера и Г. Фехнера⁶.

Вундт, как Фехнер и многие другие исследователи того времени, принял идею психофизического параллелизма Б. Спинозы, заключающуюся в признании того, что каждое физическое событие имеет психический коррелят и каждое ментальное событие имеет физический коррелят. Он вслед за Фехнером поверил, что наличие измеримых стимулов (и реакций) может сделать психологические исследования открытыми для экспериментов, хотя Кант, как известно, считал это невозможным.

В своем аналитическом обзоре состояния немецкой психологии Дебольский, следуя структуре книги Вундта, рассмотрел основные темы пограничной научной дисциплины – психофизиологии: физиологические свойства и физиологическую «механику» нервной системы, ощущения, представления (и их взаимодействия), сознание, допуская существование сознательной духовной жизни в виде логических форм⁷.

⁶ Вундт В. Основания физиологической психологии. М., 1880.

⁷ Дебольский Н.Г. Немецкая психологическая литература // Педагогический сборник. 1876. № 1. С. 101–108.



Наконец, в 1877 г. Дебольский решал задачу представления психологии в ее систематическом виде, в сложившемся к середине XIX в. состоянии. Для ее решения надо было определить специфику ее объектов – душевных явлений, вывести из этой специфики структуру и части психологии, проанализировать ее категориальный аппарат. Эта задача решалась в серии его статей под названием «Основы психологии»⁸. При этом анализ проблем и разделов психологии предварялся методологическим вступлением, касающимся определения ее предмета, специфики и методов⁹.

Дебольский понимал психологию как науку, науку о душе. Но что такое душа в его понимании? Это – совокупность всех тех явлений, которые совершаются во внутреннем мире человека и животных – в том мире, который недоступен внешнему наблюдению (например, мое желание или мое чувство). Признаком того, что данное явление входит во внутренний, а не во внешний мир, является отсутствие у него механических атрибутов. Эта констатация специфики внутреннего мира имела значение для рассмотрения взаимосвязи психических и механических явлений и соответственно взаимоотношения психологии и естественных наук.

Как полагал Дебольский, психические или душевные состояния возникают по своим законам и выступают в роли спутников механических процессов, не являясь их частями. Причем для наук о внешнем мире безразлично, признавать или не признавать существование явлений внутреннего мира, ибо последние объясняют первые.

Логика обсуждения природы души при этом была следующей. Если психические состояния лишены механических свойств, т.е. являются немеханическими спутниками механических процессов, сопровождающими деятельность внешних сил, но не поглощающих и не производящих ее, то становится ясно, что они составляют особый разряд явлений и, следовательно, наука о них – психология – не есть часть науки о внешних явлениях. Размышления о месте психологии в ряду наук о внешнем мире были завершены вполне разумным выводом о том, что она – не часть естествознания, а самостоятельный отдел науки, к которому начала механического мирообъяснения неприложимы. При этом отдавалась дань одновременно двум разным способам объяснения мира – религии и материалистической философии. Так, с одной стороны, объективно не имея научной базы для объяснения взаимосвязи внешнего и внутреннего миров, детерминации строением и физиологией нервной системы психических процессов и склоняясь к их теистической трактовке, Дебольский утверждал: «По воле Творца известные группы механических явлений постоянно сопровождаются известными группами внутренних состояний (курсив мой. – И.Р.)... нет... ничего противного данной науке в том предположении, что группы и ряды внутренних состояний могут существовать даже сами по себе, вне всякого постоянного отношения к внешней телесной оболочке». С другой стороны, он в духе материализма

⁸ См.: Семья и школа. 1877. № 1. С. 1–30; № 3. С. 207–232; № 5. С. 443–460.

⁹ См.: Дебольский Н.Г. Основы психологии // Семья и школа. 1877. № 1. С. 1–6.



продолжал: «Общий механический процесс совершался бы и без этих (т.е. внутренних. – *И.П.*) состояний»¹⁰.

Кроме определения предмета психологии как науки и ее соотношения с естествознанием, Дебольский еще раз формулировал и развивал свои взгляды на ее методы, полагая, что поскольку душевные состояния какого-либо существа открываются лишь его собственным восприятием, то естественно утверждать, что первым источником психологических знаний служит самонаблюдение. Но самонаблюдение нельзя считать достаточным методом хотя бы по той причине, что психология является наукой не только о собственной душе, но и о всех прочих душах, о которых можно судить по внешним (символическим) проявлениям. Это обстоятельство означает, что психология для открытия общих законов психических явлений должна изучать и внешние явления, включающие продукты духовной деятельности: движения, крики, слова, а также книги, картины, памятники и т.п.

Итак, два метода в их взаимном сочетании – самонаблюдение и заключения о душевных явлениях по их внешним проявлениям – движениям и символам – приводят к познанию душевных явлений как таковых, в их своеобразии, иерархии и приведении их во взаимную связь. И все это составляет, как считал Дебольский, первую задачу психологических исследований. Вторая задача – это открытие постоянства во взаимных отношениях душевных явлений и их органических спутников (нервных процессов), т.е. их законов. Третья задача заключается в открытии взаимных отношений между психофизиологическими группами явлений. Сформулированным задачам психологии соответствуют три сферы исследования. Первая сфера – душа как таковая, вторая – отношение единичных душевных явлений к единичным явлениям организма, третья – связанная организация психофизиологических явлений. Исходя из этого следует признать, что физиология служит для психологии лишь необходимой вспомогательной наукой (наряду с механикой, физикой, химией, анатомией, историей, этнографией и др.).

Дебольский подчеркивал значение для психологии не только естествознания, но и философских учений, позволяющих отграничить область вопросов психологических исследований от области вопросов для метафизических размышлений. Он четко указывал на то, что психология как особая наука не является ни частью, ни орудием метафизики, ни материалистической, ни спиритуалистической ее разновидностью¹¹. Под метафизикой при этом понималась наука о верховных причинах всего существующего, имеющая вопреки утверждениям эмпириков свои права. Психологию же Дебольский предлагал считать наукой о душевных явлениях, которая в отличие от метафизики столь же мало, как и естествознание, касается конечных причин. Если для классической метафизики внешний мир оказывается явлением Верховного творческого духа (как его конечной причины), то психология так же мало, как и физика, берет на себя решение подобных вопросов. Таким образом, отметим еще раз, психология, по убеждению русского философа, не является метафизикой.

¹⁰ Дебольский *Н.Г.* Основы психологии. С. 3.

¹¹ Там же. С. 5.



Становление психологии как науки уже на ранних этапах предполагало не только выяснение ее отношения к естествознанию и философии (метафизике), но и выявление возможностей практических приложений полученных в ней знаний. В этой связи Дебольский отмечал, что психология, опираясь на данные, предоставляемые многими отраслями знания, со своей стороны, способна оказать большие услуги не только науке, но и практической деятельности людей. Например, знание психологии сообщает глубину пониманию истории, на него необходимым образом должны опираться экономисты, праведы, юристы, врачи, актеры, священники, государственные чиновники – люди, оказывающие духовное воздействие на других людей.

Несомненно, наиболее важным является приложение психологии к теории и практике обучения и воспитания – к педагогике, осуществляемое в двух направлениях. Первое – психология определяет относительную силу и успешность различных средств педагогического воздействия; второе – раскрывая картину нормального развития человеческой души, она внушает воспитателю осторожность, побуждает его в большей степени охранять это развитие, чем вмешиваться в него и изменять его ход.

Дебольский различал общую и частную психологию: первая исследует общие закономерности психических явлений и анализирует при помощи этих законов сложные психические образования; вторая имеет своим предметом особенности психического развития по видам и родам, полу, возрасту, уровню культуры и индивидуальным различиям. При этом он занимался и содержательными проблемами психологии, точнее говоря, он стремился в суммарном виде представить имевшиеся решения этих проблем. Он выявил сложившийся к тому времени категориальный аппарат психологии, посредством которого описывались душевные явления, и дал общую характеристику этим явлениям, учитывая новейшие данные наук об особенностях и составе душевных явлений.

Душевному явлению, согласно представлениям второй половины XIX в., помимо их немеханического характера был приписан ряд особенностей, отличающих их от явлений внешнего мира: 1) сознательность (в отличие от бессознательного); 2) непротяженность (в отличие от протяженного); 3) последовательность (в отличие от сосуществующих явлений); 4) непосредственная воспринимаемость (в отличие от воспринимаемого посредством органов внешних чувств).

Что касается первой особенности душевных явлений – сознательности, то Дебольский утверждал, что внешний мир как явление, данное моему сознанию, существует при условии сознания, как и внутренний мир; поэтому сознание как форма, в которой и для которой существуют явления, есть одинаковая принадлежность как внешнего, так и внутреннего мира. Решать, каков внешний мир, но не как явление, а как вещь в себе, есть, в согласии с кантовской теорией, дело метафизики, а не психологии. В то же самое время был сделан вывод о том, что сознательность не есть особенность именно внутренних явлений, хотя, несомненно, она составляет ее неотъемлемую принадлежность.



Дебольский считал, что бессознательных душевных явлений нет по той простой причине, что бессознательных явлений вообще не существует, ибо всякое явление есть нечто, данное сознанию (напомним опять-таки: согласно Канту). Это утверждение уничтожает теорию, принимающую существование в душе бессознательных процессов и состояний. Все это привело к выводу о том, что осознаваемость – это атрибут внутреннего мира и что «душа есть комплекс *сознаваемых* внутренних состояний»¹².

Что касается второй особенности душевных явлений – протяженности, то логика Дебольского состоит в следующем. Явления души обладают признаком протяженности, как и явления внешнего мира, следовательно, и признаком подвижности. Представляемый образ есть протяженный образ, явление, занимающее известное пространство во внутреннем мире; этот образ движется, меняет форму и очертания. Явления внутреннего мира колеблются, раскрываются, убегают так же неожиданно, как и возвращаются, растут и уменьшаются (причем без всякой видимой причины). И чем сложнее и абстрактнее душевное состояние, тем оно более неустойчиво. Таким образом, Дебольский полагал, что пространственная форма свойственна явлениям не только внешнего, но и внутреннего мира, хотя и не достигает в них устойчивости и определенности.

Что касается третьей особенности душевных явлений – последовательности их существования, то, если соглашаться с Дебольским, надо признать истинными несколько утверждений. Во-первых, сознание есть та общая форма, в которой и для которой существуют и душа, и внешний мир; во-вторых, единство не только не исключает множественности, но всегда существует вместе с нею; в-третьих, возможно сознавать одновременно несколько явлений; в-четвертых, если состояние сознания может представлять некоторую сложность, то, бесспорно, так называемое одно состояние в действительности может быть группой или сочетанием нескольких состояний. Выводом является то, что явления душевной (внутренней) жизни, подобно явлениям внешнего мира, могут образовывать последовательные ряды и одновременно группы.

Четвертая особенность душевных явлений – непосредственность их восприятия субъектом в отличие от явлений внешнего мира, познаваемых опосредованно, т.е. посредством умозаключений от восприятий. Это означает, что душа может быть действительно отличена от внешнего мира именно как предмет внутренних чувств от самого внешнего мира как предмета дискурсивного, рассудочного познания. Надо учитывать, что разнородность психических состояний и невозможность вывести их качества из одного общего, основного качества, по выражению Дебольского, «ставит математическую объяснимость психических явлений в более тесные границы сравнительно с внешними явлениями»¹³.

¹² Дебольский Н.Г. Основы психологии. С. 7.

¹³ Там же.



Дебольского интересовал вопрос о существовании единого источника душевных явлений. Однако в ходе осмысления феномена души он пришел к следующему выводу: если ее понимать как совокупность качественно определенных, различной яркости явлений, то надо признать, что разнородные ряды и группы этих явлений не могут быть сведены к одному общему источнику.

Пятая особенность душевных явлений, их существенный признак – это их относительность: каждое душевное состояние существует лишь постольку, поскольку отличается сознанием от другого (или других состояний). Это говорит о необходимости признать, что душа представляет собой ряд постоянных изменений качества, силы (яркости) и состава входящих в нее явлений.

Интегрируя все выявленные и перечисленные здесь признаки душевных явлений, можно вслед за Дебольским охарактеризовать душу как «совокупность интуитивных данных сознания, одновременных и последовательных, неопределенно и неустойчиво протяженных, качественно определенных и разнородных, различных по яркости, существующих лишь одно относительно другого»¹⁴.

Что касается состава душевных явлений, то Дебольский различал в них прежде всего содержание и форму, т.е. некоторую качественно-количественную определенность. Причем форма и содержание душевных явлений с самого начала душевной жизни даны вместе, хотя их соотношение может быть различным. В зависимости от этого соотношения можно классифицировать душевные явления: восприятия, представления, сложные или развитые восприятия, чувства, явления воли.

Явления душевной жизни находятся в постоянной связи с известными состояниями организма – отправлениями нервной системы. Характерно, что психофизиология нервной деятельности в процессуальном плане трактовалась как ряд ступеней в развитии новых приспособлений – более сложных координаций.

Психическая жизнь начинается с восприятия, которое образует собой единый источник для содержания и формы душевной деятельности. Что касается чувственных форм, то они должны быть признаны, согласно Дебольскому, существующими везде, где есть хотя бы слабые задатки этой жизни. Но поскольку нервная организация есть нечто развивающееся, постольку связанные с ней чувственные формы также способны к развитию и совершенствованию. Чувственные формы служат спутниками органической способности различать и объединять одновременно и последовательно впечатления, приспособлявая свою деятельность к совокупности различных, одновременных и последовательных условий существования. Интересно, что в данном случае было намечено получившее широкое распространение понимание психики, связанной с функционированием органических структур, т.е. с физиологией, в качестве адаптивного фактора.

¹⁴ Дебольский Н.Г. Основы психологии. С. 11.



Обсуждая проблему единства ощущений и их разнообразия, существования у них единого источника, Дебольский ссылаясь на новейшие для его времени исследования немецких ученых, стоявших у истоков психофизиологии – И. Мюллера и того же Вундта, когда фиксировал следующий результат: в головном мозгу нет общего органа ощущений, общего для них чувствилища, напротив, разнородные ощущения возникают в связи с деятельностью различных органов головного мозга.

В статье «Основы психологии» вслед за ощущениями Дебольский последовательно и подробно рассмотрел основные явления психики: восприятия и их общий ход развития, инстинкты и, наконец, речь, прирожденная способность к которой у человека обнаруживается по сравнению с другими инстинктами рельефнее. При этом он поставил вопрос: какова главная причина осмысленности речи? Она заключается в совершенстве психической и, следовательно, нервной организации человека. В данном случае речь шла об обоюдной зависимости человеческой речи и психического совершенства друг от друга: если, с одной стороны, без дара слова человек не мог бы подняться выше животного, то, с другой стороны, возможность надлежащего развития этого дара зависит от высокой степени психофизиологической организации человека¹⁵.

Итак, Дебольский изучал многогранный предмет психологии – психику, ее особенности. Вместе с тем он рассматривал и соответствующую науку в соотношении с ближайшими научными дисциплинами, в том числе – с философией (метафизикой). Кроме того, он представил в систематическом виде ряд разделов психологии, сложившихся к 1870-м гг. и находившихся еще в зачаточном состоянии, но перспективных для последующей разработки, а именно: психологию ощущений, психологию восприятий, психологию представлений, психологию инстинктов, психологию речи. Следует подчеркнуть, что определение особенностей психических явлений, составляющих внутренний мир индивидов по сравнению с явлениями внешнего мира, позволяет ближе подойти к философским вопросам связи этих миров, т.е. к философии.

Особое внимание Дебольский уделял системе психологических и философских взглядов Г. Спенсера¹⁶. Он рассмотрел суть и предпосылки его психологической концепции, содержащиеся в учениях Ф. Бэкона, Дж. Локка и Д. Юма¹⁷.

В работах Спенсера Дебольским была обнаружена попытка определить интересующее его место психологии в ряду других наук. С учетом того, что предметом психологии служат внутренние или субъективные явления, эта наука по своему содержанию резко отличается от наук, имеющих дело с яв-

¹⁵ См.: *Дебольский Н.Г.* Очерк исторического развития психологии // *Семья и школа*. 1878. № 2. Кн. 2. С. 59–72; № 3. Кн. 2. С. 95–104; № 8. С. 1–20; № 11. Кн. 2. С. 199–219.

¹⁶ См.: *Дебольский Н.Г.* Герберт Спенсер как метафизик // *Журнал Министерства народного просвещения*. 1905. Ч. 358. № 3. С. 106–122.

¹⁷ *Дебольский Н.Г.* Психология Герберта Спенсера // *Педагогический сборник*. 1874. № 6. С. 610–624. № 8. С. 733–752; № 9. С. 843–857; № 10. С. 945–963; № 11. С. 1047–1077; № 12. С. 1191–1208.



лениями внешнего мира. Но общее устремление того времени, определяемое позитивизмом, заключалось в том, чтобы психология усвоила, подобно естественным наукам, объективный метод исследования. В соответствии с этим она объявлялась наукой объективной по методу и субъективной по содержанию¹⁸.

По мере рассмотрения исторического процесса становления эмпиризма, ведущего к его спенсеровской модификации, Дебольский в очередной и последний раз на этом этапе обсуждал вопрос об отношении психологии к естествознанию в аспекте соотношения субъективного и объективного. Трудность заключалась в том общем для всего эмпиризма положении, что судить о внутреннем или душевном состоянии субъекта и о его восприятиях других субъектов и их сходстве возможно только при предположении существования некоторого внешнего, объективного, общего для них мира. Тогда надо было признать следующее: субстанция – это как раз то постоянное, что сохраняется в духе при смене всех его явлений. А реальное бытие духа, как обосновывал Кант, состоит в единстве, вносимом его сознанием в группы душевных состояний.

Дебольский, чьи интересы были сконцентрированы на вопросах развития психологии и педагогики в их отношении не только друг к другу, но и к естественным наукам, к наиболее близкой к ним – физиологии, отмечал, что первые две из названных наук развивались под влиянием третьей. Признание же этого в качестве факта актуализировало вопрос о существовании врожденных способностей (душевных предрасположений), ответ на который содержался в статье «Наследственность и воспитание»¹⁹. В ней он защищал ту идею, что душа обладает врожденной способностью комбинирования ощущений – чувственными формами. Общее признание этого в психологии, полагал он, является блистательным подтверждением взглядов Канта, подразумевая при этом учение об априоризме, точнее, об априорных формах чувственности.

В связи с этим можно говорить об изложенной в спенсеровских «Принципах психологии» концепции о том, что комбинации ощущений могут становиться наследственными, т.е. врожденными формами и предрасположениями, что основные законы мышления не образуются заново в каждом человеке из его ощущений. Истинное познание для Спенсера, как и для Канта, – это познание а priori, опирающееся на всеобщую и постоянную необходимость мышления – на унаследованный от предков склад мышления. Такой взгляд на проблему справедливо трактовался Дебольским в качестве попытки примирения учений о познании Канта и Локка, точнее, примирения кантовского априоризма и локковского сенсуализма²⁰.

¹⁸ Дебольский Н.Г. Психология Герберта Спенсера // Там же. № 8. С. 741–742.

¹⁹ См.: Дебольский Н.Г. Наследственность и воспитание // Педагогический музей. 1876. № 9. С. 518.

²⁰ См.: Дебольский Н.Г. Опыт разрешения некоторых психологических вопросов // Семья и школа. 1875. № 3. С. 149–162.



Выделенный Дебольским характерный для учения Спенсера фрагмент об эволюционно-историческом происхождении априорных форм познания воспроизводится в современной эволюционной теории познания, в которой спенсеровские решения этого вопроса оцениваются как плодотворные. Здесь можно сослаться на работы К. Лоренца и Г. Фоллмера «Кантовская концепция а priori в свете современной биологии» и «Врожденные структуры и кантовское а priori»²¹. Спенсер многими исследователями заслуженно считается одним из тех, кто в XIX в. заложил научно-философский фундамент эволюционной эпистемологии²².

В связи с рассмотрением проблемы существования прирожденных способностей (душевных предрасположений) надо учесть, что гуманистическое стремление к равенству всех человеческих существ с трудом мирится с той мыслью, что существует прирожденное различие в степени духовного совершенства людей.

Признавая возможность наследования способностей (как предрасположенностей) и понимая возникающее при этом противоречие и его неблагоприятные последствия (поскольку признание существования изначального неравенства людей противоречило просветительскому тезису о всеобщем равенстве), Дебольский искал способ смягчить такого рода последствия. С этой целью он говорил об «упругости прирожденных задатков», о существовании большого простора для воспитания, т.е. для возможности совершенствования этих задатков, полагая, что дурной результат воспитания в большинстве случаев обусловлен пренебрежением прирожденной индивидуальностью питомца²³.

Подводя итоги, можно сказать о том, что Дебольский активно занимался актуальной для второй половины XIX в., интенсивно формировавшейся научной дисциплиной – психологией. В своих статьях, опубликованных в психолого-педагогических журналах, он неоднократно рассматривал не утратившие значения и в наше время методологические вопросы: ее научность, место в системе других дисциплин, особенно ее соотношение с метафизикой и естествознанием, а также ее предмет – внутренний мир человека (душу, душевные явления), методы познания этого мира, ее структуру, категориальный аппарат, задачи, практические приложения. Кроме того, им были рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей и состава душевных явлений.

Рассмотрение методологических вопросов психологии сопровождалось у Дебольского, с одной стороны, положительной оценкой и учетом решений, предложенных зарубежными и отечественными психологами, педагогами и философами, с другой – полемикой с ними. При этом были затронуты дискус-

²¹ См.: *Lorenz K. Kants Lehre von Apriorischen im Lichte gegenwärtiger Biologie // Blätter für Deutsche Philosophie.* 1941. № 15. S. 94–125 (в кн.: *Эволюция. Язык. Познание*; под общ. ред. И.П. Меркулова, М., 2000. С. 15–41); *Vollmer G. Angeborene Strukturen und Kantisches Apriori // G. Vollmer. Evolutionäre Erkenntnistheorie.* Stuttgart, 1987. S. 126–131.

²² См.: *Ребезенкова И.Г.* Эволюция познания. Австро-германская традиция исследования в научно-философском контексте. СПб., 2004. С. 35–36.

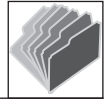
²³ *Дебольский Н.Г.* Наследственность и воспитание. С. 518.



сионные вопросы, уже поставленные в философских учениях (Спенсера, а ранее – Канта), а именно об адаптивном характере психики, о существовании в ней априорных структур и врожденных предрасположенностей, возникших у человека в процессе его эволюции.

С конца 1870-х гг. Дебольский выступил в качестве не только теоретика и методолога психологии, но и ее историка. Несомненно, корни психологии находятся в философии. Это обстоятельство также нашло отражение в работах раннего периода становления Дебольского как психолога²⁴. В анализе методологических и содержательных проблем психологии он обнаруживал не только теоретический, но и практический смысл, поскольку их решение имеет значение для практик воспитания и обучения, а значит, и для педагогики как науки в целом.

²⁴ См.: Дебольский Н.Г. Очерк исторического развития психологии.



«Люди знания» Флориана Знанецкого и их практическая эффективность

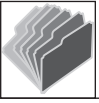
PEOPLE OF KNOWLEDGE AND THEIR PRACTICAL EFFECTIVENESS

Раиса Эдуардовна Бараш – кандидат политических наук, научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований Института социологии РАН. E-mail: raisabarash@gmail.com.

Raisa Barash – PhD in political science, research fellow of Center of Complex Social Research of Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences.

В этом номере мы публикуем вторую часть раздела «Технологи и мудрецы» из книги «Социальная роль человека знания» выдающегося польско-американского теоретика социологии знания Флориана Знанецкого и продолжаем знакомить русскоязычного читателя с типологией социальных ролей «человека науки». Если в прошлом номере на страницах нашего журнала мы познакомились с функциями «действующих технологов», «профессиональных советников» и «технологических руководителей», то теперь приводим соображения Знанецкого о «технологических экспертах» и «независимых изобретателях». Размышляя о возможности «разделения труда» в производстве знания, Знанецкий предлагает матрицу социальных ролей людей знания, представляя «научные габитусы», которые ученым приходится сочетать в своей универсальной исследовательской деятельности. Такие научные габитусы являются не столько следствиями социальной иерархизации науки, сколько моделями возможных стратегий поведения ученых. Стратегий, которые ученые выбирают самостоятельно, исходя из представлений о них как оптимальных для достижения научных результатов. Эти стратегии могут сочетаться и переплетаться в научной деятельности уникального исследователя, однако каждая из таких «научных ролей» ориентирована на собственный научный результат и предполагает самые разные социальные статусы.

И хотя рефлексия Знанецкого лишена идеи жесткого контроля социальной системы над ученым, автор все же говорит о том, что внешний «контур» системы или «поля знания», в которое «вписан» ученый, в некоторых случаях ограничивает его исследовательскую свободу. Политический контекст или место ученого в социальной иерархии могут заметно сократить для него вариативность целей и механизмов научного познания. Так, исследовательская свобода «технологического эксперта», о котором пишет Знанецкий, ограничена кругом его профессиональных обязательств. Экспертное знание – это, как правило, знание утилитарное, порожденное конкретными задачами частной



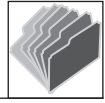
ситуации, а технологический эксперт – всегда эксперт *ad hoc*. Экспертное знание работает на достижение конкретной цели или легитимацию существующих норм, эксперт – это элемент самовоспроизводящейся системы.

Другое дело «независимый изобретатель», подчиненный эгоистичному «гену первооткрывателя». Независимый изобретатель автономен и внутренне свободен, не зажат системными требованиями и целями. Однако у такой свободы есть и своя «социальная цена». Любая система избегает инноваций, которые могут нарушить стандартную логику ее воспроизводства. Поэтому роль независимого изобретателя как в естественно-научном, так и в гуманитарном знании часто не только не получает социального признания и авторитета, но воспринимается маргинальной и даже социально опасной.

И в рассуждениях о проблеме социального признания функций независимых изобретателей Знаниецкий вновь поднимает важную проблему взаимоотношений «людей власти» или действия и «людей знания». Как возможно сочетать включенность ученого в систему социальных отношений с его принципиальным стремлением освободиться от контроля? Где проходит граница, разделяющая социально значимую функцию ученого или поддержание им культурного образца и логику свободной научной рефлексии? Знаниецкий не дает прямого ответа на эти вопросы, ставя «социальную ангажированность» ученого в прямую зависимость от того научного габитуса, который он для себя избрал. Если функция эксперта всегда вписана в социальный контекст, его социальная роль стабильна и востребована, то роль независимого эксперта – это удел немногих мудрецов. Однако Знаниецкий твердо стоит на том, что новое знание невозможно согласовать с социальным или управленческим заказом. Он убежден, что объективное знание доступно «только тогда, когда ученый, занимающийся поиском истины, полностью исключит возможность того, что определять его исследовательскую задачу и технологические механизмы будет не он сам, а требования специалистов или философии».

Тема взаимодействия ученых с властью – это не узкий предмет академической схоластики. Анонсируя в прошлом номере работу Знаниецкого, мы уже вынуждены были ссылаться на продавленную «сверху» реформу Российской академии наук как на живописный пример противостояния людей власти людям знания. К сожалению, для РАН это противостояние оказалось фатальным и логика подчинения научного знания практическому смыслу конъюнктурной ситуации возобладала. Реформа РАН стала кульминацией политики «прагматизации» науки и образования. Вспомним рейтинг эффективности/неэффективности вузов, проект поставить финансирование ученых в зависимость от «индексов» их эффективности и печатной востребованности.

И хотя Знаниецкий приветствовал разработку механизмов оценки эффективности гуманитарного знания, рост инновационного научного знания в рамках «социального заказа» казался ему невозможным. Но не будем забывать, что польско-американский исследователь оставался сугубым теоретиком. И пусть российский читатель на примере сложившейся сегодня ситуации в российской науке сам попробует оценить пределы исследовательской свободы и инновационной смелости «людей знания» в условиях, когда «люди дела» ставят социальную востребованность ученых в прямую зависимость от их практической эффективности.



СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА ЗНАНИЯ

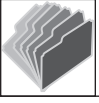
Раздел II. Технологи и мудрецы

Флориан Знанецкий

5. Технологические эксперты

Включенное в социальную роль технологического эксперта знание полностью отделено от его практического применения. Технологический эксперт не только не принимает участия в окончательном представлении результата знания, как это, к примеру, делает технический рабочий или технический руководитель (leader) рабочих, но он не несет ответственности и за принятие решения о том, какие конкретно технические действия необходимо предпринять. Право на принятие решения полностью принадлежит технологическому руководителю, а эксперты в соответствии с его решением должны продемонстрировать, какого специального необходимого знания недостает технологическому руководителю для принятия решения. Характер и объем знания, необходимого технологическому руководителю, зависят от того, каким (социальным) знанием ему надлежит обладать, и от того, что он, как ему кажется, знает; но в любом случае лишь сам руководитель определяет, какую пользу он извлечет из экспертного знания, которым он должен дополнить собственное знание. Действительно, часто бывает так, что руководители поручают экспертам задачу планирования коллективных действий; это означает, что эксперты выходят за пределы своих прямых функций и начинают, даже если это происходит неофициально, выполнять функции руководителя.

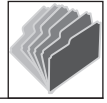
Короли, военачальники, первосвященники, администраторы, судьи, законодатели и предприниматели в течение многих веков использовали экспертов, но не для того, чтобы получать от них советы о том, что им необходимо делать; эксперты должны были собирать и делать доступными для лидеров достоверные знания о каких-то необычных, еще недостаточно известных явлениях актуальной ситуации или о влиянии на нее каких-то ожидаемых, но еще не испытанных новых процессах. Такими экспертами были астрологи, геоманты, авгуры, государственные эксперты в областях демографии, здравоохранения, метеорологии, географии, геологии, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, машиностроения и финансов. К примеру, в современных военных конфликтах в качестве экспертов привлекаются специалисты практически из всех областей научного знания. Естественно, когда руководитель группы не обладает достаточным технологическим знанием (как это обычно



бывает с политическими лидерами, которые, как правило, подготовлены не для технологического лидерства в какой-либо из областей знания, а только для лидерства общественного), то почти вся информация, необходимая для реализации коллективных задач, должна быть собрана экспертами. Но именно лидер, человек (или группа) власти, ставит перед экспертами теоретические проблемы, требующие решения. Даже когда эксперты сами проявляют инициативу в изучении каких-либо фактов или сообщают о результатах своих исследований людям власти, они рассказывают именно о тех проблемах, которые скорее всего заинтересуют людей власти.

И это устанавливает определенные ограничения на исследования экспертов. Чтобы быть актуальными и пригодными для реализации практической задачи, предусмотренной лидером, – будь то наполнение государственной казны, борьба с эпидемиями, развитие сельского хозяйства, планирование войны, строительство дорог или производство быстрых аэропланов, – результаты таких исследований должны быть известны заранее. Факты, которые необходимо изучить, уже определены, кроме того, предполагается, что эти факты определенным образом – желательным или нежелательным с точки зрения лидера – воздействуют на конкретную ситуацию или оказывают конкретное воздействие на результаты планируемых действий. В такой ситуации перед экспертом встает задача протестировать первый тип гипотез посредством наблюдения, а второй тип – посредством эксперимента и установить, на какую из них можно рассчитывать, или, если речь идет о взаимоисключающих гипотезах, зафиксировать, на какую из двух можно полагаться. Какие-то новые гипотезы, не касающиеся практической реализации поставленной задачи, а также новые проблемы здесь нежелательны.

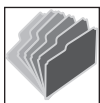
Такую преддетерминированность знания эксперта сегодня можно проследить на примере роли эксперта в статистике. В стандартной исследовательской ситуации предполагается, что известны характеристики всех данных, с которыми работает ученый, но во внимание принимаются только те их характеристики, которые влияют на ситуацию и уже были признаны особенно значимыми; от экспертов требуется лишь установить частоту распространения этих явлений или процессов в границах сферы активности лидера (к примеру, частота распространенности различных доходных групп в границах страны), а также то, насколько частота распространения этих явлений обусловлена актуальной политической ситуацией (к примеру, наполнением казны). Исходной посылкой является поиск статистических корреляций, т.е. предположений о том, что данные одной последовательности каузально зависят от данных другой последовательности. Эксперт должен установить, действительно ли эта зависимость проявляется достаточно часто. Это позволяет обосновать возможность количественного влияния на первую последовательность с тем, чтобы количественно изменилась и вторая последовательность. Например, обосновать возможность уменьшения числа преступлений, сокращения бедности или проституции посредством запрета на продажу алкогольных напитков или улучшения качества урожая посредством популяризации искусственных удобрений. Еще одно ограничение границ исследовательской деятельности эксперта связано с тем, что



его знание относительно актуальной ситуации, необходимое для решения поставленной задачи, ограничено в пространстве и времени; эксперт должен исследовать только те факты, что важны здесь и сейчас. Ему не следует – обращаться к сравнительным методам – формулировать теоретические обобщения, истинные и вне зависимости от актуальных условий.

Совсем другая ситуация, однако, возникает там, где задача эксперта связана с технологическим *экспериментированием*. Такое экспериментирование представляет собой тестирование в малых масштабах (или на малом количестве примеров) результатов действий, которые должны быть реализованы в большом масштабе или в большем количестве случаев. Здесь эксперт также изначально будет ограничен задачей установить, действительно ли при некоторых условиях конкретный вид действий будет иметь тот результат, который ожидался в предварительной формулировке в проекте лидера. Таким образом эксперт в области медицины, экспериментально испытывая воздействие некоторых санитарных мер на некотором числе живых организмов с целью предотвращения распространения инфекционных эпидемий, тестирует гипотезу о том, что распространение болезни среди населения страны будет предотвращено, если государственные власти охватят этими мерами всех жителей. Эксперт в сфере сельского хозяйства экспериментально испытывает способы севооборота или применения удобрений для того, чтобы установить, действительно ли какие-то инициативы фермеров повышают продуктивность работы ферм. Эксперт в области химии, применяя в лабораторных условиях конкретный краситель к конкретной ткани, подвергает окрашенные таким образом ткани воздействию солнечного света, воды и т.д., чтобы протестировать воздействие окружающей среды, прежде чем эта краска будет использована в массовом производстве. Такое экспериментирование предполагает, что каузальные процессы, которые исследуют эксперты, уже известны и их последствия были дедуктивно выведены из предшествующего опыта. Но гипотезе о причинно-следственных связях недостает достоверности или точности. Тем не менее они необходимы для успешного планирования. Эксперт не иницирует поиск нового знания, но лишь совершенствует существующее.

И все-таки задачи эксперта могут выходить за пределы задачи совершенствования знания. Если эксперт понимает, что запланированные инициативы не приведут к ожидаемому результату, он может обратиться к задаче разработки более эффективного и успешного алгоритма действий. Если посредством экспериментирования эксперт установит, что в достижение поставленной лидером цели вмешивается непредвиденный фактор, он начинает искать способ воспрепятствовать этому фактору. Одним словом, социальная функция эксперта может включать и стремление *изобрести альтернативные модели* технических действий, более эффективных для достижения окончательной цели, нежели те, что предполагались экспериментальным проектом лидера. Иногда от эксперта требуется и большая изобретательность. Технологический руководитель может не обладать даже гипотетическим знанием о тех процессах (а также их общих или частичных последствиях), которые могут запускаться в ходе реализации разработанного им проекта. Но без такого знания его



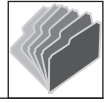
проект будет не просто умозрительным: он будет неполным. И в такой ситуации от эксперта может потребоваться изобрести некоторый пока неизвестный способ завершения и эффективной реализации проекта руководителя. Ради этого эксперту приходится использовать различные комбинации старых и новых гипотез, тестировать их экспериментально в приложении к его особенной проблеме, до тех пор пока не будет изобретена модель технического знания, гарантированно приводящего к желаемому результату.

Мы говорим об изобретении новой модели технического действия, а не о новом технологическом объекте или процессе. Общая концепция «изобретения» в том виде, как она используется в повседневном мышлении, в нормах права (например, при регулировании выдачи патентов) и даже в теоретической рефлексии произвольно выделяет объекты или процессы из общих технических систем действий, элементами которых они являются и только внутри которых они имеют практическое значение¹. Такой подход делает невозможным сравнительный научный анализ изобретений как динамичного культурного феномена, поэтому от него необходимо будет отказаться, – так же как современные этнологи не используют методы сбора и классификации технических орудий более примитивных народов в этнографических музеях, если эти методы не отсылают к тому, как эти орудия были в контексте коллективной традиции связаны с другими культурными ценностями этих народов.

Но ведь каждый изобретенный объект или процесс представляет собой техническую ценность, которая должна быть рассмотрена в связи с двумя активными динамичными системами. С одной стороны, это продукт оригинального технического действия изобретателя, в рамках которого в качестве материалов, инструментов и стандартизированных процессов – в новом виде – выступают конкретные уже существующие ценности. Последние, таким образом, получают новое практическое выражение (например, в виде возрастающих социальных требований к этим ценностям, если изобретение получает распространение). В ходе таких инициатив материалы, инструменты, процессы должны быть изменены в целях адаптации к той новой ценности, которую собирается создать изобретатель. И сама эта ценность должна постепенно изменяться через адаптацию к воздействующим на нее материалам, инструментам, процессам. Для того чтобы производить другие ценности того же типа, что были произведены изобретателем ранее, специалисты должны будут имитировать его первоначальное действие и обращаться к той активной модели, которую он изобрел, хотя в конечном счете эта модель утвердится в том случае, если докажет свою эффективность посредством вторичной изобретательной модификации.

С другой стороны, если новая ценность используется (ведь до тех пор пока она не используется, у нее нет практической ценности за пределами первона-

¹ Такой подход традиционно используется при статистическом изучении количественного измерения совершенствования и распространения «изобретения». Мы не принимаем достоинство таких исследований; необходимо лишь понимать, что такие исследования имеют дело не с изобретением культурных явлений, а только с продуктами технической деятельности, которые расцениваются и принимаются как новые технические ценности в конкретной общности.

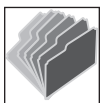


чальных действий создателя), она инкорпорируется в другую динамичную систему в качестве элемента другого процесса. Такое действие может быть техническим, как в ситуации, когда новый строительный материал используется для строительства дома, новая сельхозкультура используется для культивирования поля, новый химикат используется для окрашивания тканей. Но это может быть и совершенно другой тип действия: новую еду производят только для еды, новую одежду – чтобы ее носили; тогда как автомобиль может служить инструментом для достижения совершенно разных целей – от посещения церкви до ограбления, от спасения человеческих жизней медициной или хирургией до убийства людей на войне.

Процесс, использующий новый продукт изобретения, не может точно следовать старой модели: такой процесс должен отклоняться от первоначального процесса, хотя и в незначительной степени, и содержать некоторый элемент инновации, поскольку другие ценности, включенные в этот процесс, должны адаптироваться к новой ценности. Масштабы такой адаптации могут колебаться в широких пределах. Например, в отличие от ситуации создания инноваций в модели пищевого потребления, когда требуется создать новый тип консервированной пищи, или для инноваций в строительстве, когда требуется использовать в домостроении цемент вместо кирпича или камня, должны быть изобретены новые инструменты, которые предполагается использовать для производства инноваций; должны быть изменены технические процессы строительства, и, кроме того, сам дом как конечный продукт должен планироваться исходя из самых разных условий. Например, переход от механизмов, приводимых в движение человеческой силой, к паровым машинам во всех сферах промышленности стал возможен только благодаря серьезным изменениям в традиционных моделях действия и иногда даже использованию беспрецедентных моделей. Широкое и разнообразное использование автомобиля обусловило появление ряда важных и разнообразных моделей социальных и экономических действий, которые произвели революцию во всех традиционных структурах общества.

Говоря о социальной функции технологического эксперта, надо отметить, что в ситуации, когда от эксперта ожидают изобретения, поставленная перед ним научная задача определяется той пользой, которую технологический лидер планирует извлечь из его изобретательской инициативы. Продукт изобретательской инициативы изначально определяется как необходимый «способ» реализации «конечной цели» лидера, а поскольку лидер сам знает, с какой конкретной проблемой необходимо справиться, и знает, какого результата он хочет добиться, изобретения эксперта должны всего лишь удовлетворить потребность лидера и не требовать для своего использования каких бы то ни было иных важных инноваций со стороны лидера.

Таким образом, производственный лидер использует экспертов исключительно в целях изобретения наиболее эффективного способа производства конкретного типа продуктов, для которых, как уверен лидер, существует рынок сбыта; одновременно производственный лидер совсем не ждет изобретения, использование которого повлечет за собой отбраковку и полное обновле-



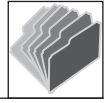
ние машин его фабрики, как и того, что вместо производства ожидаемого товара изобретение продемонстрирует ему методику производства неизвестного товара, который можно выставить на рынок только с высокими рисками и затратами. Когда современные «капитаны промышленности», финансируя лаборатории для технологического экспериментирования, все же отказываются от слишком оригинальных изобретений своих экспертов или изобретений, которые невозможно применить без разрушения технической или экономической системы их предприятий, или когда крупные промышленники сохраняют такие изобретения в секрете, опасаясь использования наглыми конкурентами, они действуют в полном соответствии с логикой традиционной зависимости функций эксперта от требований технологического лидера.

6. Независимые изобретатели

Технологическим экспериментированием, ориентированным на изобретение, занимаются не только исключительно или преимущественно эксперты, выполняющие задания лидеров. На протяжении многих веков таким экспериментированием свободно занимались представители многих профессий, тратя немало своей энергии на поиск не испытанных еще технически способов производства. Таким экспериментированием занимались также и лидеры, которые использовали свое свободное время для проверки новых возможностей, ожидаемых от будущего лидерства, экспертами, которые вышли за границы выполнения стандартных функций, обусловленных актуальными потребностями своих лидеров, и пытались изобрести новые технические модели действия, ожидая, что требования к ним будут постепенно возрастать даже со стороны благополучных специалистов². История знает немало имен изобретателей – от эпохи классической античности до недавних времен; мы можем назвать, к примеру, Фалеса, Герона Александрийского, Архимеда, Галена, Р. Бэкона, Парацельса, Дж. Фонтану, маркиза Винчестерского, Дж. Ватта, Т.А. Эдисона. История содержит немало примеров, которые вместе с очевидными сегодня фактами подтверждают, что число независимых исследователей, мало известных или быстро забытых, во много раз превышало число тех, кто был достаточно удачлив, чтобы создать новую модель, которую их социальное окружение не только пожелало принять, но и сохранило имя исследователя для потомков.

До второй половины XIX в. никакой стандартной социальной роли независимого «изобретателя» в представлении какой бы то ни было социальной группы не существовало (разве что среди самих изобретателей). Даже сегодня такие роли институционализированы только в небольшом количестве организаций, целенаправленно занимающихся технологическими исследованиями.

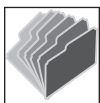
² Влияние дилетантов на изобретение и экспериментальный поиск фактов хорошо описан в книге: *Ornstein M. Role of Scientific Societies in the Seventeenth Century*. Chicago, 1938. P. 54 ff.



Чтобы понять причину этого, мы должны помнить, что изобретение, возникая в ответ на социальный запрос, в любых консервативных обществах воспринимается как опасное и нарушающее существующий магический, религиозный, социальный или экономический порядок. Только если существующий порядок уже нарушен настолько, что утвержденные профессиональные модели отказываются работать, изобретение оправдывают необходимостью противостоять беспорядку. Именно этого изначально ожидали от советника, а затем от технологического лидера, поскольку риски, которые они принимают на себя в такой ситуации, должны препятствовать неминуемым иначе несчастьям. Но мы видели, что даже технологический лидер не может избежать излишних рисков; если он может предположить такие риски, то лишь потому, что надеется на собственную социальную власть или власть превосходящего социального лидера, который защищает его; и когда он это делает, он пытается уменьшить риск неправильного реагирования на ситуацию, используя экспертов для подготовительного исследования и экспериментирования, ставя перед ними задачи только в рамках предписанных заданий. Хотя в сложной изменяющейся цивилизации, где множится дезорганизация в различных профессиональных областях, развитие технологического лидерства и работа экспертов постепенно уничтожают традиционный запрет на инновации в производственной сфере. Даже если случайным исследователям предоставляется возможность достаточно свободно играть с различными технологическими возможностями, происходит длительный процесс позитивного признания непроверенных изобретений в качестве социально желаемой функции, связанной с определенным социальным статусом.

Слово «играть» мы использовали намеренно, поскольку изобретатели прошлого получали свободу действий, но не воспринимались всерьез. С конца Средних веков и вплоть до XVII в. изобретения, которые угрожали вторгнуться в важные сферы жизни – религию, политику, военное дело, медицину, сельское хозяйство, торговлю, ремесло, – могли повлечь за собой обвинение изобретателя в колдовстве, тогда как изобретения, казавшиеся не более чем оригинальными забавами для бездельников, избегали этого обвинения и охотно принимались в качестве развлечения (это описано в ряде книг). Возможно, по этой причине в Китае с его концепцией человеческой жизни и культуры как интегральных и важных частей уникального и сакрального мирового порядка, так много изобретений, по сути похожих на те, что в конце концов совершили революцию в западных технологиях, но в Китае на протяжении веков оставшихся не более чем игрушками. Даже в греко-латинском мире находчивость изобретателей часто находила выражение в том, что воспринималась не более чем игрушками. Герон Александрийский в своей «Пневматике» вместе с механическими устройствами, используемыми при строительстве церкви или ведении войны, перечисляет приспособления исключительно развлекательного характера, например механические поющие птицы, пьющие животные, хитроумно устроенные сосуды.

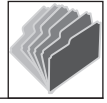
Очевидно, главный интерес любого независимого исследователя в некоторой области носит прежде всего технологический, а не социальный харак-



тер: его поглощает сам процесс экспериментирования и создания новых технологических моделей, так же как артиста поглощает его искусство. Независимые исследователи редко специализируются в какой-то одной профессиональной области – если, конечно, область не так огромна, чтобы предлагать неограниченное число новых возможностей, как, например, современная медицина, включая хирургию и фармакологию. Независимый исследователь всегда «бродит» по обширным пространствам, не признавая социальных границ между профессиями, освобожденный от социальных требований к рациональному техническому действию, которое бы удовлетворило насущные потребности. Это не значит, однако, что он не размышляет о социуме. Напротив, он желает занять общепризнанную социальную роль, найти или сформировать вокруг себя социальный круг, который будет ценить его персональную значимость; он требует социального статуса, гарантирующего экономическую стабильность (если, конечно, эта стабильность не гарантирована), и, пожалуй, более всего хочет, чтобы добровольно определенные им для себя функции были социально признаны, невостребованные изобретения использовались другими, а его не истребованные пока наработки использовались в качестве технологического руководства.

Восприятие исследовательских инициатив социальным окружением определяется несколькими факторами. Изобретение, которое решает оригинальную проблему, поставленную изобретателем, а не проблему, которая регулярно возникала в рамках стандартизированной профессиональной активности, редко создается в работающем виде: может потребоваться ряд вспомогательных дополнительных изобретений, прежде чем их полезность будет признана специалистами, которые оценивают их соответствие стандартам эффективности установленных технологических моделей, или признана технологическими лидерами, обеспокоенными перспективой достижения predetermined результатов коллективного действия. Приведем такой знакомый пример из истории парового двигателя, паровоза, автомобиля и различных авиационных устройств. Изобретатель благодаря своей дальновидности должен оценивать возможности изобретения, которое пока не может применяться практически, а также понимать, с какими другими уже созданными изобретениями должно сочетаться новое изобретение, чтобы быть максимально полезным.

Изобретатель-одиночка – скорее беспомощная, трагикомическая фигура: единицы из его изобретений могут быть приспособлены к существующим техническим моделям и приняты, тогда как большинство кажутся окружающим не более чем диковинками и всегда оказываются забыты после его смерти, а грандиозные проекты, связанные с преобразованиями природы, воспринимаются трезвомыслящими людьми с насмешкой или презрением. Только когда изобретатели начинают расширять и умножать знание нескольких исследователей о действиях друг друга, знакомясь с опубликованными результатами и устанавливая личные контакты, результаты прошлых изобретений используются как предпосылки для новых. Незавершенные или несовременные изобретения завершаются и совершенствуются, различные технические

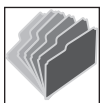


направления комбинируются, возможности, не замеченные одним изобретателем, открываются и реализуются другими, идеи, слишком неопределенные для немедленного использования, постепенно развиваются и находят конкретное выражение, то, что до сих пор воспринималось как игра, становится моделью производства доселе неизвестных полезных продуктов, развлечение для бездельника превращается в серьезное дело, смелая мечта вырастает в потрясающую реальность. Чем больше новых изобретений социум требует от представителя конкретной профессиональной роли, тем разнообразнее становятся технические модели, но тем больше новых проблем возникает при выполнении профессиональных функций. В результате требования для специалистов-технологов становятся более обширными и растянутыми во времени, а среди специалистов-технологов появляется больше изобретателей; это в свою очередь приводит к дальнейшему мультиплицированию и усложнению технологически используемых изобретений и т.д.

Однако существование нескольких изобретателей в обществе не всегда гарантирует развитие изобретений посредством взаимного стимулирования. Многие изобретатели оберегают свои секреты от возможных конкурентов, так как либо опасаются за их статус, либо (в последнее время довольно часто) оказываются под давлением со стороны могущественных государственных или частных работодателей. И даже если изобретение полностью усовершенствовано и готово к практическому использованию, его применение может вызвать социальное сопротивление – например, из-за профессионального консерватизма специалистов, которым не нравятся отвержение или изменение традиционных моделей производства, или со стороны тех, кто боится, что новые изобретения ослабят их экономические позиции или вмешаются в сложившиеся социальные требования к их функциям. Изобретению могут пассивно сопротивляться те самые люди, которые хотя и полагаются главными выгодоприобретателями изобретения, не хотят нарушать привычный образ жизни какими бы то ни было «новомодными» инновациями.

Тем не менее неформальное взаимодействие изобретателей приносит осязаемый порядок в первоначально разнородное знание каждого индивидуального изобретателя. Если изобретатель-одиночка олицетворяет собой попытку множества различных теоретических обобщений, старых и новых, каждое из которых может быть использовано для множества различных изобретений, то приумноженные изобретения «перекрестно опыляют» и дополняют друг друга, появляется общий рынок теоретического знания, касающегося конкретной области, которое каждый индивидуальный изобретатель должен разделять, чтобы участвовать в растущем технологическом контроле за этой сферой. Хорошими примерами здесь являются медицина и механика в классической античности, животноводство и сельское хозяйство начиная с XVIII в.

Возросло взаимное влияние теоретического знания технологов, ориентированного на практические проблемы, с одной стороны, и теоретического знания ученых и (позднее) научных испытателей, организованного чисто логически без опоры на практическое применение, – с другой. Это объясняется главным образом тем, что с развитием технологического образования некоторые

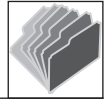


изобретатели стали преподавателями учебных заведений – медицинских, инженерных, сельскохозяйственных и т.п., тогда как некоторые учителя превратились в изобретателей, хотя вплоть до недавнего времени научно-исследовательские учреждения редко объединяли изобретателей и теоретиков. Таким образом, ученые-теоретики переняли экспериментирование от специалистов-технологов и используют его в качестве метода открытия и тестирования новых истин, тогда как технологи перенимают логически организованные системы теоретической науки и следуют за их изменением, стремясь использовать логические концепции для своих изобретений вне зависимости от того, какие компоненты этих систем могут быть использованы на данном уровне технологического прогресса³.

Несомненно, технологический прогресс, достигнутый в ходе культурной эволюции и особенно развернувшийся в последние три века, стал возможен благодаря взаимодействию технологических лидеров, экспертов и независимых исследователей, т.е. тех «ученых», чья функция состоит в культивировании знания, необходимого для формирования планов работы специалистов и создания новых моделей, которые копируют специалисты. Многие инновации были сделаны и по сей день продолжают воспроизводиться опытными специалистами в процессе их профессиональной деятельности; но эти инновации всегда ограничены теми проблемами, которые непосредственно стоят перед самими специалистами и состоят в совершенствовании планов, которые уже созданы, или моделей, которые уже изобретены, а не в формировании новых проектов или изобретении новых моделей – до тех пор, пока специалист не овладеет такой инновацией и не начнет использовать ее за пределами оригинальной сферы применения.

Многие современные мыслители, восхищаясь технологическим прогрессом в области «сдерживания» неорганической и органической природы, удивлялись отсутствию аналогичной системы контроля над культурными и особенно социальными явлениями. В этом часто обвиняют обществоведов, причем даже среди них находятся те, кто разделяет эту точку зрения и считает, что социальные науки должны доказать свою полезность, планомерно разрабатывая и эффективно воздействуя на те явления, которые они исследуют. Некоторая реабилитация обществоведов кажется возможной в ситуации, когда их делают ответственными за те недостатки технологий в обществоведении, аналогии которым весьма сложно найти в технике или медицине; попытка объяснить это сводится к нашей вере в особую разновидность социальных ролей, которые в прошлом исполняли практически все обществоведы и многие из них продолжают исполнять сейчас. Но эти роли, как и большинство других социальных ролей, появились из специфических требований, предъявляемых к социально полезному знанию, которое конкретные социальные страты предписывают в качестве функций конкретным людям, и из последующей попытки последних удовлетворить предъявляемые к ним требования. В течение последних полутора веков некоторые ученые, изучающие культурные феноме-

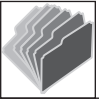
³ О таких отношениях между изобретателем и теоретическим исследователем см.: *Fleming A.R.M., Pearce J.B. Research in Industry. L., 1922. P. 151 ff.*



ны, «вырвались» из этих культурных моделей и начали развивать теоретическое знание независимо от практических социальных целей, ожидая, что в конечном счете новый тип специалистов использует результаты их исследований в социальной практике. Люди, требующие, чтобы такие ученые делали себя полезными, заставляя свое знание служить социальным целям и идеям, возможно, не понимают, что их требование увековечивает ту самую модель мотивации «обществоведа», который до сих пор только препятствовал развитию действительно полезной социальной технологии.

7. Common-sense знание или знание здравого смысла

Если знание технологов развивается из технологического знания профессионалов-специалистов, то знание ученых, которые имеют дело с явлениями культуры, появляется из целокупности неспециализированной информации о языке, религии, магии, экономических процессах, традициях, нравах, людях и группах, которой должны обладать представители данного общества, чтобы исполнять роли членов данного общества. Конечно, далеко не от всех представителей ожидалась равная компетентность об общем и общественном знании: предполагается, что молодой член общества знает меньше, чем старый; знание общественных лидеров и руководителей должно быть более многоаспектным и полным, нежели знание обычных членов общества. Но главное, что такое знание воспринимается как имеющее коллективную значимость, как знание, без которого общество теряет свою нормальный курс и необходимое для всех его членов; любой, кто не обладает этим минимальным знанием (если это не ребенок или чужестранец), является идиотом и никоим образом непригоден для участия в коллективной жизни. С таким знанием нельзя не согласиться, а любой, кто усомнится в какой-то составляющей этого знания, воспринимается ментально или морально больным. Это common-sense знание, знание здравого смысла отражает предполагаемые основания существующего культурного порядка и по сути является очевидно обязательным для всех. Каждое эксплицитное или имплицитное обобщение, которое содержит знание здравого смысла, связано с некоторыми правилами культурного поведения. Знание слов и грамматики лежит в основе вербальной коммуникации; религиозное и магическое знание тесно связано с обрядами и ограничениями, которые каждый индивид, как ожидается, обыкновенно наблюдает в течение своей жизни; common-sense знание, знание здравого смысла в экономике имеет следствием регулирование распределения и потребления продукции (отличное от специализированных технических моделей производства), знание здравого смысла в психологии и социологии является основанием тех норм, что включены в представления о социальных отношениях, персональных ролях и групповой организации. Эту связь знания здравого смысла с правилами культурного поведения можно ясно увидеть в пословицах, которые являются «мудростью народной».

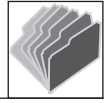


Насколько долго культурный порядок будет контролироваться властью групп, формирующих таким образом некое сообщество, особенно если эта власть поддерживается религиозными санкциями, демонстрирующими, что существующий государственный порядок является сакральным, настолько нормы этого культурного порядка должны оставаться обоснованными. Любые индивидуальные отклонения от норм только усиливают их обоснованность, поскольку отклонение расценивается как нападение на надындивидуальные стандарты и подавление таких отклонений заставляет общество более осознанно относиться к важности этих норм. Поэтому обобщения, связанные с такими нормами, должны *быть истинными*; в знании здравого смысла все «исключения подтверждают правило», поскольку делают более явной демонстрацию коллективной рефлексии.

Возьмем, к примеру, старую «истину» здравого смысла, что женщины подчинены мужчинам. В этой истине нельзя усомниться ни в одном обществе, где подчинение женщин мужчинам есть нормативно регулируемая часть социального порядка, поскольку такой скепсис поставит под сомнение обоснованность всех моделей социальных отношений между полами. Исключения только подтверждают это, а любые отношения, в которых мужчина – скажем, муж-подкаблучник – подчинен женщине, воспринимаются как ненормальные. Такое обобщение может легко «сосуществовать» с другим обобщением, акцентирующим в свою очередь проблему наследования более низкого социального положения малообеспеченными классами и допускающим, скажем, социальное сравнение крепостных с аристократами. Женщин более высокого социального класса принципиально не сравнивают с мужчинами более низкого класса. В этом сравнении нет необходимости, поскольку мужчины из более низких классов социально подчинены женщине из более высокого класса, а если время от времени аристократка правит крепостными, она делает это от лица какого-то социально близкого мужчины, отсутствующего, умершего или еще недостаточно взрослого для этого.

Такие суждения о чем-то «превосходстве» или «более низком положении» являются оценочными. Суждения о ценностях конституируют ядро всего знания здравого смысла, поскольку суждение о ценностях всегда прямо обусловлено нормами поведения. Описательные и объяснительные суждения обладают скорее вспомогательным значением. Так, историческое описание показывает благополучие и величие национальных героев и правителей. Экономическую оценку с позиции благоразумия поддерживают описание и объяснение экономических факторов. Психологические концепции, как правило, предполагают, что человеческие личности могут оцениваться позитивно или негативно, как «умные», «глупые», «мудрые», «бестолковые», «мужественные», «трусливые», «настойчивые», «упрямые», «гордые», «застенчивые», «поверхностные», «скромные» и т.д. Безоценочные суждения используются только при объяснении того, почему индивид «поступил таким образом».

Знание здравого смысла, как и техническое знание, соотносится с практическими интересами. Но все же пока между знанием здравого смысла и техническим знанием существует фундаментальная разница. Относительно ста-

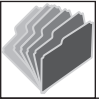


бильный культурный порядок не рождает проблему необходимости создания системы практического контроля, подобной той, что создана для контроля за порядком природы. Ожидается, что индивид не может и даже не предполагает изменить культурный порядок; единственная проблема, с которой, как ожидается, он встретится, это проблема его личной адаптации к такому культурному порядку. Это касается не только рядового члена стабильного общества, но и законодателей, и господ над людьми, законом или религией. Любой представитель общества должен приспособиться к существующим системам объединяющих норм, функция которых эти социальные системы от любых нарушений, будь то возмущения, вызванные преступниками, иностранными агрессорами, злыми духами или силами природы. Каждый индивид, достигнув определенного возраста и адаптировавшись к жизни в социальной системе, из личного опыта знает все, что он должен знать о культурном порядке, лишь участвуя в социальной жизни. Если возникает ситуация, когда он должен изучить факты, не связанные с его собственной социальной ролью в коллективной жизни, о которых он не имеет достоверного знания, основанного на его собственном социальном участии, то все, что он должен сделать, так это спросить кого-то, кто обладает этим знанием.

Единственный способ, посредством которого знание здравого смысла об обществе может быть поставлено под сомнение, – это ситуация коллективного сопротивления культурному порядку, базирующемуся на таком знании. Мы говорим «коллективное противопоставление» потому, что только когда не связанные друг с другом индивиды симметрично выступают против порядка, они воспринимаются обществом как ненормальные и их противопоставление рассматривается как криминальное, грешное или в лучшем случае глупое. Точно так же не может породить сомнений в обоснованности «наших» стандартов критика «нашего» культурного порядка, исходящая от другого общества с другим порядком; такая критика лишь провоцирует желание ответных мер и критику и негативную оценку сквозь призму «наших» собственных культурных стандартов всего, что появляется в другой культуре. Их язык кажется непонятным лепетанием, их религия кажется нечестивой, их традиции кажутся нелепыми, их нормы кажутся слабыми, их искусство ужасно, их мудрость недальновидна и их социальная структура – хаос.

Оппозиция существующему культурному порядку должна возникать внутри общества, чтобы поколебать веру последнего в очевидную достоверность его порядка как самоочевидной истины лежащего в его основе знания здравого смысла. Конечно, противопоставление всегда предполагает культурные контакты с социальным миром, находящимся за его пределами⁴. Новые культурные модели, которыми оппоненты пытаются заместить старые, редко

⁴ Н.Е. Barnes и Н. Becker в своей замечательной работе «Social Thought from Lore to Science» (Boston, 1937–1938), особенно в первом томе, делают упор на культурные контакты между различными обществами, которые преодолели социальную и ментальную изоляцию, как главный фактор внутренних культурных конфликтов и критической рефлексии на тему социального порядка. Это первое последовательное и всеобъемлющее историко-социологическое исследование происхождения и эволюции социальной мысли.



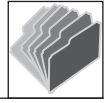
являются полностью оригинальными изобретениями: в большинстве случаев такие модели возникают при индивидуальном воспроизводстве – с некоторыми вариациями – моделей, которые уже существуют в других обществах. «Зарубежные» стандарты и нормы поведения могут быть привнесены возвратившимися путешественниками, купцами, странниками, иммигрантами; в обществах с письменностью они иногда появляются благодаря непрямым коммуникациям – посредством книг и периодической печати. Иногда это происходит по причине пересечения групп, обладающих различными культурными нормами, – в ситуации вторжения, постепенного взаимопроникновения на границах или общего участия в больших группах, привлекающих членов из различных сообществ, например таких, как интернациональная церковь или классовая организация.

Но так или иначе принятие извне моделей, вступающих в конфликт с существующим культурным порядком или (реже) с новыми уже воспроизводимыми культурными моделями, не стимулирует коллективного противостояния, если только между членами этого сообщества более или менее широко не распространено латентное сопротивление. Это может быть восстание молодежи⁵ – обычное, кстати, явление в обществах со сложившимся типом образования – или классовое восстание, или восстание какой-то группы, которая является частью общества, но недостаточно соответствует ему функционально. Но полное исследование этого изменчивого и комплексного процесса изменения культурного порядка должно вывести нас за пределы настоящей работы.

Когда внутри общества формируются две конфликтующие группы или партии, одна из которых стремится изменить традиционный культурный порядок (или какую-то его часть), а другая – сохранить его, тогда мысли о природе и основаниях этого порядка, до настоящего времени не только ненужные, но и нежелательные, превращаются в долг представителей обеих партий – давайте назовем эти партии «новаторы» и «консерваторы». И хотя знание может быть оружием в социальной борьбе, в ситуации, которую мы сейчас обсуждаем, когда действующие социальные цели, «сопротивляясь» или поддерживая социальные правила, предшествуют и обуславливают рефлексивное размышление о теоретических основаниях этих норм культурного порядка, противостоящие партии не могут посредством интеллектуальных аргументов побудить друг друга изменить такого рода цели. Тем не менее аргументы за и против существующего культурного порядка традиционно использовались двумя способами.

Первый способ: эти аргументы усиливали убеждение приверженцев каждой партии, что их собственные цели «правильные», а цели их оппонентов «ложные», и такое убеждение есть реальная социальная сила. Это не так важно для сторонников существующего порядка, поскольку на их стороне все традиционные стандарты достоверности, которые признавались до этого времени в данном обществе, им не нужны новые аргументов для того, что убе-

⁵ *Znaniiecki F. Social Actions. N.Y., 1936. Chap. XIII. "Revolt".*

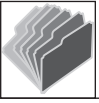


даться в собственной правоте. Оппоненты существующего порядка, напротив, должны найти какие-то новые стандарты достоверности, чтобы поверить в них, поскольку только тогда в своих собственных глазах они будут выглядеть не просто мятежниками, дающими выход своей субъективной неудовлетворенности, но борцами за объективную достоверную «истину». Поэтому мы находим критические размышления о природе и основаниях существующего культурного порядка прежде всего среди новаторов, тогда как консерваторы менее «интеллектуальны» и обосновывают свою борьбу за традиционный порядок главным образом реакцией на аргументы своих оппонентов. Это, конечно, не относится к «реакционерам» вроде Жозефа де Местра, который хотел вернуть культурный порядок, утеравший старое требование к социальной достоверности.

Второй способ использования аргументов знания как социального оружия нацелен на достижение приверженности или как минимум благожелательного нейтралитета части людей, которые еще не определились или прямо не заинтересованы в исходе сложившегося противостояния; и если благожелательный нейтралитет длится достаточно долго, знание может помочь какому-то из лагерей «переманить» на свою сторону молодежь. Каждый из двух противостоящих лагерей, конечно, должен апеллировать к наиболее актуальным целям людей, на которых каждая из партий хочет воздействовать, чтобы привлечь их на свою сторону; однако знание может быть эффективным инструментом в производстве такого призыва.

Но задача рефлексии на тему культурного порядка опасна для обеих партий, поскольку оппонентам традиционного порядка такие размышления нужны для того, чтобы подорвать существующий порядок интеллектуально – посредством дезавуирования лежащего в основе существующего порядка знания здравого смысла, тогда как защитники существующего порядка хотят использовать рефлексию для того, чтобы усилить такой социальный порядок, интеллектуально доказывая, что имеющееся знание является в высшей степени истинным. Теперь обычным людям без специальной подготовки нельзя доверять независимую рефлексию о социальном порядке, поскольку их нетренированное и ненаправленное мышление может увести их в сторону: они склонны совершать глупые «ошибки» из-за вынесения самостоятельных суждений, вместо того чтобы поддерживать в противостоянии сторону своей партии, давая таким образом аргумент другой стороне. Поэтому некоторые интеллектуально превосходящие и широко информированные представители общества должны думать «за» рядовых членов, тогда как обычные граждане должны имитировать рефлексию и максимально впитывать в себя результаты чужой рефлексии.

Функции такой рефлексии в ряду и новаторов, и консерваторов часто налагаются на социальных лидеров. Это, к примеру, все еще можно наблюдать в дописменных обществах и крестьянских общинах. Но если социальные лидеры не оставят письменной фиксации своих идей, память о них быстро исчезнет. История сохранила преимущественно имена тех лидеров-мыслителей, которые оставили свои записи или кому позднее писатели приписали конкрет-

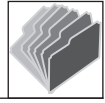


ные интеллектуальные достижения. Этот ряд начинается с таких *heros civilisateurs*, как, например, Моисей или Нума Помпилий, его продолжают Хаммурапи, Аменхотеп IV и Солон (достоверность чьих письменных работ, кстати, достаточно не подтверждена), а также те, чьи функции полностью определены, например Цезарь или Кальвин. Некоторые лидеры современных сообществ по сей день стараются комбинировать лидерские и рефлексивные функции – например, Сунь Ятсен, Ленин, Троцкий, Муссолини, Гитлер и даже менее известные личности, например консервативные британские государственные деятели.

Однако в наиболее сложных обществах активным социальным лидерам часто недостает времени, воли или возможности, для того чтобы строить теории о культурном порядке для своих последователей. Как правило, кто-то еще кроме них в ряду инноваторов или консерваторов реализует функции артикулирования норм культурного порядка – как более мудрый и принятый другими участниками группы в качестве «предводителя рефлексии» на тему тех социальных или – в более общем смысле – культурных проблем, которые поднимает актуальный конфликт. И некоторый тип социальной роли производит то, что может быть названо старым словом «мудрец».

Истинный статус мудреца определяется только его положением в партии, а его оригинальная функция состоит в рационализации и оправдании интеллектуальных коллективных целей партии. Это именно задача мудреца – «доказывать» посредством «научных» аргументов, что его партия права, а оппоненты его партии не правы. Если мудрец принадлежит к партии новаторов, он должен, к примеру, доказать, что традиционная религиозная система, или политическая структура, или законы, или традиции, или семейная жизнь, или классовая иерархия, или логика организации экономических процессов, или искусство и литература прошлого, или все это вместе взятое в целом или частично «плохое» и поэтому должно быть реформировано, а может даже уничтожено; и что изменения таких систем или утверждение новых систем есть дело хорошее и необходимое. Таковой была функция «отцов церкви» в первые века христианской эры, гуманистов начиная от Петрарки до Эразма (их инновации, хотя и во многом заимствованные у античных цивилизаторов, для существующего порядка были новыми), писателей и проповедников в ходе протестантской Реформации, французских политических мыслителей XVIII в., авторов-социалистов XIX в. После того как новый порядок был представлен и покуда среди части приверженцев старого порядка все еще существует открытое или скрытое ему сопротивление, задача мудреца в том, чтобы оправдать инновации, доказывая «превосходство» нового порядка над старым. В этом смысле все исследователи культуры и даже некоторые натуралисты были вынуждены исполнять роль мудрецов в самом начале большевистского режима в России и нацистского режима в Германии.

Если мудрец представляет консервативную группу, его задача состоит лишь в том, чтобы быть в оппозиции. Он должен показать посредством «научного» аргумента, что существующие культурные системы и традиционно установленные модели без сомнений ценны и благо с необходимостью вытекает

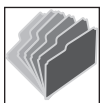


из их сохранения, тогда как отказ от них или их реформирование в соответствии с проектами инноваторов будет иметь плохие последствия.

Предполагается, что для реализации своих функций мудрец должен обладать цельным энциклопедическим знанием о прошлой и настоящей культуре своего общества, обильным знанием о других культурах, которое может быть использовано для доказательства его идей посредством аналогии или противопоставления. Для инноватора текущие события редко ограничены лишь одной сферой культуры, а прямо или не прямо распространяются на различные области, и консервативная реакция интерпретирует коллективные атаки на какие-то традиционные правила как угрозу всей установленной культуре. Например, религиозная борьба между христианством и язычеством и позднее между католицизмом и протестантизмом втянула в себя общественные традиции и нормы, структуру многих социальных групп, включая государство, экономическую организацию, литературу и искусство; борьба экономического класса, начавшись с социалистического движения, вовлекла в себя всю буржуазную культуру; политический бунт нацистской партии не оставил нетронутыми ни один из культурных стандартов западной цивилизации; даже такие касающиеся исключительно искусства и литературы события, как Ренессанс и романтизм, имели широкие религиозные, социальные и экономические последствия. В меньшем масштабе тот же самый феномен можно легко наблюдать в традиционных сельских сообществах. Мудрец от любой из сторон должен обладать уже готовым знанием, чтобы атаковать или защищать – посредством рассуждения или привлечения внимания к очевидным фактам – стандарты оценки его партии и руководить в любой сфере культуры.

Он должен целокупно подчинить проблемы истины и заблуждения критериям правильного и неправильного. Его размышления должны направляться двумя фундаментальными постулатами: то, что является правильным, должно основываться на истине; тогда как неправильное должно быть основано на заблуждении. И «правильное» для мудреца, чья роль тесно связана с интересами группы, это всегда то, чего хочет его группа, в то время как «неправильное» это то, чего хочет другая группа, находящаяся в оппозиции к его группе. Метод мудреца состоит в демонстрации того, что общие истины определены его собственными стандартами «правильного» и что заблуждения «неверных» стандартов его оппонентов также вытекают из его суждений. Конечно, факты обоснуют их: это определено *a priori*. Мудрецу необходимо лишь должным образом выбрать факты, интерпретировать их в соответствии с его предпосылками. Поскольку такой тип аргументации не сводим к принципу противоречия, он нуждается как в позитивной эмпирической очевидности для легитимации его собственной правильности, так и в негативной эмпирической очевидности ошибок его оппонентов.

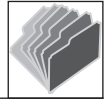
Без сомнения, мудрец может выполнить задачу обоснования знания «своей группы» через удовлетворение себя и своих приверженцев, поскольку в огромном многообразии культурных данных всегда возможно найти факты, которые, будучи интерпретированы «должным образом», доказывают, что те обобщения, которые он принял в качестве истины, являются истиной, а те



обобщения, которые он отверг как ошибки, являются ошибками. Но эта задача усложняется действиями мудреца из противостоящего лагеря, когда он пытается доказать правоту своих стандартов или ошибочность стандартов оппонентов, выводя их из подтвержденных фактами старых «истин» и прошлых «ошибок», недействительность которых зафиксирована фактами. Если группа мудреца находится у власти, его оппоненты могут просто хранить молчание. Никогда за всю историю молчание не было столь исчерпывающим и полным, как при современных режимах в Германии и России. Но если существует подлинная свобода дискуссии, мудрец должен либо применять диалектику, чтобы доказать, что рассуждения его оппонентов ошибочны, либо апеллировать к очевидным фактам, чтобы доказать недостоверность фактов оппонентов, либо использовать оба метода вместе.

Однако мудрецы – как и технологи – выходят за рамки социально предписанных ролей и им не удается ограничить себя только оправданием или обоснованием существующих целей их партий. Они пытаются создать «более высокие», более всесторонние и исчерпывающие стандарты оценки и нормы поведения, чем те, что эксплицитно содержатся в существующем культурном порядке или находятся в оппозиции к нему. Они становятся «идеалами», опираясь на которые культурная реальность концептуально организуется в аксиологическую систему. Если мудрец – инноватор, его идеал это высокий стандарт нового порядка, проект которого он создает заранее, но это также и стандарт, посредством которого инноваторы сами оценивают актуальные ценности и цели. Будущий порядок должен включать ценности, которым нет места в старом порядке, и стремиться к целям, которые до этого оставались неудовлетворенными, однако эти ценности и цели должны быть обоснованы идеалом. Любые ценности и цели, зафиксированные среди инноваторов, не соответствующие их идеалам, должны быть уничтожены. С одной стороны, идеал может требовать создания новых ценностей и развития новых тенденций теми, кто будет участвовать в новом порядке. Для того чтобы участвовать в августиновом «Граде Божьем», люди должны были быть христианами. Будущее коммунистического общества требует новых ценностей в каждой сфере культуры, и рабочий класс, морально очищенный от всех дефектов люмпен-пролетариата и пассивных крепостных периода капиталистического патернализма, пропитывается идеями солидарности нового типа.

С другой стороны, консервативный мудрец, озабоченный существующим порядком с точки зрения более высоких стандартов оценки и управления, не оценивает социальный порядок с точки зрения возможности полного воплощения этих стандартов. Он видит много несовершенств: это не только индивидуальный отход от предписанных общественных правил, но и конфликты между правилами и противоречиями в знании здравого смысла, которое лежит в их основе. Он открывает некоторые ценности и цели группы, которых не должно быть из-за их несоответствия высочайшим стандартам, а также видит отсутствие других ценностей и целей, которые должны быть, поскольку это предполагается стандартами общественного развития. Традиционный поряд-



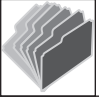
док, таким образом, это нормативно осуждаемый порядок, систематизированный и усовершенствованный. Сказанное не означает, что мудрец желает внести инновацию: сущность существующего порядка правомерна; его недостатки случайны и произошли из-за несовершенства человеческой природы. Возьмите примеры Конфуция, Ксенофонта, Катона, Цицерона, Сенеки, Данте, Фенелона, Блектосна и Дизраэли.

Некоторые мудрецы даже пытались подняться над актуальной борьбой между течениями консерваторов и инноваторов и найти высшие стандарты, к которым ценности и активные цели обоих лагерей могут быть подведены, как, например, Лао-цзы, Сократ, Марк Аврелий (чья роль в качестве мудреца была в совокупности независима от его роли императора). Но этот тип мышления (в целях, которые мы собираемся пояснить в следующей главе) – скорее характеристика ученых, которые действуют как мудрецы и стремятся к идеальной стандартизации практической культурной жизни (например, Платон, Аристотель, Фома Аквинский, Спиноза, Локк, Юм, Кант), а не тех мудрецов, за которыми нет поддержки школы или чья роль мудреца определяется всего лишь поддержкой нескольких сторонников.

Возможно, бесстрастность чаще встречается среди мудрецов, которые посвятили себя негативному критицизму, а не позитивным идеологическим конструкциям. В любом случае для мудреца всегда проще критиковать своих оппонентов, чем «доказывать» правоту собственных стандартов и истинность своих обобщений. Критика культуры в общем может быть использована каждой партией против другой, такое двойное использование было сделано в книге Экклезиаста, в работах софистов, киников, у Монтеня, Ларошфуко, Ницше.

Когда мудрец вместо того чтобы обосновывать и оправдывать существующие коллективные цели занимается их концептуальной стандартизацией и организацией с отсылкой к идеалу, последний занимает место популярного стандарта «правильного» и «неправильного», становится критерием истины и ошибки. В такой ситуации любой результат обобщения будет истинным, тогда как все, что ему не соответствует, будет признано ошибкой; что бы ни подтверждали факты, обобщение должно быть истинным, тогда как факты, которые кажутся лишними их силы, должны быть неистинными. Следовательно, для мудреца из Китая ценностный и нормативный порядок человеческого общества, согласующийся с его истиной, соответствует порядку устройства Вселенной⁶. Только те, кто принимает прошлое и соответствует ему, понимают и последующее. Не существует концепции объективной теоретической истины, не зависящей от этической или политической оценки не только культуры, но природы. В сократо-платонической концепции Бог – это высшее творение и истина должна соответствовать ему; никакая идея не является истиной, если она не соответствует идее Бога, а поскольку эмпирический мир это только реальность чувственно ощущаемых проявлений идеального, никакой реальности не может объективно существовать, если она не соответствует идее

⁶ См.: *Granet M. La pensée chinoise*. P., 1934 (серия «Evolution de l'humanité»).

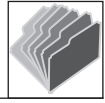


Бога: все есть иллюзия $\mu\eta\delta\upsilon$. Для христианского мудреца «начало мудрости – страх Господень» и любовь Бога это его кульминация: Бог в высшей мере добр и мудр, он источник всей правды и всей реальности; и любые теоретические оценки, которые допускают что-то еще, должны быть либо ошибкой, либо ложью. В марксистской доктрине стандарты знания соотносятся с естественными условиями и связаны с экономической структурой общества, находящегося на особенной стадии диалектического исторического процесса; утверждение теории Маркса – это то, что соответствует финальной стадии этого процесса – переходу от капитализма к окончательному формированию коммунизма, и любая теория, которая противоречит этому, должна быть признана бесосновательной.

Очевидно, социальная роль мудреца лишает его возможности конструировать основания практического контроля культурной реальности. Тот тип знания, которое социальный долг заставляет его выполнять, не зависит от практической проверки на успех или неудачу – хотя знание технологического лидера, эксперта или изобретателя прямо зависит от такой проверки. Единственный тест, который должно пройти знание мудреца, – быть принятым или отвергнутым людьми, которые участвуют в культурной жизни. Примут или отвергнут люди это знание, прямо зависит от их отношения к стандартам оценки и нормам действий, которым подчинено знание мудреца. Если люди признают его стандарты и нормы, они поверят, что знание мудреца истинно, потому что они хотят, чтобы оно было правдой; если нет, они сочтут его знание ошибкой, желая, чтобы оно было ошибкой.

Мудрец также не может развивать и теоретическое, независимое от практических целей знание о культуре, поскольку для этого необходима научная объективность, несовместимая с его ролью. Следовательно, с медленным, но устойчивым ростом беспристрастности в науках о культуре, которые создали ученые и изобретатели, роль мудрецов будет все усложняться. Хотя объективное теоретическое знание в таких областях, как социология и экономика, может соотноситься с практическими проблемами, так же как, например, объективное теоретическое знание соотносится с практикой в физике и биологии, оно не обеспечивает основания для конструирования или защиты какой-либо идеологической системы: оно может быть использовано только для того, чтобы показать, как те, кто конструирует и принимает эту систему, могут понимать ее.

При этом социальное требование к мудрецам не уменьшается – скорее наоборот. Не только группы, находящиеся у власти в обществах с новыми «тоталитарными» порядками, требуют от своих ученых выполнять роль мудрецов и способствовать доказательству обоснованности существования таких социальных порядков. Среди населения демократических стран также, похоже, растут требования к мудрецам. В предельно сложной современной социальной жизни с ее большим количеством частично перекрещивающихся групп, каждая из которых имеет свой собственный порядок, существуют различные внутри- и межгрупповые конфликты, которые не могут в последующем учитываться как части некоторого универсального идеологического противо-

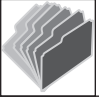


стояния⁷. Быстрые изменения добавляют к уже существующим другие многообразные конфликты. Взаимозависимость групп и обществ делает многие из этих конфликтов особенно значимыми для людей, хотя и не вовлекая их прямо. Благодаря распространению коммуникации и популярности образования масса людей узнает о бесчисленном количестве сложных проблем, которые непрерывно возникают в каждой области культуры в каждой части мира, и каждая из таких проблем может рано или поздно возыметь какое-то влияние на их собственные жизни. Безусловно, люди не могут понять суть этих проблем или интерпретировать значение многочисленных событий в контексте собственных интересов, оценок и норм. Они чувствуют потребность в людях превосходящего разума и знания. В ответ на такую востребованность возникли тысячи мелких мудрецов, готовых рассказать с трибуны, газетной колонки, с сцены, страницы журнала, из радиопередачи, что они должны думать о том важном, что происходит в культурном мире. И хотя мудрецы подобного рода могут не колеблясь рассуждать обо всем в терминах религиозной добродетели или морального добра, справедливости или художественной красоты, политической эффективности или экономической пользы, евгеники или общечеловеческого благополучия, способ, посредством которого они оперируют фактами и обобщениями, чтобы «доказать» что-то, демонстрирует, что они либо игнорируют растущий корпус теоретически объективного и методологически точного знания о культурном явлении, либо без каких-то достаточно серьезных оснований выбрали это знание только потому, что оно кажется соответствующим их ценностям.

Часто ученые, которые достигли выдающейся известности как специалисты-технологи в сферах естествознания, или теоретики и исследователи в сфере математики, физики или биологии, чувствуют, что их заставляют объяснять человечеству, что хорошо для него: вспомним Говарда Скотта или Бертрана Рассела. И когда общественное мнение стремится сделать ученых частично ответственными, наряду с законодателями и лидерами, за общую неспособность человечества достичь прямой культурной эволюции или уничтожить зло, которое лежит на человечестве темным пятном, находится множество ученых, которые признают вину своей профессии, осуждают идею чисто теоретической науки, не зависящей от практических результатов, и требуют подчинить «поиск истины» социальным идеалам. Упомянем только две хорошо известные книги – «Социальные функции науки» Берналя и «Знание для чего?» Линда⁸. Таким образом, на первый взгляд кажется, что традиция теоретической объективности в сфере культурного знания, воспринимаемая до не-

⁷ Это хорошо демонстрирует невозможность некоей идеологической группы в Америке убедить американский народ, что существующая в стране ситуация – проявление какой-то фундаментальной оппозиции, например между капитализмом и бунтом пролетариата, или индивидуализмом и коллективизмом, или демократией и тоталитаризмом, или национализмом и интернационализмом, или какими-то другими альтернативами.

⁸ Были и другие замечательные попытки показать, что «должна быть» связь между наукой и социальной жизнью. См., например: *Veblen T.B. The Place of Science in Modern Civilization*. N.Y., 1931; *Huxley J.G. Science and Social Needs*. N.Y., 1935.

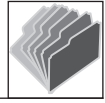


давнего времени как одно из наиболее выдающихся достижений XIX в., должна быть уничтожена или ослаблена. Однако и в этом случае мудрецы – индивидуально или от лица научных школ – так же полно, как они делали это раньше, управляли бы сферой культуры. Но отказ от традиции теоретической объективности культурного знания, который бы уничтожил саму возможность некоторой высшей функции научного знания, – и был бы вкладом ученых в благополучие человечества.

8. Начало дифференциации ролей в сфере культурного знания

Несмотря на устойчивость старой модели роли мудреца, сегодня сформулировалось новое видение этой роли разделения традиционной функции мудреца на две различные, согласно давно установленной, но редко реализуемой в современной жизни логике функций мудреца. С одной стороны, это задача конструирования аксиологической системы, центрирующейся вокруг некоторой религиозной, моральной, политической или экономической идеи как некоторой задачи; с другой стороны, это демонстрация того, что реализация мудрецом некоторой идеи или ее части есть итог запланированной деятельности, которая возможна в данных культурных условиях.

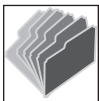
Если вторая задача очень похожа на задачу специалистов-технологов, работающих в естественно-научной сфере, то для первой невозможно найти какие-то параллели в естествознании. С тех пор как технологическое мышление перестало считать природу сферой, в которой господствуют «добрые» и «злые» мистические силы, стандарты оценки и нормы действий не касаются также и специалистов, поскольку технологии являются частью не природы, а культуры. Функции специалистов-технологов естественно-научного знания сводятся к поиску «результата» и необходимых «способов» его достижения, считающихся само собой разумеющимися; а выбрать результат возможно только, когда к нему приводят имеющиеся в наличии в данной ситуации средства. Конечно, технолог иногда отказывается выполнять то, чего от него ожидают другие, если он решает, что не может согласиться с религиозными воззрениями или этическими нормами, которые он считает социально ограниченными. Или он самостоятельно делает что-то, с одобрения своего окружения или без него, что, по его мнению, поднимет на новый уровень понимание религиозного, морального, эстетического, политического или экономического идеала. Но это означает, что специалист-технолог выполняет в своей группе особую роль только потому, что зависит от своего положения лидера или последователя какого-то социального движения за культурные цели, а не потому, что включает в свою социальную роль функции религиозного, морального или политического мудреца, устанавливающего ценностные стандарты поведения других.



Некоторые попытки отделить роль специалиста-технолога, изучающего как данность пути достижения предполагаемых целей, не обсуждая их, от роли мудреца, оценивающего и иерархизирующего цели, уже предпринимались в прошлом. «Государь» Макиавелли был, возможно, первой цельной работой в сфере социальной технологии, принимающей как данность то, что задача государя состоит в увеличении и укреплении его власти, автор которой уделял все свое внимание выбору наиболее эффективных способов достижения этой цели. Интересно, что критика «Государя» впоследствии была в основном этической, а не технологической. Вместо того чтобы просто оценить научность работы посредством сравнительных социологических методов, рассуждений о том, насколько предлагаемые автором способы эффективны для достижения поставленной цели, критика касалась преимущественно аморальности целей и средств государя.

Еще со времен Макиавелли размышления о разработке социальных технологий относились преимущественно к специальным сферам административной, экономической, образовательной и гуманитарной деятельности; определяемые в этих сферах цели полагались константными, а планирование касалось лишь поиска способов их достижения. Сегодня методы социальной технологии можно изучить на примере тоталитарных государств: когда власть правящей группы консолидирована, оппозиция утеряла свои позиции, важность господствующей идеологии не нуждается в оправдании; в такой ситуации все цели правящей группы должны безоговорочно приниматься каждым членом государства, и задача ученых изучить способы возможной реализации поставленных целей, не затрагивая при этом аксиологических проблем.

А поскольку аксиологические проблемы обойти нельзя, в культурной сфере любой объект или процесс в одном контексте имеет значение всего лишь «средства» для достижения «цели», а в другом – существует как независимая ценность, чье воплощение или воспроизводство может стать целью самой по себе для нескольких представителей группы, или одного и того же ее члена, но в разное время. И наоборот, ценности, чье воплощение или воспроизводство являлось «целью» в каком-то конкретном контексте, в другом контексте могут стать «средствами» для какой-то другой «цели». Невозможно изолировать без достаточных оснований одну практическую культурную проблему и ее решение от остальных проблем культурного мира человека; необходимо принять во внимание все другие практические культурные проблемы, которые связаны с этой проблемой сейчас или могут быть связаны с ней как реальные последствия твоей деятельности, – необходимо также учесть свои собственные проблемы, индивидуальное и коллективное взаимодействие с ними, а также проблемы большой группы, на которую ты хочешь влиять посредством индивидов или группы. Более того, противоречащие, возможно, конфликтующие стандарты оценки и норм деятельности будут постоянно вмешиваться в плановое достижение культурной «цели». Эта «цель» как самооценочность и как реализуемая деятельность должна быть инкорпорирована в ценностную и нормативную систему, концептуально организующую все ценности и действия, которые уже связаны в настоящем или



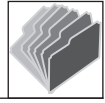
будут связаны в будущем в активном опыте людей, которые уже или будут вовлечены в реализацию этого плана.

Иными словами, любой, кто хочет стать техническим лидером в культурной сфере, рационально планируя активность этой группы, нуждается в первую очередь в мудреце, который укажет ему то место, которое ценности, выбранные им для утверждения в своей группе, занимают в стандартизированном ряду стандартизированных ценностей, а также укажет, какой результат возьмем то действие, которое он собирался реализовывать в контексте нормальных моделей развития общества и человечества в целом и в рамках той эпохи, в которой он живет. Роль мудреца в этом смысле состоит в том, чтобы скорее увеличивать, а не уменьшать важность развития социального планирования. Безусловно, такое увеличение важности планирования возможно только в случае, если мудрецы прекращают напрасную конкуренцию друг с другом и попытки «доказать» достоверность собственных идеалов и недостоверность идеалов оппонентов и вместо этого подчиняются задаче кооперации в любой из сфер культуры, поэтапно созданию идеальной достаточно полной и динамичной модели гармонизации в новом синтезе стандартов ценностей и норм поведения, которые уже были сформированы в этой сфере и продолжают развиваться в дальнейших человеческих усилиях. Тогда мы должны называть таких мудрецов философами в греческом смысле слова.

Однако ни технологические лидеры в сфере культуры, ни философы культуры не могут реализовать свои функции, если они не обладают чисто теоретическим безоценочным и вненормативным знанием о культурной реальности; это именно тот тип знания, что создавали социологи, экономисты, религиоведы, философы и исследователи в области искусства и науки, изучая в качестве объективных *эмпирических данных* человеческие ценности и ценностные стандарты, регулирующие их цели и нормы, их структурные взаимосвязи в культурных системах, причинные и функциональные отношения между их изменениями.

Культурный лидер (или ассистирующий ему культурный эксперт) для осуществления функций планирования нуждается именно в таком объективном знании; планирование невозможно посредством наблюдения лишь того фрагмента реальности, с которым он или его группа уже работает; точно так же когда-то технологи отдавали приоритет развитию современных областей естествознания. Ведь существует немало структурных и причинных связей между тем фрагментом реальности, в рамках которого он действует, и другими культурными феноменами, которые могут быть открыты лишь посредством систематического научного исследования поля культуры, которое он собирается открыть. Более того, его собственные ценности и цели, а также ценности и цели его группы должны быть объективно исследованы, и их структурные и причинные связи с широкой культурной реальностью должны быть в наличии. Он и его группа не только лишь рациональные субъекты, возвысившиеся над той реальностью, которую они пытаются изменить: их жизни есть интегральные части самой этой реальности.

Философ культуры нуждается в результатах объективных научных исследований культурного мира как материала, из которого он строит свое идеаль-



ное. Он не может из собственного опыта узнать все ценностные стандарты и нормы действия, воплощенные в многообразных и различающихся социальных, экономических, технических, религиозных, творческих, лингвистических, научных системах, которые конструируют мир человеческой культуры, поскольку пока ни один специалист в какой-то из этих сфер не создал какого-то общего знания. Философ культуры на основании лишь собственного опыта не может представить весь процесс, в котором проявляется динамическая сила этих многообразных стандартов и норм, поскольку специалисты только начинают исследовать этот процесс. Более того, поскольку все его знание кажется ему естественным, он не хочет выводить самую суть этого знания из «глубин его собственного духа», однако надеется синтезировать в своем знании наиболее исторически значимые и перспективные попытки сделать культурную жизнь людей более высокой, совершенной и гармоничной.

Но максимально результативное взаимодействие между технологией и философией культуры и строго объективной культурологией возможно только тогда, когда ученый, занимающийся поиском истины, полностью исключит возможность, что определять его исследовательскую задачу и технологические механизмы будет не он сам, а требования технологии или философии. Даже в сфере изучения природы технология начинает следовать за логикой теоретической науки, и вместо постановки практических целей и затем систематизации кажущегося необходимым для их реализации знания технология обращается сначала к новым теоретическим результатам, достигнутым посредством научного исследования независимо от практических целей, и лишь затем пытается найти возможные варианты практического применения этих результатов.

В культурной сфере, где, как мы видели, люди, стремящиеся решить практические проблемы, являются интегральной частью этой самой сферы и никакая технологическая или идеологическая деятельность не может быть изолирована от другой деятельности, даже важнее для развития практического контроля, чем для развития самой науки, то, что теоретическому исследованию не должны препятствовать технологи и философы, навязывая в качестве целей то, что лично они считают важным. Тип знания, который они считают полезным, всегда обусловлен собственным видением природы, и это видение в свою очередь ограничено тем знанием, которое они уже используют, участвуя в современной им культуре. Теперь возможности культурного изменения, которые ранее считались маловероятными, могут быть открыты посредством объективных, строго теоретических научных дисциплин, не ограниченных какими бы то ни было технологическими и идеологическими клише; дисциплин, свободно изменяющихся в соответствии с собственными технологическими принципами и систематическим исследованием мира культуры подобно 400-летнему исследованию мира природы. Но эту тему мы подробно рассматриваем в следующей главе.

Перевод с английского Р.Э. Бараш



XXIII ВСЕМИРНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ КОНГРЕСС: ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ИДЕИ

XXIII WORLD CONGRESS OF PHILOSOPHY: IDEAS AND IMPRESSIONS

Петр Александрович Сафронов – кандидат философских наук, старший научный сотрудник сектора социальной эпистемологии Института философии РАН. E-mail: peter.safronov@gmail.com

Peter Safronov – candidate of philosophical sciences, senior researcher at the sector of social epistemology, Institute of Philosophy, RAS.

С 4 по 10 августа 2013 г. в Афинах прошел очередной XXIII Всемирный философский конгресс. В этом наиболее представительном собрании международного философского сообщества участвовали более 3000 человек со всех континентов. В гостеприимном здании философского факультета Национального афинского университета в кампусе Зографос было организовано свыше 200 тематических секций, специальных круглых столов, панелей, лекций, мероприятий широкой культурной направленности. С воодушевлением и энтузиазмом участники Конгресса обменивались мнениями по различным вопросам философского знания. Значительное место в программе занимали события, тесно связанные с активно развивающимися сегодня направлениями прикладной философии: гендерными исследованиями, экологической этикой, философией медиа и коммуникаций. Чрезвычайно заметным в общей структуре Конгресса были мероприятия, посвященные развитию философии в Африке, Азии и Латинской Америке. Представители испаноязычной философии в ходе Конгресса представили большое число докладов об интеллектуальном вкладе отдельных авторов (Хулио Энрике Бланко, Игнасио Эллакура и др.), практически неизвестных за пределами региона. Доклады представителей развивающихся стран характеризовались в целом жесткой критикой наследия европейского империализма и современного глобального капиталистического мироустройства. Особенно остро эти вопросы обсуждались в секции радикальной философии, в рамках которой прошло, в частности, выступление создателя философии освобождения, крупнейшего испаноязычного философа Энрике Дусселя. Характерный философский критицизм сопровождался яркими дискуссиями о концептуальном измерении многих событий новейшей истории: от войны в Ираке до аварии на атомной электростанции Фукусима. На отдельном заседании обсуждались вопросы влияния аварии на японской АЭС



на национальную и мировую философию, а также влияния авторитета научно-технического знания на свободу суждения, поставленные учеными из Японии.

С самого начала работы Конгресса определилась логика размежевания между двумя принципиально различными пониманиями задач философии и направлений ее будущего развития. Если одна позиция строится вокруг вовлечения интеллектуалов в общественную полемику, то другая стремится максимально дистанцироваться от публичного активизма. Выдающимся примером общественно ангажированной философии стало выступление Юргена Хабермаса. Свою речь ученый посвятил понятию космополитизма как основанию нового типа человеческой солидарности, отделенной от национальных государств и вместе с тем сохраняющей приверженность демократическому политическому действию. Центральное место в докладе занимал анализ понятия гражданства и его трансформаций в современную эпоху. Выстроенное как апология рационального коллективного действия, выступление Хабермаса обозначило позицию интеллектуальной автономии философа, не переходящей в его публичное одиночество.

Противоположный полюс был с наибольшей четкостью воплощен в сессии, посвященной обсуждению идей Джона Макдауэлла. Есть доля иронии в том, что секция, лишенная малейшей политической остроты, дала лучший пример подлинно демократической полемики между самим Макдауэллом и его оппонентами Джеймсом О'Ши и Майклом Уильямсом, напоминая классические образцы аналитических дискуссий. В свою очередь доклад Макдауэлла представлял его размышления над концепцией Уилфрида Селларса. Критикуя подход Селларса, Макдауэлл аргументировал в пользу невозможности разделить чувственные и рациональные компоненты опыта. Ученик Рорти Майкл Уильямс выступил с ответной критикой, указывая на затемнение в подходе Макдауэлла проблемы языкового статуса содержаний опыта. Небольшая аудитория, в которой происходила дискуссия, была переполнена. Описанное размежевание публично ангажированной и академической философии не совпадало в ходе Конгресса с устоявшимся в педагогической практике разделением аналитического и континентального стилей мышления. Так, выступление Макдауэлла обнаруживало результаты внимательного знакомства с философским наследием Хайдеггера. Однако особенно явным преодоление традиционных границ между стилями философствования стало в ходе симпозиума «Новейшие течения в эпистемологии». Представитель франко-швейцарской философии Паскаль Энгель выступил с позиций последовательного защитника ригористичного понимания философской эпистемологии, отвергающего любую попытку исторической релятивизации. Выступление Энгеля вызвало у части аудитории недоуменные замечания. Напротив, представитель американской философии Джейсон Стенли отстаивал необходимость устранения жестких барьеров между теоретическим и практическим знанием, одновременно выступая за сближение философии с социологией и антропологией. Третий участник симпозиума, представитель кенийской и американской философии Дисмас Масоло, апеллируя к опыту культур африканского континента



та, высветил проблематичность любых концепций знания, наделяющих ту или иную его отдельную форму эпистемологическим приоритетом.

Расширению пределов философской эпистемологии заметно способствовала сессия под названием «Думать во плоти: телесная герменевтика». Устранив вопрос о статусе научного знания из поля зрения, участники сессии предложили свое видение взаимодействия философствования с теологическим и художественным пониманием (человеческой) телесности. Православный богослов Джон Пантелеймон Мануссакис рассуждал о значении признания собственной телесности для преодоления человеческой греховности. Широко известный интеллектуальный публицист Саймон Кричли выстроил свое выступление вокруг вопроса о теле как неграмматическом знаке истины. Наконец, третий участник сессии, Ричард Кирни, связал телесность с опытом травматических переживаний и проблемой памяти.

Основную часть заседаний Конгресса составляли секции, посвященные отдельным философским дисциплинам или направлениям, которые были составлены из поступивших и отобранных заявок. Среди них стоит отметить секции по философии науки, философии математики, феноменологии, философской герменевтике. Секции по многим традиционным философским дисциплинам – онтологии, этике, философии истории, эстетике – прошли незамеченными, с небольшим числом участников. В работе многих секций приняла участие ученые из России. В течение одного дня работала небольшая специальная секция, посвященная истории русской философии, которая привлекла изрядную часть русскоговорящих участников. Вообще в программе было отведено большое место региональным и/или конфессиональным философским традициям: исламской философии, философии буддизма, китайской, индийской, японской философии. Несмотря на очевидную дробность общей программы Конгресса, организаторам удалось достаточно равномерно представить все мировые философские традиции, избегая одностороннего европоцентризма.

Наполнение программы и ход работы Конгресса убедительно показали, как все более размывается преимущественная связь философии с западной культурой. В то же время ослабление положения философии и гуманитарных наук в целом в университетах создало предпосылки для мимикрии философии под универсальную технику управления понятиями, а философов под менеджеров мышления. Вероятно, этим можно объяснить присутствие в программе Конгресса многочисленных секций, посвященных глобализации, развитию, бизнесу.

Конгресс проходил под общей темой «Философия как исследование и способ жизни». Философские исследования, бесспорно, были представлены в большом количестве и разнообразии. Но вопрос о судьбе современной философии как способе жизни не прозвучал так же заметно. Если, конечно, считать, что философия по-прежнему предполагает свой особенный способ жизни.



МЫСЛЬ ОБ ИСТОРИИ МЫСЛИ: КОГНИТИВНЫЙ ПОРТРЕТ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ АРХЕОЛОГИИ¹

THE IDEA OF THE HISTORY OF THOUGHT: COGNITIVE PORTRAIT OF DEVELOPMENT THE WORLD ARCHEOLOGY

Ирина Владимировна Тункина – доктор исторических наук, директор Санкт-Петербургского филиала Архива РАН. E-mail: tunkina@yandex.ru

Irina Tunkina – Doctor Habil. (History), director of the St. Petersburg Branch of RAS Archive

Сергей Павлович Щавелев – доктор философских наук, доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой философии Курского государственного медицинского университета. E-mail: Sergei-shhavelev@yandex.ru

Sergei Schavelev – doctor of philosophical sciences, doctor on Russian history, professor, chair of the Philosophy Department of Kursk State Medical University. Email: Sergei-shhavelev@yandex.ru

(Рецензия на книгу: *Клейн Л.С.* История археологической мысли. В 2 т. СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2011. Т. I. 688 с.; т. II. 624 с.)

гическая (К. Леви-Строс, Б. Малиновский, Г.Д. Гачев и др.); психологиче-

Book review: *Klejn L.S.* Istorija arheologičeskoj mysli. V dvuh tomah. SPb., 2011.

Как известно, превращение традиционной рационалистической теории познания (гносеологии) в современную (постклассическую, нетрадиционную) эпистемологию происходило за последние несколько десятков лет разными путями, в том числе путем ее тематической, смысловой «гибридизации» с отдельными отраслями конкретно-научного знания. Так складывались эпистемология биолого-эволюционная, генетическая (К. Лоренц, Д. Кемпбелл, Г. Фоллмер, Л. Олмейдер, П.В. Симон и др.); социологическая (А. Шюц, М. Полани и др.); антрополого-этноло-



¹ Исследование И.В. Тункинной проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-06-00005а, и РГНФ, проект № 12-01-00008.



ская (Ж. Пиаже, У. Куайн, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Теплов и др.); лингвистическая и риторическая (Х. Перельман, С. Тулмин, Р. Харре и др.); эпистемология информатики, проектов искусственного интеллекта (Г.Х. фон Вригт, Б. Гёранзон) и др. Науки исторического цикла внесли свой весомый вклад в эпистемологический дискурс неклассического типа. Разделы о формах мышления, типичных для отдельных эпох прошлого, стали в трактатах Й. Хейзинги, Л. Февра, М. Блока, Ф. Броделя, А.Я. Гуревича и других историков классикой его реконструирования. Теперь материал для эпистемологизирования гуманитарного знания заметно обогатился благодаря выходу в свет рецензируемого двухтомника, посвященного истории археологии, становлению и развитию ее идей, категорий и методов.

Автор этого фундаментального труда – Лев Самуилович Клейн – доктор исторических наук, петербургский профессор на пенсии, но отнюдь не на покое от ученых занятий и общественной деятельности. Человек редкой трудоспособности, Л.С. Клейн – автор двух десятков монографий и свыше 600 статей, в том числе на нескольких европейских языках. Выпускник исторического факультета Ленинградского университета по кафедре археологии, он затем преподавал на этой кафедре, вел раскопки, читал лекции во многих университетах Европы. С годами он широко раздвинул круг своих интересов, получив известность еще и как антропо-

лог, филолог, историк науки, публицист. Мемуары Клейна обобщили его богатейший опыт участия в советской / российской науке и общественной жизни². Проработав в отдельных областях гуманитарной науки более полувека, он всегда уделял пристальное внимание общим проблемам ее теории и истории³.

Археология кроме аргументов по поводу расовых, национальных, религиозных, политических споров предлагает своего рода «интеллектуальное лекарство» для философа, методолога, вообще гуманитария. Размышляя об истории человечества в ее письменные периоды, идеологи испытывают искушение воспарить над документальными источниками, как правило, лакунарными и противоречивыми, пофантазировать о судьбах стран и народов. Более отдаленные, дописьменные и раннеписьменные периоды развития регионального социума интерпретируются в основном с помощью источников вещественных, извлеченных из культурного слоя при раскопках. Здесь философские обобщения, в том числе эпистемологическая рефлексия, ближе привязаны к фактическому материалу, первично обобщенному археологами⁴. Вот где кроется дополнительная (помимо собственно историографической) теоретико-методологическая ценность двухтомника Клейна. Его читатели приобщатся к идейно-теоретической и методологической кухне, лаборатории важного направления гуманитарной мысли и практики.

² См.: *Клейн Л.С.* Трудно быть Клейном. Автобиография в монологах и диалогах. СПб., 2010. 730 с. См. также рецензию на это издание: *Щавелев С.П.* Участие прогрессора // Евразийский археолого-историографический сборник. К 60-летию Сергея Владимировича Кузьминых. СПб.; Красноярск, 2012. С. 193–201.

³ См.: *Klejn L.* A Panorama of Theoretical Archaeology // *Current Anthropology*. 1977. Vol. 18 (1–2); *Клейн Л.С.* Методологическая природа археологии // *Российская археология*. 1992. № 4; *Он же.* Введение в теоретическую археологию. Кн. 1. Метаархеология. СПб., 2004.

⁴ См.: *Щавелев А.С., Щавелев С.П.* Историческая археология: эпистемологический анализ // *Социальная эпистемология: идеи, методы, программы*; под ред. И.Т. Касавина. М., 2010. С. 363–384.



На русском языке это первая работа столь широкого масштаба. Подробно прослежены все этапы становления и развития интереса к вещественным древностям в Европе – от так называемой народной, по духу фольклорной «археологии» до наших дней. Затронуты (хотя и в разной степени) многие субдисциплины науки – от каменных, затем металлических «веков» до «индустриальной», архитектурной археологии Нового и даже Новейшего времени. Направления изучения древностей показаны в тесной связи с их смежными ракурсами: антропологическими, этнологическими, филологическими, искусствоведческими, культурологическими аспектами «выкопанной из земли истории».

Рассмотрение у Клейна удачно сочетает аналитический и синтезирующий подходы: появление и развитие археологических идей увязано не только с контекстными науке социально-экономическими и политическими процессами, но и со складыванием внутринаучных традиций в гуманитаристике, с характерами отдельных исследователей, их личностных особенностей, борьбой научных школ и направлений. Перед читателем разворачивается поистине грандиозная по географической широте и хронологической глубине панорама истории археологической мысли. Десятки биографических очерков, вдумчивый анализ сотен научных работ, множества научных школ, логики их сложения и взаимодействия – вся эта историографическая феноменология, интересная и поучительная сама по себе, сконцентрирована вокруг идейного замысла двухтомника: проследить, понять накопление и смену теорий и методов изучения далекого прошлого человечества. Структура работы отражает борьбу различных течений научной мысли, их взаимосвязи, разные роли в истории гуманитарной науки, наконец,

философскую, в том числе гносеологическую подоплеку всего названного.

Отметим также ценность многочисленных иллюстраций: исключительно полный портретный ряд ученых, живописные и фотоизображения множества «рабочих моментов» на раскопках эталонных памятников, пейзажи и интерьеры полевой и камеральной работы с древностями ярко подчеркивают ключевые моменты изложения. Даже специалисты увидят тут массу редких, а то и впервые репродуцированных образов. Эстетическая феноменология – часто недооцениваемая нами, но важная сторона истории и философии науки.

Издание будет интересно не только археологам и прочим специалистам-гуманитариям, но и философам, вообще интеллектуалам, а в особенности учащейся молодежи – студентам, аспирантам. Принятый в последние годы курс кандидатского минимума по истории и философии науки остро нуждается в такого рода руководствах по отдельным отраслям подготовки молодых ученых. Ведь перед нами не столько академическая монография, сколько удачное, европейского уровня учебное пособие по *когнитивной истории* целой научной дисциплины. Книга выросла из университетских лекций, что, должно быть, предопределило как сильные, так и слабые ее стороны.

Перед читателем предстает исключительно авторский взгляд на многие факты истории науки, хотя их оценки в работе далеко не всегда покажутся обоснованными для специалистов. Эти последние, и археологи, и историки науки, предпочли бы познакомиться с монографией, обладающей солидным научным аппаратом, чтобы по ссылкам иметь возможность проверить источники информации, приводящие к далеко не всегда бесспорным утверждениям автора. Объем двухтомника заметно сократился бы, исключи из него в принципе известные добросовестному студенту-гумани-



рию сведения о влиятельнейших философских направлениях и биографиях их главных представителей.

Хотя в целом работа удалась, она все же не вполне отвечает своему названию: итоговая панорама у автора получилась явно «европо- и американоцентричной» при очевидной сложности и полицентричности всемирной истории археологии. Последнее неизбежно, так как Л.С. Клейн сам принадлежит к петербургской, т.е. европейской культурной традиции. Несмотря на то что любая наука по своей сути интернациональна, в каждой стране она имеет свои национальные черты. Этот последний тезис 100 с лишним лет назад ярко раскрывали на материале естествознания И.П. Павлов⁵, П. Дюгем⁶, В.И. Вернадский⁷. Прежде всего вызывает удивление почти полное игнорирование Л.С. Клейном вклада русской дореволюционной науки в развитие мировой археологической мысли. Возможно, это отчасти объясняется тем, что автор уже подготовил к печати очерки истории отечественной науки – историю российской археологии в лицах.

Между тем информационное пространство европейской науки, в которое с начала XVIII в. была включена Россия, вплоть до середины 1920-х гг. было единым. Большинство профессиональных русских ученых стажировались в западноевропейских университетах или науч-

ных центрах, участвовали в международных научных форумах, перенимали научный опыт коллег в области полевых и кабинетных практик.

Включенность в мировой научный контекст демонстрирует и тот факт, что к концу XIX – началу XX в. многие зарубежные специалисты, занимавшиеся изучением территории Евразии, принимали участие в раскопках, во всероссийских археологических съездах и международных конгрессах, проводившихся в пореформенной и предреволюционной России с завидной периодичностью, представительностью и результативностью. Как говорил В.И. Вернадский, русской наукой были «изучены пространства много большие той шестой части земной поверхности, которая в первую очередь выпала на нашу историческую долю». Археологические исследования в Северном Причерноморье, на Балканах, Кавказе, Урале и в Сибири вплоть до Забайкалья и Камчатки, в Малой, Средней и Центральной Азии открыли науке неизвестные ранее «культурные миры», и немаловажную роль в этом сыграла русская наука⁸. Уже со второй половины XIX в. ее высшие достижения достигли уровня, вполне сравнимого с европейским, однако он остался недостаточно признан мировым научным сообществом: слишком велик оказался тогда – как и сегодня – языковой барьер. Средства-

⁵ См.: Павлов И.П. Об уме вообще и русском в частности. СПб., 1918.

⁶ См.: Дюгем П. Физическая теория, ее цель и строение. СПб., 1910.

⁷ Вернадский В.И. Труды по истории науки; отв. ред. Ф.Т. Яншина и С.Н. Жидовинов. М., 2002.

⁸ См.: Формозов А.А. Страницы истории русской археологии. М., 1986; Щавелев С.П. Историк Русской земли. Жизнь и труды Д.Я. Самоковсова. Курск, 1998; Тункина И.В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII – середина XIX в.). СПб., 2002; Императорская археологическая комиссия (1859–1917). К 150-летию со дня основания. У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия. Т. 1–2. СПб., 2009; Платонова Н.И. История археологической мысли в России. Вторая половина XIX – первая треть XX века. СПб., 2010; Смирнов А.С. Власть и организация археологической науки в Российской империи (очерки институциональной истории науки XIX – начала XX в.). М., 2011; Тихонов И.Л. История российской археологии: формирование организационной структуры и деятельность научных центров в Санкт-Петербурге (XVIII – первая четверть XX в.); автореф. дис. ... докт. ист. наук. СПб., 2013.



ми археологии русские ученые обогатили науку новым конкретным знанием и интенсифицировали изучение многих явлений древности. Именно в трудах дореволюционных отечественных антиковедов, византинистов, востоковедов, славяноведов, вынужденных постоянно ставить и решать проблему культурного синтеза в контексте взаимодействия сменявших друг друга культур, были сформулированы культурно-исторические концепции, раскрывшие роль евразийского пространства в мировом историческом процессе, созданы модели взаимодействия варварских культур с древними и средневековыми цивилизациями Запада и Востока. Сама постановка проблемы культурной интерференции и синтеза стала наиболее существенным вкладом нашей науки в гуманитарное знание XX в. Поэтому ограничивать вклад русской науки в мировую археологию исключительно трудами двух-трех ученых в лице всемирно известных мощных и масштабных фигур «комбиницианистов» Н.П. Кондакова и М.И. Ростовцева (том 1), а также советских стадиалистов и марксистов (том 2), на наш взгляд, некорректно. Читателю не всегда понятны критерии отбора Л.С. Клейном отдельных персоналий, их трудов, а также отнесение к тем или иным направлениям гуманитарной мысли и даже «национальным квартирам», ведь учениками и последователями тех же Кондакова и Ростовцева являлись представители многих стран мира.

Соответственно давно ожидаемая книга Л.С. Клейна – история российской археологии в лицах – должна стать исследованием, в котором русская наука последовательно рассматривается на фоне мировой. Ведь историография – это история не только книг, идей, но

прежде всего людей, ученых, анализ их научного творчества в контексте времени. Клейн не только прекрасно знает европейскую и американскую историографию, но и дает ей трезвые, взвешенные оценки. Его задачей должен стать объективный показ достижений, заблуждений и ошибок отечественных ученых, но без преувеличения или преуменьшения их заслуг. Клейн с равным интересом относится как к вопросу о рецепции западных идей, так и к проблеме своеобразия нашей историографии, тесно связанной с особенностями развития страны – европейской, но, во-первых, стоящей отчасти в стороне от политических, национальных и конфессиональных конфликтов, которые неизбежно нашли отражение в трудах западноевропейских археологов, и, во-вторых, испытавшей огромное влияние общественно-политических и социальных катаклизмов, обрушившихся на Россию.

Очевидно, что в любой науке, тем более в археологии, объединяющей идеи и методики естественных и социогуманитарных дисциплин, представления насчет объекта и предмета исследования, методов полевой и кабинетной работы существенно менялись от эпохи к эпохе. Поэтому мы должны принять как данность, что «научная картина мира» антиквариев и археологов, живших в прошлых столетиях, кардинально отлична от взглядов ученых начала XXI в. Следовательно, в историографических обзорах следует отказаться от навязчивого подчеркивания несовершенства методики раскопок и ошибочности теоретических представлений предшественников – поза разоблачителя науки прошлого для историка науки просто неуместна⁹. Все научные практики, и эмпирические, и тео-

⁹ Тункина И.В. История отечественной археологии на современном этапе: Антропологический поворот // Труды Объединенного научного совета по гуманитарным проблемам и историко-культурному наследию. СПб., 2010. С. 62–72.



ретические, так или иначе отражают уровень развития научного знания на определенном историческом этапе и постоянно совершенствуются. В процессе формирования, а вместе с тем и размывания дисциплинарных границ археологии и смежных с ней отраслей познания любительский антиквариат – коллекционерство и знаточество XVIII – первой половины XIX в. – создали базу для профессионализации науки и дифференциации дисциплин историко-филологического цикла уже в XIX – начале XX в., когда ткань «науки о древностях», развивавшейся с эпохи Возрождения, оказалась расплетена на отдельные нити.

На наш взгляд, главный вывод из чтения панорамной книги Л.С. Клейна состоит в том, что уровень развития историко-научных исследований позволяет создать не только обобщающий очерк истории отечественной археологии в портретах ее главных представителей, но и обзоры становления и развития отдельных разделов науки, присущих именно им исследовательских практик и междисциплинарных связей. Современная археология приобрела сложный, дифференцированный характер и включает в себя целый ряд субдисциплин диахронного и синхрогеографического планов. Все они отлича-

ются как по предмету исследования, так и масштабу, географическому ареалу полевых работ. Это приводит к различию в научных концепциях и разному пониманию самого предмета науки, что нашло отражение в дискуссиях, до сих пор ведущихся внутри археологического сообщества. Каждый из разделов археологии имеет собственную историю и свои взаимосвязи с другими дисциплинами или субдисциплинами как естественно-научного, так и историко-филологического цикла. Поэтому закономерно появление и других «историй археологической мысли» – не всемирного масштаба, а более или менее узких фрагментов научной картины развития археологических субдисциплин. Такие историографические проекты под силу специалистам по соответствующим древностям, которые знают весь спектр проблематики своего раздела археологии, что называется, изнутри. Разумеется, их знакомство с достижениями смежных наук, в том числе современной теории познания – эпистемологии – более чем желательно.

Можно с уверенностью сказать, что уникальная по охвату материала и написанная блестящим литературным языком книга Л.С. Клейна возбудит у его младших коллег интерес к истории и теории археологического знания.



ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ НА ПОРОГЕ НАУКИ

ETHICS AND PSYCHOLOGY AT THE THRESHOLD OF SCIENCE

Лев Самуилович Клейн – доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. E-mail: lsklejn@gmail.com

Leo Klein – doctor of historical sciences, professor, Saint Petersburg State University. E-mail: lsklejn@gmail.com

(Рецензия на книгу: *Щавелев С.П.* Этика и психология науки. Дополнительные главы курса истории и философии науки : учебное пособие для аспирантов и соискателей ученой степени к экзамену кандидатского минимума. Курск, 2010. 312 с.)

(Book review: *Schavelev S.P.* Ethics and Psychology of Science. Additional Chapters of the Course on the History and Philosophy of Science: textbook for Post-graduate Students. Kursk, 2010.)

«Битва тигра с буйволом в тропическим лесу» (картина Анри Руссо) на обложке. Молодой рыщущий тигр – вот он, буйвола нужно искать. С кем битва-то?

В Курске вышла живая книга, которую интересно читать, прежде всего вступающим в науку. Вышла смехотворным тиражом 300 экземпляров и напечатана мелким шрифтом – неудобно для чтения. Работ на эту тему у нас чрезвычайно мало, а написанных живо – и вовсе нет. Книга аттестована как учебное пособие для аспирантов и соискателей ученой степени к экзамену кандидатского минимума. Учитывая ворох проблем, этических и психологических, встающих ныне перед вступающими на тонущий корабль русской науки, книга чрезвычайно злободневна и абсолютно необходима.

Автор этой книги, Сергей Павлович Щавелёв – дважды доктор наук (исторических и философских), а работает заведующим кафедрой философии в медицинском вузе. Он автор полутора десятков монографий по философии, истории России, историографии гуманитарных наук. Я, занимаясь историей археологии, его заприметил давно как биографа видного дореволюционного археолога Д.Я. Самоквасова (одна из монографий). Еще больше он заинтере-





совал меня как ученик (в историографии) и завзятый сторонник знаменитого археолога А.А. Формозова¹, ставший его поверенным и издателем². Формозов в последних своих книгах выступил против того, что он считал разложением и загниванием отечественной науки, не останавливаясь перед конкретным разбором неблагоприятных поступков и качеств ее виднейших представителей – их сервиллизма, лизоблудства, цинического угодничества, фаворитизма, самодурских замашек и многого другого. То, что не удавалось издать в Москве, Щавелёв издал в Курске. Книга самого Щавелёва посвящена Формозову и открывается его портретом.

Щавелёв менее категоричен, чем Формозов, не так задевает конкретных лиц (хотя примеров в книге много), но о бедах и пороках нашей науки пишет откровенно и жестко. В книге больше 40 небольших глав, не объединенных в группы, но если присмотреться, то можно заметить в ней три основные части. Первая часть, состоящая из более полутора десятков глав, посвящена выбору профессии ученого (сюда относятся главы «Кого считать ученым?», «Мотивация научной работы», «Самоучки в науке», «Профессионалы и любители», «Учитель и ученики» и др.). Вторую часть составляют тоже около полутора десятков глав о науке вообще («Научные школы», «Ученый и власть», «Национализм или космополитизм?», «Измерение вклада России в мировую науку» и т.п.). Третью часть, поменьше, составляют главы о культурном и общечеловеческом облике ученого (о режиме дня, хобби, внешнем

виде, «стимуляторах» умственного труда – алкоголе, никотине и т.п.).

Щавелёв умело находит у корифеев науки афористически отчеканенные идеи и остроты и вставляет их в ткань повествования. Большой частью метко подобранные эпитафии из литературных произведений придают мыслям второе измерение. Он и сам пишет просто и афористично, его приятно цитировать. Отлично изложена проблема соотношения науки с религией.

Молодежи он рисует истинную картину науки, в которой им предстоит работать, – мизерное финансирование (в десятки раз меньшее, чем на Западе), массовое обнищание ученых, вымывание молодежи из науки, неудержимое старение всей науки и естественная убыль стариков, распад целых направлений и школ без преемников, заполнение мест середнячками (в лучшем случае) и проходимцами. Его оптимистический вывод «краха науки я не предвижу» (С. 32) не вяжется с этой картиной. Разве что если иметь в виду науку в мировом масштабе.

В общем Щавелёв не заманивает молодежь сладкими байками о великих ученых, белых и пушистых. Ученые – такие же люди, с таким же балансом достоинств и недостатков – тщеславие, зависть, корысть. За место под солнцем предстоит бороться – даже больше, чем везде. Реалистично изложена проблема «утечки мозгов» из России – глава «Уехать? Остаться? Вернуться?». Отмечая мафиозный принцип руководства наукой, убивающий в зародыше все меры правительства по приманиванию эмигрировавших и состоявшихся на Западе

¹ См.: Клейн Л.С. Два скандала в археологии // Троицкий вариант. 2010. № 10 (54). С. 14.

² См. весьма поучительные для философии науки книги: Формозов А.А. Рассказы об ученых. Курск, 2004; *Он же*. Статьи разных лет. Курск, 2006; *Он же*. Человек и наука. Из записей археолога. М., 2005; *Он же*. Русские археологи в период тоталитаризма. Историографические очерки. 2-е изд., доп. М., 2006.



ученых, Щавелёв пишет: «Из такой науки всегда будут бежать те, кто по возрасту и способностям способен к побегу; в такую науку беглецы никогда не вернуться» (с. 40). Не скажу, что автор решил все проблемы, некоторые изложены скороговоркой. Но поставлены почти все. И показана их сложность. А знаешь проблему – уже наполовину вооружен.

Есть места в книге, с которыми я не согласен. В список повинных в прислужничестве порочной власти наряду с Лёни Рифеншталь (музой фюрера), Кнутом Гамсуном (коллорабационистом) и Мартином Хайдеггером (погромные речи, доносы на коллег) включен этолог и врач вермахта Конрад Лоренц – за «преувеличение звериных черт в человеке» (с. 194). В этом в советское время обвиняли всю этологию человека. Но если отмечено «преувеличение», то не укажет ли Щавелёв норму?

Говоря о практической медицине, что она располагается где-то между наукой, искусством и ремеслом, Щавелёв мотивирует это тем, что «науку не интересуют исключения, все единичное, неповторимое», а «любой пациент, как известно, атипичен...» (С. 232). Но тогда и история – не наука, и география, и искусствознание. И вообще все науки, которые О. Конт относил к конкретным, а неокантианцы – к идеографическим. И мы вольемся в англоязычную традицию, по которой sciences – это только точные, номотетические науки.

В связи с нынешними национальными столкновениями в России и ностальгией властей по интернациональному единству в Советском Союзе очень любопытно замечание Щавелёва, что «в позднем СССР “партии” составлялись нередко по национальному принципу. Русские профессора были не прочь “пощипать” аспирантов-евреев;

научные руководители этих последних – допустим, какие-нибудь Штоффы или Каганы могли в ответ “прижать” учеников Ивановых да Петровых» (С. 217). По этому поводу в предопределенной рецензии молодого доцента Д.И. Кузнецова отмечено, что одну из национальных группировок Щавелёв иллюстрирует фольклорными абстракциями (Ивановы, Петровы, Сидоровы), а другую вполне реальными персоналиями (Штоффы, Каганы, Свидерские), что не вполне корректно (С. 13).

Клановая взаимопомощь существует у народов, сохранивших пережитки родового строя (например, многих народов Северного Кавказа). Евреи, если исключить кучку верующих, роящихся вокруг синагоги, ушли от этого облика очень давно и далеко. Большинство из тех евреев, которые не уехали в Израиль, а остались в России, уже в прежних поколениях ассимилировались и представляют собой по сути русских еврейского происхождения. Солидарность проявляется у них только в моменты национальных притеснений, да и то она с лихвой перекрывается конкуренцией. Сужу по себе. За 80 с гаком лет меня никто из евреев особо не поддерживал (кроме родителей), а помогали мои русские учителя (в том числе и немецкого происхождения) и однокурсники. Среди моих учеников и друзей евреев не больше, чем в целом по интеллигенции. Самые близкие ученики – русские. Мой приемный сын – татарин. На кафедре моим постоянным противником был еврей.

Между тем национальные противоречия в российской науке (как и в российской жизни) – это, пожалуй, единственная проблема, которая лишь мельком задета в книге Щавелёва, а рассмотреть ее следовало бы. Все ли нации имеют в науке равные успехи, а если нет, то почему? Те же евреи составляют



одну тысячную долю человечества, а среди нобелевских лауреатов их добрая треть, то есть в 300 раз больше, чем полагалось бы по «процентной норме» (между тем Нобелевские присуждает Шведская академия, где евреев нет, а подкупить ее нереально). Может быть, с этим как-то связаны и их успехи на финансовом поприще? Ведь как-никак Б.А. Березовский, прежде чем стать финансовым магнатом, был членкомом по математике (теория игр). Армяне и азербайджанцы имели равные возможности продвижения в советской науке, но армян среди выдающихся ученых у нас и в мире – множество, азербайджанцев – значительно меньше. Что здесь сказывается? Ведь расовые причины мы отвергаем. Значит ли это, что отвергается генетическая обусловленность? Это очень сложный и деликатный вопрос, а решать его на бытовом уровне пришедшим в науку приходится – хотелось бы, чтобы это не усиливало национальные столкновения, а убиало их.

Подобных слабостей в книге мало, они не отменяют общей оценки книги как очень полезной. Оригинально сгруппирована библиография. «Официально рекомендуемой литературе» предшествует небольшой раздел: «Субъективно избранная автором литература». В примечании поясняется: «Именно эти книги произвели на автора пособия наибольшее впечатление – я читал и перечитывал их с увлечением, они побудили меня написать настоящее пособие» (С. 293). Конечно, тут есть книга Формозова «Человек и наука», с удовольствием я увидел и свой труд, с двояким чувством – книгу покойного Б.А. Рыбакова «История и перестройка». Как и Щавелёв, я вообще воспринимаю этого ученого двойственно. С одной стороны, восхищаюсь его та-

лантом и волей, с другой – приходится разрушать его построения и отмечать принесенное им зло. Я всегда считал академика Рыбакова выдающейся, двузначной и трагической фигурой советской археологии. Недавно я опубликовал его биографию³. У Щавелёва показан его конец: «Когда исполнилось 100 лет со дня рождения бывшего главы советских археологов академика Б.А. Рыбакова, две-три его ученицы, сами уже престарелые дамы, умильно вспоминали учителя в юбилейном телефильме. К дифирамбам присоединилась и пара-тройка молодых коллег-археологов. А когда несколько лет назад нынешний юбиляр, сданный родным сыном в богадельню, “доходил” там на глазах медицинского персонала и скончался в забвении, помочь ему оказалось некому. Личный архив ученого пропал неизвестно куда. Среди нескольких поколений тех, кто работал под началом Рыбакова долгие десятилетия, суждения о былом патроне разноречивые. Отдают должное незаурядной личности – и тут же с горечью вспоминают самодурство, расправы с неугодными подчиненными, фантастические допущения в ученых трудах. Вот вам и “научная школа академика Рыбакова”» (С. 211–212). В примечании сказано: «Богатейший личный архив академика оказался утрачен после того, как того незадолго до кончины принудительно госпитализировали по якобы психиатрическим показаниям».

Ученикам был (и остается) необходим образ великого русского ученого Рыбакова, а живой Рыбаков (отработанный материал) оказался не нужен, и его реальное творчество без надобности – нужны только патриотические выводы. Это та действительность, с которой столкнется молодежь, вступаю-

³ Клейн Л.С. Воевода археологии // Технология власти-2. СПб., 2010 (Нестор. № 14. С. 223–237).



щая в науку, и книга Щавелёва их к этому готовит. Начиная со своей замысловатой обложки. Автор явно сочувствует «молодым тиграм», а «темный буйвол» в «джунглях науки» смутно виден, но знать о его присутствии нужно. Только на прирожденных «тигров от научного познания» вся надежда.

Отмечая «падение престижа профессии ниже “общего плинтуса”», Щавелёв пишет: «Поживем – увидим: что станет с нашей профессией в будущем. Но мы-то ей не изменим. Скорее сдохнем. А на наше место придут другие фанатики. Что будет с ними, я не знаю» (С. 202). Честно.



ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК КАК РАЗДЕЛ ФИЛОСОФИИ ТЕХНИКИ

HISTORY AND METHODOLOGY OF TECHNICAL SCIENCES AS A BRANCH OF PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY

Владислав Васильевич Чешев – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Томского государственного архитектурно-строительного университета. E-mail: chwld@rambler.ru

Vladislav Cheshev – doctor of philosophical sciences, professor, chair of the department of philosophy, Tomsk State University of Architecture and Building.

(Рецензия на книгу: *Горохов В.Г. Технические науки: история и теория*. М.: Логос, 2012. 512 с.)

Book review: *Gorokhov V.G. Techničeskie nauki: istorija i teorija*. [Engineering Sciences: History and Theory]. M., 2012.

История и теория технических наук стали объектом прикладных фило-

софских исследований, в том числе исследований в области методологии науки, вместе с возникновением философии техники. В СССР и затем в России исследования в области философии техники, начатые в свое время П.К. Энгельмейером, оживились в 1960–1970-х гг. Если история техники и технических знаний и ранее была предметом исторических исследований, то логический, гносеологический и методологический анализ технического знания сформировался гораздо позже в ходе разворачивания уже названного философского направления. Предметным полем такого рода анализа является история науки, в данном случае – история технических знаний. Но методологическое исследование не может ограничиться фактологической последовательностью появления тех или иных технических новшеств и технических дисциплин. Для него важна внутренняя логика развития технических знаний, их связь с другими сферами знания и человеческой деятельности, в частности такой важный вопрос, как роль практических (технических) знаний в становлении опытной науки. Важность этой проблемы обу-





словлена наряду с чисто теоретическим гносеологическим интересом еще и тем, что современная наука отчетливо обнаруживает практическую технологическую направленность во всех своих сферах. Для ее характеристики стал даже использоваться термин «технонаука», подразумевающий единство процессов познания природы и созидания техносферы.

В последние десятилетия В.Г. Горохов вносит весомый вклад в развитие философии техники, в частности в сфере истории и методологии технического знания, инженерной деятельности и истории самой философии техники. Рецензируемое сочинение является еще одним шагом в названном направлении, причем этот шаг сделан в контексте современной ситуации, в контексте методологических проблем науки нынешнего дня.

Текст сочинения распадается на три главы, обозначающие содержательные разделы исследования, и методологическое введение, в котором заданы концептуальные рамки рассмотрения истории технических наук. В частности, автор книги указывает на особенность технической теории и особенности организации технического знания, на которые в нашей научной литературе указывал как сам В.Г. Горохов, так и другие исследователи. Речь идет о трех типах абстрактных схем, наложением которых достигается научное описание искусственных объектов, а также о дисциплинарной организации технических знаний, прошедшей определенную эволюцию от первых научно-технических дисциплин до системной организации знаний в современных комплексных технических дисциплинах.

Исследование истории технических наук, сопряженное с развитием концептуального представления о технических знаниях, не может не принимать комплексный характер и не выхо-

дить в сферу теории познания. Эта особенность хорошо прослеживается на материале первой главы («Технические науки и математика»). В главе, с одной стороны, представлен материал, раскрывающий роль математики в становлении экспериментальной науки, с другой – показана решающая роль предметно-производственной практики в становлении нового естествознания. Математика Галилея, применявшаяся им при изучении законов механического движения, была геометрией, математикой геометрических фигур и их свойств. Использование геометрических представлений для описания механических устройств началось еще в античности, оно позволяло находить количественные пропорции для соответствующих элементов. Собственно, архимедовский закон равновесия рычага устанавливал количественные пропорции для диаметров шкивов подъемных механизмов, рассчитываемых на определенный выигрыш в силе при подъеме тяжестей.

Но дело не только в прагматической роли математики, позволявшей определять размеры или иные свойства механических элементов. Роль математических средств, проявившаяся особенно зримо в период становления экспериментальной науки, заключалась также в том, что математика привносила свои абстрактные объекты и абстрактные схемы (можно сказать, свою абстрактную онтологию) в исследование процессов, осуществляемых в человеческой практике. Тем самым она способствовала построению теоретических моделей исследуемых процессов. Такое положение имело место еще в античной механике. В работе приводится характерный исторический пример, подтверждающий связь математических и конструктивных моделей в творчестве античных механиков. Речь идет об «антикеровском механизме», най-



денном в 1900 г. (С. 54–55), в котором на основе исчисления круговых движений моделируется вращение небесных сфер, иначе говоря, строение космоса воплощается в механическом устройстве на основе определенных геометрических представлений. Эта родовая связь технического творчества с математическо-геометрическими представлениями не только не теряется, но оживает в творчестве Возрождения и в последующем становлении опытной науки. Характерным примером является здесь моделирование Х. Гюйгенсом циклоиды как траектории движения маятника в маятниковых часах.

Автор последовательно прослеживает роль математики в становлении технических наук, которое шло вместе с процессом рождения экспериментальной науки. В частности, в рецензируемой работе рассмотрены три прикладные сферы, в которых рождалось научное знание технического характера. Исторически первой здесь оказалась механика, успешное развитие которой сопряжено с рождением теории машин и механизмов. Объектом научного математического описания стали процессы преобразования движения, разложение механизмов на кинематические пары и последующий синтез механических устройств. В сфере кинематического анализа механизмов, как показывает В.Г. Горохов, формируются функциональные и структурные схемы машин и механизмов, своеобразная теоретическая онтология рождающейся технической механики. В работе показан вклад крупных теоретиков, усилиями которых создавались научно-теоретические средства описания механизмов и машин. Речь идет о работах Г. Монжа, А. Бетанкура, Р. Виллиса, Ф. Рело, Л.В. Ассура, П.Л. Чебышева, И.И. Артоболевского и других исследователей, в трудах которых складывались основные теоре-

тические понятия и модели теории механизмов и машин, в частности понятие «кинематической схемы» как базовой абстрактной модели названной теории. В.Г. Горохов показывает преемственность исследований, обнаруживающуюся в модификации понятия «машина» в современной наномеханике, анализирующей и синтезирующей наномашину, перемещающие малые частицы.

Опыт применения математики к объектам техники, позволяющий формировать научные технические дисциплины, прослеживается автором и в других сферах практики и научного исследования. Одной из таких сфер технического знания и технической практики является электротехника. Теорию электрических цепей не могла создавать наука, развивавшаяся сугубо в рамках физических исследований. Можно сказать, что электротехника как техническая наука самостоятельно формировала себя по мере изобретения, развития и применения электротехнических устройств. И здесь, как показывает В.Г. Горохов, решающую роль вновь играет математика. Синтез электрических цепей в известной мере подобен синтезу механизмов при том существенном отличии, что в последнем случае математическим аппаратом оказалась алгебра логики («булева алгебра»), ставшая средством описания как релейно-контактных, так и бесконтактных цепей, включающих в себя электронные средства коммутации. В ходе применения математических уравнений, описывающих такие цепи, проявились общие закономерности, обусловленные применением математики к описанию абстрактных схем. Математические средства оказываются инструментом формальных преобразований описываемых объектов, что оказывается главным средством оптимизации процесса синтеза схем, способных



выполнять заданные функции. Эта особенность математических описаний дала впечатляющие результаты при описании распределения токов и напряжений в электрических цепях и электрических устройствах. В частности, математические средства позволили построить схемы замещения, при помощи которых можно преобразовывать электрические схемы устройств, делать их удобными для расчета. Например, связь обмоток трансформатора, осуществляемая при посредстве магнитного поля, приводится к электрической цепи переменного тока, для которой есть свои методы расчета.

Подобные преобразования можно производить и для устройств, имеющих вращающиеся элементы, т.е. для электрических машин (двигатели и генераторы), что стало основой для теоретического описания подобных устройств. Как показывает В.Г. Горохов, электротехника как наука в решающей степени создавалась средствами математики, применяемой к анализу и синтезу электрических цепей и электротехнических устройств, обнаруживая тем самым собственную логику становления технических дисциплин, проявившуюся еще на стадии формирования механики как теории машин и механизмов. Эта логика развития прослеживается в дальнейшем в становлении теории автоматического регулирования, представленной в сочинении как своеобразный междисциплинарный синтез в электротехнике, осуществляемый на математической основе. Глава «Технические науки и математика» предстает как интересная и важная часть исследования, в котором показано становление технических наук на основе применения математических средств к артефактам, создаваемым в соответствующей сфере практики. Этот путь был в значительной мере независим от исследования физических процессов, совершав-

шихся в естествознании, хотя логика этого процесса в определенной степени воспроизводит логику применения тематики к исследованию природы, явившую себя, в частности, в ньютоновской механике.

Глава 2 книги посвящена истории и логике взаимодействия естествознания и технических наук. Названные процессы рассмотрены на материале становления теоретической радиотехники и теории радиолокации. Здесь автор исходит из принятого в нашей литературе представления о классических технических науках, к которым отнесены названные дисциплины. Особенность последних в том, что они обычно опираются на некую базовую естественно-научную теорию, абстрактные схемы которой соединяются в классической технической теории с функциональными и морфологическими абстрактными схемами инженерного объекта. В случае с теоретическими основами радиотехники такой естественно-научной теорией является электродинамика Фарадея–Максвелла–Герца, квинтэссенцией которой стали максвелловские уравнения поля. Но, как указывает В.Г. Горохов, «в технических науках все эти взаимосвязанные в новую техническую теорию элементы существенно трансформируются и в результате формируется новый тип организации технических знаний» (С. 171). Рассмотрение такой трансформации становится задачей историко-научного исследования. Автор прослеживает развитие экспериментальных технических средств, с помощью которых Герц стремился доказать справедливость теории Максвелла, и показывает, что это развитие ведет к изобретению средств электромагнитного излучения в радиодиапазоне и последующему становлению радиотехники. Новая техническая дисциплина и большая отрасль техники возникают через взаимодейст-



вие естественно-научной теории и технических средств, связанных с ее развитием и обоснованием. Развитие средств радиотелеграфии сопровождается исследованием особенностей распространения радиоволн и последующим становлением теории радиолокации как самостоятельной научно-технической дисциплины.

Завершающая и значительная по объему часть книги – исследование так называемых неклассических технических дисциплин, обусловленных становлением системного мышления в инженерии и развитием комплекса системотехнических дисциплин. Системотехникой В.Г. Горохов называет «особую деятельность по созданию сложных технических систем» (С. 316). Важная особенность системотехнических дисциплин в том, что в них отходят на второй план конкретные естественно-научные представления. Системная онтология ориентирована прежде всего на функциональные, точнее, функционально-структурные представления об объекте. Поэтому главным теоретическим средством системных представлений становится математика, позволяющая описывать функциональные связи в системе и преобразования величин, связывающих ее вход и выход. Эти средства становятся инструментами функциональной и структурной оптимизации объектов. Обращаясь к становлению теоретической системотехники, В.Г. Горохов следующим образом высказывается о названных процессах: «Главная задача теоретической системотехники – это переход... к однородной абстрактно-теоретической схеме. Это необходимо прежде всего для того, чтобы использовать в теоретической системотехнике соответствующий математический аппарат» (С. 325).

Автор обстоятельно прослеживает развитие системотехнических пред-

ставлений в сфере радиолокации и в области разработки и применения систем автоматического управления. В ходе такого исторического исследования выявляются не только этапы становления основных теоретических представлений системотехники, но и важные этапы освоения этой сферы техники в СССР в ходе создания системы ПВО. Такой исторический материал интересен не только специалистам названной сферы. Важным достоинством рецензируемого исследования является обращение к современным технологиям, в частности нанотехнологиям, в разработке теоретических средств описания которых автор прослеживает общие черты, характерные для становления технических теорий и научно-технических дисциплин.

В заключительной части книги вскрывается логика становления комплексных технических дисциплин, основанием которых является системное видение сложных объектов, включая объекты социотехнические.

Новая книга В.Г. Горохова является несомненным вкладом в исследование по философии техники, точнее, в тот ее раздел, который обращен к истории и методологии технических наук. Монография насыщена фактическим материалом, системная организация которого задана логикой становления научно-технических дисциплин. Соединение конкретных сведений об изобретении технических средств с логикой становления теоретических описаний технических объектов дает пищу для размышлений, выходящих за пределы узкой области специального технического знания и обращенных к общим принципам формирования научных знаний. Книга насыщена многими специальными примерами, возможно, трудными для читателя, мало посвященного в рассматриваемые автором области техники и области знаний. Это



обстоятельство можно рассматривать как недостаток, препятствующий ее чтению. Но обратной стороной этого недостатка является историческая конкретика, позволяющая проследить процесс становления идей и теоретических средств в техническом знании. Книга полезна также тем, что вскрывает глубинные связи практических пре-

образующих действий и научного знания, т.е. тех сторон современной науки, обращение к которым отразилось в понятии «технонаука». Изначальная связь практики и научного знания получает освещение через историю и логику становления научно-технических дисциплин.

Памятка для авторов

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При написании статей рекомендуется учитывать профиль издания и строить содержание и форму статьи применительно к одной из рубрик журнала. Предлагаемые материалы должны являться не опубликованными ранее научно-философскими текстами, обладающими актуальностью и новизной. Объем любого материала – до 1 а.л.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ:

- материалы принимаются по электронной почте в формате doc;
- файл с текстом статьи должен также содержать краткую аннотацию на русском языке (500–1000 знаков) со списком ключевых слов, название и аннотацию на английском языке (1500–2000 знаков) со списком ключевых слов, фотографией автора, информацией об авторе по образцу: *ФИО, ученая степень (если есть), ученое звание (если есть), должность и место работы. E-mail*;
- ссылки в низу страницы, сквозная нумерация;
- отдельный пристатейный список использованной литературы (в дополнение к постраничным сноскам), в котором все источники указаны латиницей (т.е. русскоязычные транслитерированы).

В ССЫЛКАХ ОСТАВЛЯТЬ ТОЛЬКО СЛЕДУЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ:

- нем., англ., амер., греч., лат. – и др. языки;
- пер. – перевод;
- соч. – сочинение, сочинения;
- кн. – книга;
- Т. – том;
- Ч. – часть.

СОКРАЩАЮТСЯ НАЗВАНИЯ ГОРОДОВ (В ССЫЛКАХ):

М., Л., СПб. – Москва, Ленинград, Санкт-Петербург.

L., P., N.Y., F.a.M. – Лондон, Париж, Нью-Йорк, Франкфурт-на-Майне.

Сначала идут русские названия (если есть), затем – названия на иностранном языке. Автор, название, место и год издания – Л., 1965; М., 1995. Работы отделяются друг от друга точкой с запятой (;). Если в библиографию включается статья, то книга или журнал, в которых она напечатана, приводится через знак //. Названия журналов – без кавычек, без курсива и без сокращений.

Иванов В.С. Либерализм Ф. Хайека. М., 1997; *Popper K.* Open Society. V. 1. Oxford, 1956.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СТАТЬИ

Материалы рассматриваются в течение трех месяцев двумя независимыми рецензентами и далее редколлегией, которая принимает окончательное решение о публикации.

4. МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:

journal@iph.ras.ru

5. По желанию автора ему может быть представлен мотивированный отзыв в случае отказа редакции журнала от публикации его статьи.

6. С автором текста, одобренного редколлекцией, заключается договор о передаче ИД «Альфа-М» исключительных прав на его публикацию сроком на 1 год.

За публикацию материалов плата не взимается и гонорар не выплачивается.

Information for Contributors

All manuscripts are submitted by email and must be sent to: journal@iph.ras.ru.

Requirements for articles and book reviews:

Please, use DOC file type. Page size: A4. Font: Times New Roman, size 12. Do not double-space. Author information, abstract and key words must be sent in a separate file while another separate file containing the text must be devoid of personal data and prepared for the blind peer review. Please, use notes on the page they appear in the text. The list of references must follow the manuscript. In the text we prefer the references to be of the following style: author's last name (date), section or page(s).

The article's recommended size is 3000-6000 words.

Review and Publication Time

Evaluation time for manuscripts of articles by blind peer reviewers is up to 3 months. All evaluated materials can be revised by the editorial board within 3 months after evaluation. Publication time for approved materials is within 3 months. Total publication time is up to 9 months.

Unsolicited book reviews are invited. The standard size of a review is 1 thousand words.

Подписка

Уважаемые коллеги. Наш журнал распространяется как в розницу, так и по подписке. Журнал выходит ежеквартально. Годовая подписка состоит из 4 номеров.

Кроме того, в настоящее время альтернативную подписку журнала осуществляют: «Интерпочта» (Москва), «Информнаука» (Москва), «Красносельское агентство «Союзпечать»» (Москва), «Пресс Инфо» (Казань).

Читатели могут также получить любое количество номеров журнала (от 1 до 4 в год), лично обратившись в редакцию.

Индекс в каталоге Респечати: **46318**

Адрес редакции:

119991, Москва, Волхонка, 14/1, стр. 5
Институт философии РАН
Телефон: (495) 697-9576
Факс: (495) 697-9576
Электронная почта:
journal@iph.ras.ru

Адрес издательства:

127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В,
стр. 1
Издательский Дом «Альфа-М»
Тел./факс: (495) 363-4260 (доб. 573)
Электронная почта: alfa-m@inbox.ru

Более подробную информацию см. на сайте журнала <http://iph.ras.ru/journal.htm>

Subscription Information

All potential subscribers from outside the Russian Federation or CIS countries must contact the editor: journal@iph.ras.ru.

Current rates for institutional subscribers: 270 USD per year, 80 USD per issue; for individual subscribers: 220 USD per year, 60 USD per issue.

For more information please see the journal's web page: eng.iph.ras.ru/journal.htm.

Эпистемология & философия науки. 2013. Т. XXXVIII. № 4

Главный редактор чл.-корр. РАН *И.Т. Касавин*
Заместитель главного редактора д-р филос. наук *И.А. Герасимова*
Ответственный секретарь канд. филос. наук *П.С. Куслий*
Литературный редактор канд. филос. наук *Е.В. Вострикова*
Компьютерная верстка *О.С. Тониной*

Подписано в печать 11.12.2013
Формат 60 × 100 ¹/₁₆. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 16,0. Тираж 1000 экз. Заказ 433

Издательский Дом «Альфа-М»
Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
Тел./факс: (495) 363-4260 (доб. 573)
E-mail: alfa-m@inbox.ru

Адрес редакции: 119991, Москва, Волхонка, 14/1, стр. 5
Институт философии РАН. Тел.: (495) 697-9576
Факс: (495) 697-9576. *E-mail:* journal@iph.ras.ru

Отпечатано в ООО «Аполлон принт»
Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1

Формально-семантические методы в философии языка

В издательстве «Альфа-М» в рамках серии «Библиотека журнала “Эпистемология и философия науки”» готовится к выходу сборник научных статей «Философия языка и формальная семантика» под редакцией И.Т. Касавина. В сборник вошли работы коллектива авторов, подготовленные в рамках исследовательского проекта «Формально-семантические методы в философии языка» при поддержке федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (соглашение 8259).

Исследовательский проект охватывает решение следующих задач: ввести тематическое содержание и аналитический аппарат современной формальной семантики как одного из направлений теоретической лингвистики в исследовательскую сферу современной философии языка; использовать этот аппарат, чтобы отыскать решения ключевых вопросов современной философии языка (значение имен собственных, семантика эпистемических контекстов, естественно-языковые кванторы, анафора, контекстуальная зависимость предложений и др.); привлечь внимание отечественных исследователей, работающих в сфере как философии языка, так и теоретической лингвистики, к данной области знания и ее объяснительному потенциалу; привлечь аспирантов и студентов философских и лингвистических специальностей к совместной работе в междисциплинарном пространстве формальных исследований естественного языка.

Коллектив авторов состоит из философов, логиков и лингвистов, представляющих ведущие отечественные исследовательские центры в соответствующих областях: Институт философии РАН, философские факультеты УрФУ и СПбГУ, отделение теоретической и прикладной лингвистики (ОТиПЛ) филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.



Издательский Дом «Альфа-М»

Касавин И.Т.

Социальная эпистемология. Фундаментальные и прикладные проблемы

Научное издание

М. : Альфа-М, 2013. 560 с. : ил.

ISBN 978-5-98281-361-9

*Исследование выполнено в секторе социальной эпистемологии
Института философии РАН, рекомендовано к изданию Ученым советом
Института философии РАН.*

*Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда, проект № 13-03-16006/13.*

Рецензенты:

доктора философских наук, профессора В.Н. Порус, В.П. Филатов

В чем особенность социальной эпистемологии по сравнению с классической теорией познания? Во-первых, это (при всей относительности различия онтологии и эпистемологии) онтологический вопрос о специфике социокультурной ситуации производства, функционирования и применения знания, во-вторых – эпистемологический вопрос о таких способах исследования познавательных процессов и категориальном аппарате, которые учитывают реалии культуры и социума; в-третьих – прикладная задача использования социально-гуманитарного знания для разработки способов решения социальных задач. В совокупности это и есть предмет социальной эпистемологии – философско-междисциплинарного учения, направленного на исследование познания в социокультурном контексте. Авторский подход объединяет отечественную традицию культурно-исторической эпистемологии с некоторыми идеями Л. Витгенштейна, А. Шюца, К. Хюбнера, Д. Блура. Четыре раздела книги представляют соответственно категориальные сдвиги, знаменующие собой отход от некоторых положений классической эпистемологии; связь социальной и исторической эпистемологии; прикладные возможности данной концепции; полемику, отражающую фрагменты ее современного интеллектуального контекста. Для философов и ученых, стремящихся к пониманию социального и культурного контекстов своей деятельности.

- По вопросам приобретения книг следует обращаться в издательство «Альфа-М»: 127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1; тел./факс: (495) 363-4270 (доб. 573); e-mail: alfa-m@inbox.ru